МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М. В. ЛОМОНОСОВА
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

На правах рукописи

Ефимов Антон Сергеевич

Русский антинигилистический роман 1860-1870 гг. и готическая проза второй половины XVIII – первой половины XIX в.

Специальность 10.01.01 — русская литература

Диссертация на соискание учёной
степени кандидата филологических наук

Научный руководитель:
доктор филологических наук, профессор
Ивинский Дмитрий Павлович

Москва — 2021

Содержание

Введение……3

Глава 1. Литературный процесс и исторический контекст……..14

1.1. О «жанровом синкретизме» антинигилистического романа……....14

1.2. «Тирания» и «революция» как контексты……..32

Глава 2. Характеры и эсхатология.....……..63

2.1. Готическая проза и генезис литературного нигилиста.……63

2.2. Эсхатологическая символика и «демонизация»…….…80

2.3. Контраст «высокого» и «низкого», «смешного» и «страшного»…...102

2.4. Персонажи готической литературы в антинигилистической прозе...108

Глава 3. Мотивы и сюжеты…….…...141

3.1. Мотивы «таинственного и ужасного» и
социально-политический контекст…….……..141

3.2. Готическая сюжетная схема и её антинигилистическая
реализация……..…….…173

Заключение……..…..…….…....197

Список литературы……...…….……..211

Приложения

I. Краткая история русской антинигилистической прозы…….....242

II. Сводная таблица тем антинигилистической полемики, приёмов готической прозы и художественного текста, апеллирующего к страху……...……...276

Введение

Связи русского антинигилистического романа 1860-1870 гг. второй половины XIX в. и готической прозы XVIII – первой половины XIX в. никогда не становились предметом специального исследования. Но его появление необходимо. Во-первых – для понимания литературной эволюции. Обсуждая её движущие силы, целесообразно обращаться не только к магистральным, но и к побочным линиям преемственности. Во-вторых – для понимания системы литературных контекстов. Именно с готической прозой связано «ужасное и таинственное» в антинигилистическом романе и соответствующее интерпретирование социально-политических процессов, событий революционного движения, а также приёмы демонизации персонажей и даже их система. В настоящей диссертационной работе мы пытаемся заполнить соответствующие в литературоведении лакуны, что и обусловливает **актуальность** диссертационной работы.

Таким образом, **предметом исследования** являются межжанровые связи русского антинигилистического романа / повести 1860-1870 гг. и готической прозы второй половины XVIII – первой половины XIX в. Нас интересуют, прежде всего, отношения на уровнях характерологии, мотивов и сюжетики. Приёмы устрашения и демонизации. А также общее в исторических контекстах развития рассматриваемых жанров, картинах мира их произведений.

Объектом исследования являются романы В.В. Крестовского «Панургово стадо» (1869) и «Две силы» (1874) (дилогия «Кровавый пуф»); «На ножах» (1870-1871) Н.С. Лескова; «Бесы» (1871-1872) Ф.М. Достоевского; «Тайны современного Петербурга: Записки магистра Степана Боба. Нигилисты» (1875) кн. В.П. Мещерского, а также повести из цикла «Кружковщина» (1875-1879) А.А. Дьякова (А. Незлобина) – «Фатальная жертва» (1876), «В народ!» (1876), «Из записок социал-демократа» (1875).

Выбор этих произведений не был случайным. Во-первых, это ядро жанра – самые представительные тексты – они отражают ключевые этапы развития русской антинигилистической прозы – периоды расцвета 1867-1874 гг. и упадка 1875-1884 гг. (см. Приложение I. «Краткая история русской антинигилистической прозы»).

Во-вторых, выбранные авторы (за исключением Лескова и князя Мещерского) имели опыт участия в революционных, нигилистических объединениях / «кружках». Мещерский же был непосредственным организатором антиреволюционной / антинигилистической кампании в печати. Крестовский участвовал в расследовании Польского восстания. Таким образом, эти авторы были глубоко погружены в темы, обсуждаемые в произведениях.

В-третьих, именно в этих текстах содержится интересующий нас материал, то есть, явные следы воздействия со стороны готической литературы, которые могут быть описаны в достаточном для адекватного анализа объёме.

В-четвёртых, некоторые из привлекших наше внимание авторов (Мещерский, Дьяков) остаются почти неизученными, количество специальной литературы, обсуждающей поэтику их произведений – крайне мало.

Одновременно мы обсуждаем границы жанра антинигилистического романа и возможности его экспансии в смежные формы. Выясняется, что понятие «антинигилистический роман» как исторически сложившееся сужает представление о художественных формах реализации антинигилистической тематики 1860-1870 гг.: она находила выражение не только в романе, но и в повести. И даже в драме. Между антинигилистическими романом и повестью нет принципиальных различий ни с точки зрения идеологии, ни на уровнях характерологии, мотивов и сюжетики. Учитывая это, в работе мы прибегаем и к термину «антинигилистическая проза», и вместе с тем включаем в нашу работу повести Дьякова.

В рамках исследования мы обращаемся и к другим произведениям антинигилистического романа, в которых наследие готической прозы выражено слабо или даже едва различимо. Обращение к ним необходимо для понимания

глубины воздействия готики на антинигилистическую литературу. При этом мы не ставим перед собой задачу исчерпать материал и сосредотачиваемся на наиболее показательных текстах.

Под готической литературой (прежде всего, это проза, реже произведения драмы и лирики) обычно понимается «литература таинственного и ужасного»[1]. При этом постоянно делаются попытки уточнить это понимание, имея в виду систему персонажей, мотивы, сюжет, идеологию, жанр. Ср. точку зрения В.Э. Вацуро: «Готический роман – целостная и хорошо структурированная система, порожденная предромантической эстетикой и философией; эта последняя предопределила характер конфликта, расстановку действующих лиц, иерархию мотивов и сумму повествовательных приемов; она создала и специфические романные модели; воспринимаясь или отвергаясь последующей литературой, они могли разрушаться как целостное образование, обогащая традицию отдельными своими элементами» [105, с. 3]. При этом очевидно, что история литературы всегда имела дело с не до конца оформленными смыслами, а в данном случае это тем более неизбежно, что «готическая литература» обычно связывается с категориями «предромантизм» и «романтизм», в отношении которых не было и нет единства мнений на уровне «окончательных» определений; ср. мнение Саммерса, который, разыскивая истоки жанра и пытаясь связать «готическое» с «романтическим чувством», утверждал: «можно было бы написать тома, но не прийти к полностью удовлетворительному определению романтизма во всех его аспектах и фазах» [248, с. 24]. Современные российские исследователи утверждают, что так называемый «инвариант» готического романа в литературоведении размыт [179, с. 16-17], но не отрицают возможности его выявления. Свою работу мы рассматриваем, в том числе, как шаг к уточнению существующих представлений о «каноне» готического произведения. С опорой на классические образцы (роман «Замок Отранто»

[1]Заломкина Г.В. Готический роман // Большая российская энциклопедия: в 35 т.; гл. ред. Ю. С. Осипов. М.: Большая российская энциклопедия, 2004–2017. Т.7. С. 551; Вацуро В.Э. Готический роман в России. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 3 . Summers M. The Gothic quest: A history of the Gothic novel. London: Fortune Press, 1938. P. 208

(1764) Хораса (Горация) Уолпола; повесть «Ватек» (1782) Уильяма Бекфорда, роман «Удольфские тайны» (1794) Анны Радклиф; роман «Монах» (1796) Мэтью Льюиса; роман «Мельмот скиталец» (1820) Чарльза Метьюрина; роман «Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818) Мэри Шелли; рассказ «Вампир» (1819) Джона Полидори, а в том числе и повесть «Остров Борнгольм» (1794) Карамзина и др.) мы проводим анализ на четырёх ключевых уровнях структуры художественного текста (мироощущение, характеры, мотивная комбинаторика, сюжетостроение) и, не претендуя на окончательное решение вопроса, предлагаем следующие критерии идентификации:

Во-первых, мы исследуем соответствующее **мироощущение**. В литературе «таинственного и ужасного» оно определяется понятием «готическое», то есть «средневековое» – именно в том смысле, который вкладывал в него Уолпол, создавая «Замок Отранто» (1764) (на титуле последующих публикаций было написано англ. «a gothic story» – «готическая история / повесть». Если по Вальтеру Скотту, то в произведениях этого жанра реконструируется мистическое / средневековое чувство, когда окружающий мир наполнен тайнами, знаками, смыслами, которые ждут расшифровки. И это отнюдь не «светлое» чувство. В «готике» доминируют иррационализм, пессимизм и тревожное предчувствие приближающейся катастрофы (в религиозно-эсхатологическом ключе), пусть даже ограниченной местом, семьёй, судьбой персонажа и т.п. Это мир, поражённый грехом, мир «перевёрнутой церкви». Во-вторых, на уровне **характерологии** мы разыскиваем подобия демонического имморалиста-преступника и трёх самых распространённых его образов – трагического властителя, проклятого скитальца, ведомого грешника. А также нас интересуют персонаж-гость, «хроникёр» (у обоих, как правило, функция проникновения в тайну), жертва имморалиста, «демон-искуситель», «демон-помощник». В-третьих, мы анализируем **комбинации мотивов**. Ключевой комплекс которых в готике состоит из страшной тайны (сюжетообразующий мотив), уединённого / изолированного и структурно «запутанного» / сложного места действия (чаще всего отражает психологию центрального персонажа-

злодея) – это может быть и замок, и монастырь, и особняк, и дом, и хутор и др. В этой же конструкции и явление мертвеца, заточение / погребение заживо, преследование, нечестивое собрание (напр. шабаш), «оборотничество», приглашение в свой дом нечисти, а также нечисть, влюблённая в человека (или наоборот) и др. типично готические мотивы. В-четвёртых, сравниваем **сюжетные схемы**. Основа действия в произведениях «таинственного и ужасного» – это проникновение персонажа («гостя», «хроникёра») в страшную тайну героя-имморалиста и обнаружение «сокрытого» – жертвы: результата прошлых / нынешних преступных действий, нарушенных табу. (О каждом из этих «звеньев» поэтики готической прозы мы подробно и на конкретных примерах рассказываем в соответствующих параграфах диссертационной работы).

В качестве ориентира мы привлекаем и целый корпус русских произведений, тяготеющих к традиции «таинственного и ужасного» или даже соответствующих «готике» как жанру: «Сиерра-Морена» (1795), «Дремучий лес» (1795) Н.М. Карамзина; «Дон Коррадо де Геррера, или дух мщения варварства гишпанцев» (1803) Н.И. Гнедича; повесть «Лафертовская Маковница» (1825) А.А. Перовского (Антония Погорельского); «Уединённый домик на Васильевском» (1728) В.П. Титова и А.С. Пушкина; «Вечер накануне Ивана Купала» (1830), «Страшная месть» (1831), «Вий» (1833) Н.В. Гоголя; «Страшное гадание» (1830) А.А. Бестужева (Александра Марлинского); «Кто же он?» (1831) Н.А. Мельгунова; «Киевские ведьмы» (1833) О.М. Сомова; роман «Гудишки» (1831) Надежды Дуровой; повесть «Упырь» (1841) графа А.К. Толстого; «Косморама» (1840) князя В.Ф. Одоевского и др.

Также мы опираемся на научные труды В. Дибелиуса [245], Д. Вармы [250], Г.Ф. Лавкрафта [167], В.Э. Вацуро [105], В.М. Жирмунского и Н.А. Сигал [146], М.П. Алексеева [93; 94; 95; 96], В.Я. Малкиной и А.А. Поляковой [179], Т.А. Михайловой и М.П. Одесского [187; 193] и др.

Опора на характерологический, мотивный, сюжетный и мировоззренческий уровни поэтики «готики», позволяют нам не концентрироваться в настоящей

работе на первых русских переводах европейских образцов готической прозы. Данные уровни от перевода не зависят, их структура остаётся неизменной. При этом, утверждение связи того или иного элемента поэтики русской антинигилистической прозы с литературой «таинственного и ужасного» возможно лишь при наличии в произведении целого комплекса готических признаков.

Несмотря на низкую **степень разработанности** в отечественном и зарубежном литературоведении предложенной нами темы, мы, учитываем, во-первых, опыт исследователей, обсуждавших русский антинигилистический роман – работы А.Г. Цейтлина [234], Ю.С. Сорокина [217], А.И. Батюто [99], Н.Н. Старыгиной [219; 220; 222], А.Г. Склейнис [212; 211; 213], В. Торстенссон [249] и др.; а во-вторых, труды, в которых затрагивается проблематика готики относительно произведений жанра антинигилистического романа или связанных с ним – тексты А.Б. Криницына [164; 165; 166], Д.Д. Шараповой [165; 170], И.Ю. Виницкого [120], Э.А. Евтушенко [136], А.Н. Кошечко [163], Н.Н. Старыгиной [219] и др.

Цель исследования – выявить и описать связи русского антинигилистического романа / повести 1860-1870 гг. с готической прозой (зарубежной и отечественной) второй половины XVIII – первой половины XIX в.

Задачи исследования:

1) Рассмотреть проблему «жанрового синкретизма» русской антинигилистической прозы, чтобы определить в ней место поэтики «таинственного и ужасного»;

2) Разграничить влияние исторического романа и романа готического на антинигилистическую прозу;

3) Обсудить темы тирании и революции в произведениях этих жанров;

4) Описать принципы адаптации персонажей «готики» в антинигилистической прозе (образы Василия Свитки, Пшецыньского и Подвиляньского, Константина Хвалынцева, Нюты Лубянской [«Кровавый

пуф»] и типы «проклятого скитальца», «демона-искусителя», «подстрекателя», «ведомого грешника / грешницы», «жертвы»; Ольги Бровской, Веры Чужаевой [«Кружковщина»], Глафиры Бодростиной [«На ножах»] и «ведомой грешницы», «жертвы» и «демонессы»; Петра Верховенского и Николая Ставрогина [«Бесы») и «демона-помощника» и «имморалиста-преступника» и т.д.).

5) Сопоставить комбинации мотивов литературы «таинственного и ужасного» (ожившего мертвеца, нечестивого собрания, «оборотничества», договора с нечистой силой, нерассказанной истории, погребения заживо, кровожадной толпы, приглашения в свой дом нечисти, адского пламени и др.) и антинигилистической прозы.

6) Сопоставить сюжетные структуры готической литературы и антинигилистического романа и повести.

Обозначенные задачи предполагают привлечение сравнительно-исторического, культурно-исторического **методов исследования**. Одновременно с этим в работе используются частные приемы характерологического, мотивного и сюжетного анализа текстов.

Понятие «прием устрашения» рассматривается нами в связи с идеологической борьбой, развернувшейся в 1860-1870 гг. вокруг понятия «нигилизм». Механизм действия художественного приема мы рассматриваем, вслед за А.К. Жолковским и Ю.К. Щегловым, как инструмент «преобразования» определённой темы, важной для автора, в художественный текст, оказывающий нужный «эффект» на читателя [147, с. 290]. В нашей работе под «приёмами выразительности» подразумеваются «приёмы готической прозы», под «темой» – аспекты мировоззрения и деятельности нигилистически настроенной части российской общественности 1860-1870 гг., а под «художественным текстом» – синтез «темы» и «приёма», содержащий апелляцию к страху читателя (см. Приложение II. «Сводная таблица тем антинигилистической полемики, приёмов готической прозы и художественного текста, апеллирующего к страху). При этом мы учитываем, что содержанием приёма может оказаться любой элемент поэтики или комплекс элементов, за которыми в художественной литературе и

вообще в искусстве (в рамках жанров и направлений) закрепилось особое эстетическое значение, типичность: комплекс ассоциаций, работающих на формирование в сознании читателя нужной автору картины мира.

Научная новизна работы заключается в том, что это первый обстоятельный анализ антинигилистических романов / повестей на предмет связи с готической прозой. Ранее не утверждалась преемственность «таинственного и ужасного» в антинигилистической прозе (как признака жанра) от прозы готической. Мы демонстрируем историческую обусловленность данной преемственности. В частности, впервые обосновывается происхождение мотивов, характерологии и сюжетики повестей Дьякова и романа Мещерского от отдельных произведений русского романтизма и сентиментализма, тяготевших к жанру готики.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что алгоритм предпринятого исследования может послужить практическим руководством для изучения произведений других жанров второй половины XIX в. на предмет связей с готической прозой. Работа расширяет представление о соотнесённости разных стадий литературного процесса: с одной стороны – русский реализм, с другой – произведения европейского предромантизма и романтизма, русского сентиментализма и романтизма.

Практическая значимость исследования заключается в том, что его материалы могут быть применены для формирования учебно-методических комплексов высшего образования по истории русской литературы XIX в. Также результаты работы могут использоваться в качестве материла для комментариев в научных и научно-популярных изданиях произведений русской классической литературы.

На защиту мы выносим следующие положения:

– В ряду жанровых традиций, на которые ориентированы антинигилистические романы и повести, важное место занимает готическая проза;

– Готическая литература, изначально сфокусированная на изображении ужасов тирании, стала источником приёмов и для изображения ужасов революции (революционной тирании), а также – «демонизации» нигилистов;

– Оформление контрреволюционной идеи (революция как *ужасное*) произошло ещё в «Аглае» (1794-1795) Карамзина, где в рамках единой конструкции альманаха готический ужас («Остров Борнгольм», «Сиерра-Морена», «Дремучий лес») оказался впервые связан с темой революции, понимаемой как гибель цивилизации, возвращение к варварству (письма Мелодора и Филалета, а также соответствующие речи героя-повествователя в «Острове Борнгольме»);

– В обоих жанрах доминируют пессимизм, безысходность, тревожность, осуществляется попытка реконструировать мистическое ощущение (средневековое / «готическое»), когда всё вокруг наполнено сокрытыми смыслами, эсхатологической символикой (апокалиптической и / или революционной);

– Произведения обоих жанров имеют антипросветительскую направленность. «Таинственное и ужасное» оппонировало Просвещению и просветительской прозе, антинигилизм – материализму, утилитаризму в искусстве, позитивизму в философии и «нигилистической» прозе. Картина мира в обоих жанрах иррациональна, поступками людей, историческими процессами руководит не разум, а стихии страстей и незримая рука возмездия, божественного / вселенского или дьявольского;

– Характер большинства антагонистов антинигилистической прозы формируется на основе идеологий, развившихся задолго до появления литературного нигилизма. Типичные для готических антагонистов «титанизм» («перекраивание мира» и богоборчество), вампиризм (поглощение жизни), оборотничество («тёмная сторона» естества / скрытые «злые» намерения) объединились с романтическим бунтарским индивидуализмом и типично реалистической уголовной преступностью;

– Готические модели героя-имморалиста (трагический властитель, проклятый скиталец, ведомый грешник) и общая система персонажей (имморалист, герой с сюжетной функцией ключа к тайне, хроникёр, жертва, «демон-помощник», «демон-искуситель») функционально подобны образам героев антинигилистической прозы;

– В антинигилистической прозе воспроизводятся системы ключевых мотивов готической литературы (страшная тайна, договор с нечистой силой, нечестивое собрание, явление мертвеца, тайный сговор, заточение / погребение заживо, уединённость и сложность / запутанность места действия и др.);

– В антинигилистических произведениях осуществилась идеологическая трансформация известных готических мотивов, которые, сохранив формальную структуру, изменили содержание в соответствии с новым историческим контекстом (например, место «нечисти» занял «нигилист», нечисть социальная);

– На периферийном уровне сюжетостроения антинигилистических произведений нашла реализацию типичная готическая сюжетная схема: проникновение персонажа в страшную тайну имморалиста и обнаружение «сокрытого» – жертвы преступления, нарушенного табу;

– Роман В.П. Мещерского «Тайны современного Петербурга» (1875) генетически связан с повестью В.П. Титова и А.С. Пушкина «Уединённый домик на Васильевском» (1828). Воспроизводятся комбинация основных мотивов, характерология и сюжетная схема;

– Повесть «Из записок социал-демократа» (1875) ориентирована на произведения Н.М. Карамзина («Остров Борнгольм», «Сиерра-Морена», «Бедная Лиза»). А повесть «Фатальная жертва» (1876) – на «Киевских ведьм» (1833) О.М. Сомова.

Апробация. Результаты диссертационного исследования были представлены в рамках защиты Научно-квалификационной работы (НКР)[2], а

[2] В 2020 году на Кафедре истории русской литературы МГУ им. М.В. Ломоносова

также отражены в 7 научных публикациях, 5 из которых осуществлены в изданиях, рекомендованных ВАК РФ и Учёным советом МГУ имени М.В. Ломоносова:

1. «Антинигилистический роман и роман готический: к постановке вопроса» (2019) [137].

2. «Русский антинигилистический роман 1860-1870 гг. и “готический сюжет”» (2019) [141].

3. «“Тайны современного Петербурга” В.П. Мещерского и “Уединённый домик на Васильевском” В.П. Титова и А.С. Пушкина» (2020) [142]

4. «Повесть «Фатальная жертва» А.А. Дьякова (А. Незлобина) и мотив “нечестивого собрания”» (2020) [140].

5. Мотивы прозы Н.М. Карамзина в повести А.А. Дьякова “Из записок социал-демократа” (2021) [139]

6. Дилогия В.В. Крестовского «Кровавый пуф» и готическая литература (Константин Калиновский как «Проклятый скиталец») (2021) [138]

7. «Экспрессионизм как средство выражения психоэмоциональных состояний героев в экранизациях готических произведений (“Носферату. Симфония ужаса” Ф. Мурнау и “Пиковая дама” Я.А. Протазанова)» (2013) [143]

Материалы исследования были представлены на двух научных конференциях:

– Всероссийская научно-практическая конференция «Литература и кино в поисках общего языка» (Владимир, 2012);

– Международная научная конференция «А.С. Пушкин и русская литература», приуроченная к 220-летию со дня рождения поэта (Москва, 2019).

Глава 1

Литературный процесс и исторический контекст

1.1. О «жанровом синкретизме» антинигилистического романа

«Документальное»

Антинигилистические романы и повести – это особая форма социально-политической полемики. «Художественное» в них – лишь набор приёмов для моделирования ситуаций, в которых «нигилист», «революционер» (к вопросу тождества этих понятий мы ещё вернёмся) сталкивается с окружающей общественной средой и совершает поступки сообразные его деструктивному мировоззрению, как правило – циничные преступления нравственного и уголовного характеров. Сами же злодеи-антагонисты и связанные с ними моральные, этические коллизии, идейные дилеммы и большинство событий (включая самые ужасающие) – имели прототипов в реальной жизни. Поэтому «художественное» с его необозримым арсеналом готовых жанровых форм (моделями персонажей, комбинациями мотивов, сюжетными схемами и проч.) служило, прежде всего, средством организации актуального новостного, бытового и культурного материала, понятного каждому читателю-современнику, даже слабо погружённому в событийный контекст страны. Таков был метод писателей антинигилистических произведений. На страницах оживали «герои» из материалов периодической печати Петербурга и Москва. С новой силой разгорались известные споры о политике, эстетике, науке, религии. Воспроизводились события, потрясшие страну.

Так в «Панурговом стаде» (1869) В.В. Крестовского мы видим целые врезки (обильные пересказы) новостных материалов, полицейских протоколов и даже городских слухов, связанных со страшными петербургскими пожарам майских

дней 1862-го. Крестовский пытался собрать хоть какую-то информацию о поджигателях и выстроил подробную хронологию событий, показав, как день ото дня возникали новые очаги, и какое мужество проявили горожане – от чиновника до студента – борясь с безжалостной стихией, выпущенной террористами в самом центре столицы империи [3, с. 268-276]. В «Фатальной жертве» (1876) А.А. Дьякова швейцарцы выдают русскому правительству нигилиста, мистификатора и убийцу С.Г. Нечаева, вызывая возмущение революционной «кружковщины». Среди них и великий ниспровергатель алтарей и тронов М.А. Бакунин, замаскированный автором под Трутнева, «кружкового идола». И вся «нечаевская» галерея типов предстаёт у Достоевского в «Бесах» (1871), где Пётр Верховенский – сам «кровавый манипулятор», Шатов – убитый в парке за Петровской академией студент Иванов, Ставрогин – Бакунин (по большей части) и т.д. В «швейцарских» же повестях Дьякова по рукам «кружковцев» ходит невыдуманный журнал «Вперёд!» революционера-эмигранта П.Л. Лаврова, и этими «пустенькими» пропагандистскими книжками зачитывается молодёжь. Вместе с другими историческими личностями в антинигилистических произведениях «живёт» и Чернышевский. В «Панурговом стаде» толпа «нигилистиков» освистывает его, своего же кумира и идеолога, на вечере памяти только что умершего от чахотки Добролюбова, за то, что известный критик (но человек книжный и довольно замкнутый) говорить публично не умеет. Хоть он и такой же, как и «новая молодёжь», ненавистник метафизики и всего «идеалистического», гонитель «изящного искусства». Чернышевского можно узнать и в повести Дьякова «В народ!» (1876) – в комичном образе «доктора, с позволения сказать, от философии» Пиглички [6, с. 163]. Но влияние этого «философа» на общество было таково, что критические отсылки к его агитационно мощному роману «Что делать?» (1863) узнавались в антинигилистических произведениях без каких бы то ни было пояснений. Как, например, у Лескова в романе «На ножах» (1870), в речах раскаявшейся нигилистки, попавшей по глупости в коммуну: «положившись на твои сладкие приманки в *алюминиевых чертогах свободы и счастия* <…> бросила отца и мать

и пошла жить с тобою “на разумных началах”, глупее которых ничего невозможно представить» [4, с. 79]. Коммуна же – и у Лескова (в том числе и в романе «Некуда», 1864), и у Крестовского в «Панурговом стаде» – комичное изображение реально существовавшей в Петербурге Знаменской коммуны (1863-1864) литератора В.А. Слепцова (автора нескольких «нигилистических» произведений[3]). В коммуне, описанной Крестовским, узнаём и графа Г.А. Кушелева-Безбородко, основателя журнала «Русское слово» – нигилистического «громкоговорителя», которым руководил Д.И. Писарев. Граф (в образе князя-нигилиста Сапово-Неплохово) смешит людей своей глупостью. На страницах «Панургова стада» и «Двух сил» (1874) (оба входят в дилогию «Кровавый пуф») ведётся ожесточённая полемика и с «Колоколом» Герцена. «Мученики, не вписанные в мартирологи Колокола» [3, с. 539] – пишет Крестовский о русских солдатах, погибших от рук разбойничающих польских банд (повстанцев 1863-1864 гг.). Там же размещены цитаты из подлинных военных рапортов; в частности, из доклада начальника Келецкого уезда от 7-го мая 1863 года о жестоком убийстве капитана Никифорова из Полоцкого пехотного полка [3, с. 541]. В «Кровавом пуфе» орудует и известный революционер-социалист Константин («Кастусь») Калиновский, скрывающийся под маской Василия Свитки. Там же действует и перебежчик капитан С.И. Сераковский, в образе польского патриота Бейгуша, и изменник Андрей Потебня, организатор «Русских офицеров в Польше» (представленный в романе как Паляница – глава варшавского отделения «Земли и воли»); в «Двух силах» он фальсифицирует опубликованное в газете «Колокол» в 1862 г. (накануне восстания) «Письмо русских офицеров», призывающее российских солдат к демонстративному бездействию, а лучше переходу на сторону поляков. А отчёт генерал-майора А.С. Апраксина и молва о загадочном восстании крестьян в селе Бездна Казанской губернии (1861 г.) были использованы Крестовским для описания бунта в селе Высокие Снежки в самом начале романа «Панургово стадо».

[3] Например, повесть «Трудное время» (1865)

Антинигилистическая литература богата на факты, хоть в большинстве случаев они и объяснены в самом негативном ключе, либо интерпретированы таким образом, что от современного читателя требуется расшифровка авторских посланий (поэтому нам и необходимо знание исторического контекста). Выше перечисленное – лишь самые узнаваемые «символы времени». Там же и прокламации, тайные печатные станки, револьверы, кинжалы и другая атрибутика революционного движения 1860-1880 гг. На анализе его тёмных сторон и сосредоточилась антинигилистическая проза, «злободневная», «пристрастная», но патриотическая, и транслировавшая своё особое видение мира – мрачное, пессимистичное, с катастрофой в будущем[4].

В соответствии с этим мироощущением авторы и подбирали (интуитивно или осознанно) наиболее подходящие художественные формы для организации документального материала. Можно обнаружить одновременное влияние самых разных жанров, известных писателям третьей четверти XIX века, будь то криминальный, сентиментальный женский, светский, психологический, социально-критический, детективный и др. романы. Таково свойство «жанрового синкретизма». Но гораздо сильнее антинигилистическая проза связана (по крайней мере произведения ядра жанра, самые представительные тексты) с готическим романом (о «таинственном и ужасном»).

«Жанровый синкретизм» со свойственным ему эклектичным соединением форм словесности, стилей и смыслов – довольно распространён в русской литературе и вызван в большинстве случаев именно социально-политической рефлексией. Например, В.М. Жирмунский отнёс к синкретическим произведениям тенденциозную поэзию, где задача художественная соединяется с «морально-общественной проповедью» с целью эмоционально-волевого воздействия [145, с. 97-98]. Исследователь писал: «Разве не тенденциозны ”Разбойники” Шиллера или ”Горе от ума” Грибоедова, в которых монологи

[4] Поэтому профетические (пророческие) мотивы так сильны в этих текстах. См. раздел «Пророчества» в параграфе 2.2.

героя-протагониста организованы как патетическая декламация, рассчитанная на моральный эффект бросаемых зрителю обвинений или подчиняющих его волю призывов?» [145, с. 97-98]. Жирмунский же призвал не связывать синкретичные формы искусства лишь с первобытной культурой [145, с. 97-98]. Изначально под «синкретичностью» подразумевалось единство разнообразных форм художественного выражения, что было свойственно раннему, даже «первобытному» состоянию искусства [206, с. 734]. По версии А.Н. Веселовского, из синкретизма первобытной поэзии – «сочетания ритмованных, орхестических движений с песней-музыкой и элементами слова» [117, с. 155] – выделились роды литературы: эпос, лирика и драма. При такой трактовке ключевыми составляющими «синкретичности» являются «нерасчленённость» и «историческая первоначальность». В концепции Жирмунского вторая составляющая утратила своё значение. И под «синкретичностью» стал подразумеваться синтез родов и жанров.

Поэтика готики вполне отвечала задачам «эмоционального-волевого воздействия» антинигилистических произведений. А именно – желанию устрашать. А вместе с тем – насмешить. Как ни парадоксально, но единство этих противоположностей связано с принципами, заложенными ещё Горацием Уолполом (1717-1797), создателем готического романа (но об этом ниже[5]).

«Готическое»

Антинигилистическая проза была готова к рецепции «таинственного и ужасного». К третьей четверти XIX века готика уже глубоко интегрировалась в русскую литературу[6]. Следы «чёрного» романа есть даже в «Отцах и детях»

[5] В параграфе 2.3. «Контраст “высокого” и “низкого”, “смешного” и “страшного”»

[6] Периода расцвета «тайн и ужасов» в Европе (1790-1820 гг.) хватило чтобы интерес к этому жанру уже не спадал никогда, породив колоссальное количество произведений и передав своим «прямым потомкам» – хоррору, детективу, вампирскому роману и др. – богатый архив приёмов. Сегодня основным поставщиком «готики» является кинематограф

(1862) Тургенева [124, с. 59], первом антинигилистическом романе[7]. Базаров рассуждает: «Русский мужик – это тот самый таинственный незнакомец, о котором некогда так много толковала госпожа Ратклифф [Анна Радклиф (1764-1823), классик готического романа]» [81, с. 147]. Нигилист таким образом выразил мысль о таинственной и пугающей непостижимости русского народа, от которого можно ожидать чего угодно. Готика повлияла и на тексты революционеров. В прокламации «Свобода» (1862), распространённой первым составом «Земли и воли» (1862-1863), даётся ничто иное, как описание вампирского замка, где «порождения ночи» пьют кровь своих узников (и это задолго до жанровой канонизации вампирского романа в «Дракуле» (1897) Б. Стокера). Читаем: «кровь, которую высасывают у наших сыновей и братьев в казематах петропавловской крепости достойные наместники царской власти – Галицин, Потапов и прочие» [296, с. 16]. «Вампирские метафоры» в принципе были популярны у русских и европейских социалистов. Например, Герцен в 1861 году обращался к взволновавшимся в Петербурге студентам со следующими словами: «проснись [исполин] <…> и чихни – чтоб спугнуть всю эту стаю сов, ворон, вампиров, Путятиных, Муравьевых, Игнатьевых и других нетопырей» [267, с. 173]. Без «вампиров» не обошёлся даже Карл Маркс в своём труде «Капитал» (1867): «Капитал – это мёртвый труд, который, как вампир, оживает лишь тогда, когда всасывает живой труд, и живёт тем полнее, чем больше живого труда он поглощает» [183, с. 207][8].

В отечественном литературоведении наблюдается некоторая неопределённость в вопросах жанровой идентификации русских произведений, написанных в первую половину XIX века. Всё, условно, «мистическое», «фантастическое» долгое время охватывалось чрезмерно широким понятием «романтическая литература». В советский период «готическое» не было изучено

[7] О том, почему именно этот роман стал первым в жанре, см. Приложение I «Краткая история русской антинигилистической прозы»

[8] Об этом в разделе «“Поглощение жизни”. Вампиризм» параграфа «Готическая проза и генезис литературного нигилиста»

в должной мере [179, с 11-12]. Появилось всего несколько статей, самые значимые из которых написаны М.П. Алексеевым [95; 96], В.М. Жирмунским и Н.А. Сигал [146], В.Э. Вацуро [108; 109; 112; 114]. Количество вышедших академических изданий готической классики было ничтожным[9]. Некоторые исследователи даже связывают этот заниженный интерес с доктринами постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах ”Звезда” и ”Ленинград”» (1946) [214, с. 14], где всё «безыдейное», «мистическое», «аполитичное» (последнее в отношении «готики» – спорно) объявлялось чуждым советской литературе и не способствующим коммунистическому воспитанию народа. При этом существует целый корпус русских произведений, соответствующих (своей системой персонажей, ключевыми мотивами и сюжетной схемой)[10] канону готической прозы. Ситуация резко изменилась в 1990-ых, когда Советского союза не стало. Классическую готику публиковали целыми книжными сериями[11], выходили научные статьи, защищались диссертации и проч. Наиболее подробно рецепцию «таинственного и ужасного», происходившую в последнее десятилетие XVIII и первую четверть XIX в., описал профессор В.Э. Вацуро (1935-2000) в незавершённой монографии «Готический роман в России» (2002)[12]. Вацуро рассматривал понятие «готическое» на протяжении всей своей монографии, от главы к главе описывая те или иные типичные элементы. Напр. «герой-имморалист», «жертва», «тайна», «замок», «заточение», «френетическое» (в значении «неистового», «ужасающего») и мн. др.

Проникновение готики в русскую литературу началось ещё в 1790-ые гг. с произведений Карамзина, вошедших в альманах «Аглая» (1794-1795) («Остров

---

[9] Например, «Уолпол. Казот. Бекфорд. Фантастические повести» (1967), «Ч.Р. Метьюрин. Мельмот скиталец» (1983)

[10] Каноничные для готического жанра характерология, мотивная комбинаторика и сюжетика подробно описаны в Главах 2-3

[11] Самым продуктивным было издательство «TERRA», выпустившее серию «Готический роман» – десятки произведений XVIII-XIX вв.

[12] К этому труду мы и отсылаем всех, кому интересны мельчайшие подробности проникновения готики в русскую литературу 1790-1820 гг.

Борнгольм», «Сиерра-Морена», «Дремучий лес»). Францию и Германию «тёмная» волна захлестнула ещё во второй половине XVIII века. В.М. Жирмунский и Н.А. Сигал писали: «Английский готический роман оказал влияние и на популярный во Франции жанр “чёрного романа” («roman noir», фр.), и на массовый немецкий “страшный роман” («Schauerromane», нем.)» [146, с. 260]. Исследователи подметили, что к этому жанру тяготели и «Разбойники» (1781) Шиллера [146, с. 260]. Это же относится и к его неоконченному роману «Духовидец» (1787-1789). В 1800-1810-ые гг. книжная индустрия России (торговцы, издатели, переводчики) была охвачена «радклифианой» [105, с. 113-147]. Именем «А. Радклиф» коммерсанты пытались подписать любой новый перевод европейского романа об ужасах и тайнах, так как это гарантировало спрос и прибыль. Такая судьба постигла и первый русский перевод «Монаха» (1794) Мэтью Грегори Льюиса [105, с. 471]. На титульном листе книги, изданной в 1802 году, сказано: «Монах, или пагубные следствия пылких страстей. Сочинение славной гж. Радклиф. Перевод с французского [оригинал же был на английском – прим. А.Е.]» [46, с. 2]. Русский читатель хорошо знал такие романы Радклиф, как «Лес» (1791), «Удольфские тайны» (1794), «Итальянца» (1797). Был известен и «Влюблённый дьявол» (1772) Ж. Казота, и «Старый английский барон» (1777) К. Рив, и «Убежище, или повесть иных времён» (1783) С. Ли. Позже перевели «Вампира» (1819) Д. Полидори и «вампирский» «Фрагмент» (1816) Байрона. Потом появился и «Франкенштейн» (1818) М. Шелли. Довольно быстро в России возникли и подражания. Например, попытка Н.И. Гнедич написать первый русский готический роман [105, с. 313] – «Дон Коррадо де Геррера, или дух мщения варварства гишпанцев» (1803). То же касается и повестей сборника «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» (1828) [105, с. 422] Антония Погорельского (А.А. Перовского). Из них особенно выделяется «Лафертовская Маковница» (1725), соответствующая канону готической повести, но при этом «славянизированной». А.С. Пушкин хорошо знал «Мельмота скитальца» (1820) Ч. Метьюрина, держал в библиотеке и «Замок Отранто» (1764) Уолпола [105, с. 36-37]. Мотивы и характерология этих

произведений есть в «Гробовщике» (1830), «Пиковой даме» (1834) и в страшном сне Татьяны в «Евгении Онегине» (1825-1833). Эти же тексты связаны со «Светланой» (1813) и «Людмилой» (1808) В.А. Жуковского, опиравшегося на «Ленор» (1773) Готфрида Бюргера, активно использовавшего мотив явления мертвеца (один из хрестоматийных в готике). Образ Онегина Пушкин связал с Мельмотом («Мельмот, бродяга мрачный» [69, с. 53]) и другими готическими «проклятыми скитальцами»: «задумчивый Вампир» (персонаж Байрона и Полидори), «Вечный жид» (из «Монаха» Льюиса). И не удивительно, что образ демонического скитальца и мотив влюблённой нечисти стали сюжетообразующими в повести В.П. Титова и А.С. Пушкина «Уединённый домик на Васильевском». Правда, критика обошлась с этим произведением сурово, журналисты к 1828 году уже устали от «чёрной» литературы: «<…> в ней лица русские, но нет ничего русского, да мало и складу. Признаемся, что нам и у немцев надоели все эти «Fantasien-Stucke» [штуки фантазии, нем.], где путают бедного черта небывальщиною, все эти шалости воображения, где не говорят ни с умом, ни с сердцем читателей» [235, с. 126] («Московский телеграф» за 1829 год, №1). Канону готики соответствуют и «Вечер накануне Ивана Купала» (1830), «Страшная месть» (1831), «Вий» (1833), «Портрет» (1833-1834) Н.В. Гоголя, «Страшное гадание» (1830) А.А. Бестужева (Александра Марлинского), «Кто же он?» (1831) Н.А. Мельгунова, «Любовь и смерть» (1834) О.И. Сенковского, «Косморама» (1840) В.Ф. Одоевского, «Упырь» (1841) А.К. Толстого, роман «Гудишки» (1831) Надежды Дуровой, «Киевские ведьмы» (1833) Сомова и др. (перечень может быть очень длинным).

Саммерс даже трактовал «готику» как своего рода медитативную практику для читателей XVIII-XIX вв.: «Готический роман с его романтическим нереальным, его странными красотами, очень экстравагантными – если хотите – был в большей степени романом-побегом [способом скрыться] от неприятностей и шума повседневной жизни» [248, с. 12].

Статья «Русские духи» (2007) Ильи Виницкого – одна из немногих работ, где «готическое» хотя бы вскользь упоминается в ключе антинигилистического

романа, охарактеризованного как смесь «из памфлета и детектива, готического романа и жития, социального романа и des romans à mystère (фр. мистические романы)» [120, с. 22-23]. Впрочем, посвящена статья исключительно роману Лескова «На ножах», описанному исследователем как «спиритический». Но несмотря на то, что связь антинигилистической прозы с литературой «тайн и ужасов» изучена крайне мало, ещё в советский период исследователи подметили элементы, вполне соотносимые с готикой, а именно с системой её мотивов, ключевые из которых: страшная тайна, изолированное место со сложной пространственной организацией, заточение, скитальчество, договор с нечистой силой, преследование, клятвопреступление, богоотступничество, «оборотничество», сумасшествие, нечисть, испытывающая любовную страсть к человеку, убийство ради наследства или власти, подделанное завещание, предзнаменование грядущей катастрофы (страшных событий), пожар, приглашение в свой дом нечисти, нечестивое собрание и др.[13] Этот набор во многом совпадает с теми мотивами, которые перечисляли советские исследователи, указывая на обилие разрозненных жанровых влияний в антинигилистическом романе. Ср. у А.И. Белецого: «Пожары, убийство и самоубийство, подслушанные разговоры, открывающие тайну еще не раскрытых злодейств, публичные скандалы, неожиданные выходки действующих лиц, мотивируемые в романе позже, дуэли, похищения, внезапные обмороки героинь, подкинутые и подмененные дети, собрания тайных обществ и т.п.» [100, с 53]. Схожее и у А.Г. Цейтлина: «Заговоры, скандалы, подпольные заседания, дерзкие антиправительственные прокламации, аресты заговорщиков полицией и жандармерией, крестьянские бунты, шляхетские восстания, убийства и самоубийства» [234, с 63-64]. В частности, о романе «На ножах» А.И. Батюто писал, что его автор позаимствовал «архаичную композицию» из «романа тайн» (по всей видимости, как раз готический роман и имеется в виду): «<…> подчеркнуто авантюрное развитие сюжета, нарочито запутанная интрига,

[13] Подробно о них в параграфе 3.1. «Мотивы “таинственного и ужасного” и социально-политический контекст»

нагромождение страшных или необъяснимых событий, показ разнузданных страстей и поступков» [99, с. 293].

Авторы процитированных работ пребывали в своего рода замешательстве, пытаясь найти понятие, способное охватить и охарактеризовать всё то поэтически разное, что мы называем «жанровым синкретизмом». У Ю.С. Сорокина мы встречам понятие «эклектизм», используемое исследователем в негативном ключе: «<…> для него [антинигилистического романа] характерно механическое соединение совершенно разнородных стилевых приемов – традиционного романического повествования, авантюрного романа, исторического романа, светской повести 30-х годов, обличительного жанра 50–60-х годов, прямого памфлета и пасквиля» [217, с. 102.]. А.И. Белецкий отнёс творчество таких авторов, как Достоевский, Лесков, Крестовский к «новому типу авантюрного романа», вероятно, имея в виду новое воплощение старых романтических приёмов. Ср. «Как рецидив [во второй половине XIX в.] развивается новый тип авантюрного романа – роман романтический, «бульварный», удовлетворяющий в течение всего века потребности читателей, ищущих занимательного чтения» [100, с. 53].

При этом среди авторов антинигилистической прозы не было не только тех, кто не имел представления о готике, но и тех, кому удалось воздержаться от использования её приёмов в своём творчестве. Крестовский во время работы над криминальным романом «Петербургские трущобы» (1864) – глубоким исследованием социального дна столицы – находился под влиянием «Парижских тайн» (1842-1845) Эжена Сю, активно использовавшего приёмы «таинственного и ужасного» [159, с. 43-44] (как и другие известные европейские романисты – Вальтер Скотт, Виктор Гюго, Александр Дюма (отец), сёстры Бронте и мн. др.). Что касается Достоевского, то он знал готику с детства. «Разиня рот и замирая от восторга и ужаса» он слушал чтение романов Анны Радклиф, которой его родители были увлечены. После этих страшных историй он бредил во сне и был как в лихорадке [129, с. 9]. М.П. Алексеев указывал, что на Достоевского повлиял и Чарльз Метьюрин (1780-1824) с его «Мельмотом скитальцем» (1820). В

частности, мотивы этого романа нашли отражение в повести «Хозяйка» (1847) [96, с. 635-636]. Исследователь Достоевского А.Б. Криницын писал: «Ужасное в сюжете готического романа было адаптировано Достоевским для изображения темных сторон человеческой души» [164, с. 201]. В творчестве же Лескова рецепция готики отразилась не только в произведениях крупной прозы, но и в «святочных рассказах» [177]. Мотивы страшной тайны и родового проклятья были применены в рассказе Лескова «Привидение в Инженерном замке» (1882) [177, с. 390-392]. Дьяков же в повестях цикла «Кружковщина» (прежде всего, в «Записках социал-демократа» и «Фатальной жертве») ориентировался в большей степени уже на отечественные образцы «таинственного и ужасного»[14]. В частности, на «Остров Борнгольм» (1794) Н.М. Карамзина [139] и «Киевских ведьм» (1833) О.М. Сомова [140]. А князь В.П. Мещерский, внук Карамзина, в пятой главе романа «Тайны современного Петербурга» (1876) процитировал и социально-политически реинтерпретировал [142] характерологию, комбинации мотивов и сюжет готической повести Титова и Пушкина «Уединённый домик на Васильевском» (1828)[15].

«Готическое» в антинигилистической прозе соединено с элементами других жанров. Это хорошо видно на уровне сюжетов (тоже синкретичных). Советский исследователь А.Г. Цейтлин, критиковавший антинигилистическую литературу за её антиреволюционность, писал в 1929 году, что «компонирование повествования» в антинигилистическом романе достигается употреблением трёх методов сюжетостроения: бытового, психологического, авантюрного [234 с. 36]. Но учёный упустил другие «методы». Например, «мистический» (он же, возможно, «готический»), а кроме него – «детективный» (сюжет расследования),

[14] Об этом в параграфах 2.4., «”Ведомые грешницы” Ольга Бровская и Вера Чужаева»; 3.1., «”Нечестивое сборище” (шабаш) и собрание нигилистов-революционеров»; 3.1., «”Нерассказанная история» и богребённые заживо»; 3.2., «Самоубийство Ольги Бровской, “заточение” Веры Чужаевой и кровавая расплата Константина Хвалынцева»

[15] Об этом в параграфах 3.1., «Приглашение в свой дом “нечисти” (нигилиста)»; 3.2., «Убийство матери собственными детьми в семействе Емельяновых»

«криминальный» (сюжет совершения преступления), «исторический» (события на фоне реконструкции подлинного прошлого).

Так в романе «На ножах» Лескова расследование обстоятельств гибели старика Бодростина встроено в криминально-бытовой сюжет убийства мужа женой и её ухажёрами. Но там же реализуется и готический сюжет одержимости духовидением, когда преступника (грешника) преследуют потусторонние силы, принимая вид оживших мертвецов. И предшествует этим событиям нравственное падение героини в нигилистической коммуне (эта линия описана косвенно, на уровне воспоминаний, но произошедшее в коммуне как раз и дало импульс всему последовавшему). В «Бесах» же Достоевского готическая сюжетная схема[16] стала основой для криминальной истории убийства мнимого предателя внутри тайного общества, а также для совершенно самостоятельного психологического сюжета самоубийства девочки-подростка Матрёши (глава «У Тихона»). И обе истории, подобно многим готическим романам (напр. «Замок Отранто», «Мельмот скиталец»), представлены читателю под видом рукописей. В первом случае рассказанное принадлежит хроникёру Антону Лаврентьевичу, а во втором – Николаю Ставрогину (своеобразная «исповедь негодяя»). В романе князя Мещерского «Тайны современного Петербурга» готический сюжет приглашения в свой дом нечисти (интерпретированный в социально-политическом ключе и оформленный как устный рассказ) разворачивается внутри магистральной линии исследования Степаном Бобом пороков общества (дидактический сюжет).

Синкретичность свойственна и сюжетостроению готических произведений. И с её помощью провоцируется тот же эффект, что и в антинигилистической прозе – устрашение, тревога, пессимизм. Но если в антинигилизме для этого «художественное» особым образом преломляет «документальное», то в готике «мистическое», «ужасное» встраивается в «бытовое», «обыденное». На контрасте и достигаются нужные эффекты. Например, в «Острове Борнгольме»

[16] О ней в параграфе 3.2. «Готическая сюжетная схема и её антинигилистическая реализация»

Карамзина готический сюжет проникновения в страшную тайну встроен в «сентиментальное путешествие», позиционируемое как неизвестная страница из не выдуманных «Писем русского путешественника». Приём мистификации также типичен для литературы «тайн и ужасов» (первое издание «Замка Отранто» Уолпола позиционировалось как перевод подлинной средневековой рукописи).

Сам же «Замок Отранто», написанный под очевидным влиянием средневекового рыцарского романа, является реинтерпретацией «Гамлета» (1601) Уильяма Шекспира (которого Уолпол боготворил и защищал от нападок Вольтера [82, с. 12-13]). В «Замке Отранто» аналогичный сюжет мести, те же мотивы отравления, узурпации, явления призрака и т.п. Но интегрированы они в феодальный мир средневековой Италии, изображённый с высокой степенью атрибутивной, архитектурной и пейзажной детализации, что было попыткой добиться исторической аутентичности.

В повести же «Ватек» (1782) Уильяма Бекфорда готический сюжет помещён в мир арабской мифологии, ислама, которые автор хорошо знал. А последователь Уолпола и Бекфорда Мэтью Льюис объединил в «Монахе» целых шесть сюжетов, минимально связанных между собой и по сути самостоятельных: «Амбросио – Антония» (тягостное влечение, похищение, заточение, сексуальное насилие), «Амбросио – Матильда» (совращение монаха демоном), «Раймонд – Агнеса» (поиск возлюбленной, погребение заживо), «Раймонд – Разбойники» (смертельно опасная ситуация и поиск выхода из неё), «Раймонд – Окровавленная монахиня» (изгнание злого духа, расследование; как раз здесь и фигурирует Вечный жид), «Алонсо – Имоген» (любовная баллада). Есть основания полагать, что в роман вошли черновые планы нескольких нереализованных замыслов Льюиса («Монаха» он написал в возрасте 20 лет). У Метьюрина же в «Мельмоте скитальце» (1820) соединены не только сюжеты, каждый из которых обладает полноценной композицией, но и разные формы изложения: письма, мемуары, дневниковые записи, протоколы, исторические очерки, справки, а также устные откровения.

«Историческое»

Одним из ориентиров антинигилистической прозы часто называют роман «исторический» (романтического образца). Именно на него указывали советские исследователи, говоря о «старых», «отживших» формах (в том числе использовались понятия «рыцарский», «романтический»).

А.Г. Цейтлин, сравнивая дилогию «Кровавый пуф» («Панургово стадо», «Две силы») с «исторической хроникой» [234, с. 61], указывал, что в романах активно используются приёмы романтизма: авантюрность, интрига, пафосность речей отдельных идеализированных (как негативно, так и позитивно) персонажей. Цейтлин считал, что Крестовский пытался создать «исторический роман» о России периода 1861-1864 гг. К тому же в романе «Две силы» автор масштабно изобразил события Польского восстания (1863-1864). Отметим, что Крестовский характеризовал «Кровавый пуф» как «Хронику нового смутного времени Государства Российского» [3, с. 295]. А кроме этого в «Двух силах» активно использовался материал, собранный Крестовским во время его работы в составе Комиссии для расследования подземелий города Варшавы (1863-1864). Собранные данные стали источником для описания криминальных кругов и тайных собраний заговорщиков. Подобный метод им был отработан ещё в период написания «Петербургских трущоб» (1864-1866). С криминальным миром столицы писатель знакомился, опрашивая полицейских и бродяг. Ю.С. Сорокин же утверждал, что формой, в которую Крестовский пытался «втиснуть» (по выражению исследователя) антинигилистическое повествование, является русский исторический роман 30-ых годов: «<…> они [приёмы] легко стандартизовались в исторических романах Загоскина, Масальского, Р. Зотова, Булгарина и др.» [217, с. 108]; «<…> приемы, характерные еще для рядового исторического романа или светской повести» [217, с. 101]. Рецепция приёмов исторического романа была замечена и в других произведениях антинигилистической прозы. А.И. Белецкий отмечал, что у Достоевского и Лескова: «Перекрещивающиеся, нагроможденные друг на друга мотивы

сообщают его схеме [сюжету] запутанность иногда не меньшую, чем в рыцарском или плутовском романе» [100, с.53].

Но исследователи упустили из вида то, что разговор об элементах исторического романа в антинигилистической прозе уже содержит в себе вопрос о влиянии готики. Исторический роман первой трети XIX века был сформирован как раз на базе литературы «таинственного и ужасного».

Вальтер Скотт, создатель исторического романа нового (романтического) типа, писал, что «Замок Отранто» (1764) Уолпола – это первая в новейшее время удачная попытка сочинить «занимательную историю наподобие старинных рыцарских романов» [215, с. 231]. Это было возрождение романа о средневековье. А кроме этого, Уолполу удалось изменить отношение английской публики к понятию «готическое», ранее ассоциировавшемуся с «безвкусицей», «варварством» – бездумным подражанием старине или внешней подделкой под неё [215, с. 232]. Д.Д. Благой, говоря уже о творчестве Скотта, отметил следующее: «Блестящая эрудиция, мастерское изображение средневекового быта, архаичность языка, художественное правдоподобие его героев при всей героизации их в стиле народно-эпического творчества, – ставят его романы на недосягаемую высоту <…> в сравнении с английскими предшественниками, писателями XVIII в. (Г. Вальполь с его знаменитым романом «Замок Отранто» 1764 г., А. Радклифф, С. Ли и др.), которые первыми начали погружать свои произведения в потемки средневековья, в таинственную тень готических замков и церквей» [101, стб. 338]. Эту точку зрения разделял и Жирмунский, написавший в своей работе 1914 года «Немецкий романтизм и современная мистика», что возрождение средних веков началось в Англии: «Здесь, впервые, произведена была переоценка понятия ”готический”, ”средневековый”; здесь зародился интерес к средневековым памятникам и развалинам, к старинной письменности и языку, к народной поэзии и к литературе средневековья» [137, с. 119]. Роль готики в становлении исторического романа отмечал и Георг Лукач (исследователь-марксист): «Самый знаменитый “исторический роман” XVIII столетия “Замок Отранто” Уолполя тоже пользуется историей, как костюмом: в

нем взяты необычные и любопытные стороны изображаемой среды» [174, с. 46-47].

Вацуро же в своей монографии привёл примеры влияния готики уже на русский исторический роман [105, с. 465-486]. Например, И.И. Лажечников удачно применил модель замка для построения злого и таинственного места в «Ледяном доме» (1835) (роман о периоде правления Анны Иоанновны). Там же были использованы типы правителя-деспота, жертвы, а также мотив «явления мертвеца» [105, с. 468-469] и др. На Лажечникова повлиял и «Собор Парижской богоматери» В. Гюго, написанный, в свою очередь, под впечатлением от «Монаха» Льюиса и других готических романов. Черты льюисова Амбросио и Скедони из «Итальянца» (1797) Радклиф угадываются и в монахе Левкие из «Князя Курбского» (1843) Б.М. Фёдорова [105, с. 474]. Им же использовался типичный готический пейзаж, старый замок, тиран, пленница и т.п. [105, с. 476], что близко и «Удольфским тайнам» Радклиф, и «Замку Отранто» Уолпола и «Острову Борнгольму» Карамзина. Аналогичная характерология, ключевая для литературы «таинственного и ужасного», представлена и в романах Ф.В. Булгарина. Например, в «Дмитрии Самозванце» (1830), где фигурирует и жертва-пленница Ксения Годунова, и жертва-мстительница Калерия, есть там и мотив появления призрака [105, с. 481-482]. В «Мазепе» же ключевые мотивы – тайна происхождения, возмездие [105, с. 485] и др.

Поэтому тезисы о связи антинигилистической прозы с историческим романом также справедливы и в отношении связи с готикой. Мы имеем дело, по сути, с одними и теми же характерологией и комбинацией мотивов. В частности, в ряду авторов, повлиявших на «антинигилистов», Ю.С. Сорокин называл Михаила Загоскина [217, с. 108], но не учитывал, что творчество этого писателя с традицией готической прозы связано [105, с. 182, 232, 343]. Рассказ Загоскина «Белое приведение» (1834) даже послужил названием для антологии «Белое приведение: Русская готика» (2007) [31], собравшей вместе мистические и фантастические произведения русских авторов первой половины XIX века

(кстати, не все из представленных там текстов относятся к готике с точки зрения жанрового канона).

Задача разграничения «готического» и «исторического» в антинигилистической прозе (жанрово синкретичной) – не так уж и сложна. Между этими жанрами есть существенная разница. Безусловно, картины мира обоих схожи: доминирует христианская космология, дихотомия Бога и Дьявола, «светлого» и «тёмного», есть мистические явления, фантастические существа демонического спектра и связанные с ними сюжетные схемы. Этим жанрам в равной степени свойственен «историзм» (ориентация на контекст конкретной эпохи, романтическое восприятие средневековья), отсюда и «антиквареизм» (использование средневековой атрибутики – военной, религиозной, хозяйственной, бытовой – служащей задаче пейзажной, интерьерной и портретной детализации). Известным «антикварием» был Гораций Уолпол, даже переделавший свой загородный дом в Стробери Хилле в настоящий феодальный замок со всеми характерными элементами средневековой архитектуры [215, с. 233]. Но отличия между произведениями обоих жанров заключаются в том, что авторская задача в готике – заинтриговать и ужаснуть читателя, чтобы погрузить его в атмосферу отчаяния, уныния, жестокости и т.д., другими словами – в мир тьмы, где зло доминирует, а страшная тайна, вокруг которой выстроен сюжет, скрывает грех, нарушенное табу (в религиозном и мифологическом значениях), повлекшее вереницу кошмарных событий. Задача же исторического романа – реконструкторская, то есть, «реставрация той или иной исторической действительности», по выражению Д.Д. Благого [101, стб. 337].

И в этом смысле подлинные события крестьянских и студенческих волнений, петербургских пожаров, польского восстания и т.д. связаны в антинигилистической прозе как раз с традицией исторического романа. А создание атмосферы страха, безвыходности, беспомощности, повсеместного «гниения» жизни, а также наполнение художественного пространства профетическими и эсхатологическими мотивами – связано с готикой. Именно торжество греха и ощущение грядущей катастрофы доминируют в

произведениях «тайн и ужасов». Таково готическое мироощущение. И оно вполне соответствует антиреволюционным настроениям русской патриотической интеллигенции 1860-1870 гг. и её историософским идеям.

1.2. «Тирания» и «революция» как контексты

Жестокое навязывание своей воли – будь то государственная (или «государева») деспотия или революционная тирания – центральная тема и в готической, и в русской антинигилистической прозе. В литературе «таинственного и ужасного» акторами насилия оказываются герои-имморалисты, поставленные, по выражению В.Э. Вацуро, «вне общества, его законов и морали» [105, с. 93]. Это трагические властители, ведомые грешники, проклятые скитальцы[17], нарушающие законы государства и общечеловеческие табу, и в этом смысле бросающих вызов мирозданию, самому Богу. А в антинигилистической литературе – это политические радикалы: маленькие безжалостные диктаторы, стремящиеся принудить Россию к революции. Ср. «Ими [“вождями” русских эмигрантов-революционеров] были заняты все троны идольские, все *диктаторские* места. Им поклонялись <…> им приносили жертвы» [8. с. 58] – рассказывал Дьяков о швейцарском кружке (повесть «Фатальная жертва»). «Всё-таки хоть до чего-нибудь договориться можно, чем сидеть и молчать в виде *диктаторов*» [1. с. 313] – провёл аналогию Липутин в главе «У наших» в «Бесах» Достоевского. И там же Пётр Верховенский спрашивает: «<…> что вам милее: медленный ли путь, состоящий в сочинении социальных романов и в канцелярском предрешении судеб человеческих на тысячи лет вперед на бумаге, тогда как деспотизм тем временем будет глотать жареные куски*, которые вам сами в рот летят и которые вы мимо рта пропускаете*, или вы держитесь *решения скорого, в чем бы оно ни состояло*

[17] О характерологии готики в параграфе 2.4. «Персонажи готики в антинигилистических произведениях»

<…>» [1. с. 315]. «Поверь, мой друг, что в нужную минуту я сумею захватить в свои руки безусловную *диктатуру* над всей Литвой!..» – говорит польско-литовский агент Василий Свитка в «Двух силах» Крестовского. И деспотичность персонажей-революционеров проявляется не только в социально-политической сфере, но и в личной. Ср. «мелкий тиран семьи» [1. с. 143] – охарактеризовал Достоевский Липутина. Куда более подробно тема домашней тирании развёрнута в «Панурговом стаде» Крестовского, автор сопоставил традиционную семью и «нигилистическую», «коммунную». «Это деспотизм!» [3, с. 42] – попрекает Нюта Лубянская отца, отставного майора, запретившего петь в его доме пропагандистскую песню «Долго вас помещики душили…»[18]. Но в итоге героиня оказывается во власти подлинного деспота, нигилиста Ардальона Полоярова, который приходит к ней, к обессиленной родами, ночью, чтобы отнять младенца (своего же ребёнка) и сдать в воспитательный дом[19]. Крестовский указывал на тиранию как связующий материал между молодыми революционерами: «Когда еще в Славнобубенске она [нигилистка Лиденька Затц] дружила с Полояровым, то Полояров *деспотически* и бесцеремонно управлял ею по своему произволу – и Лидинька подчинялась более сильной натуре, хотя ей подчас и тяжело бывало такое подчинение. С отъездом же Ардальона, она сразу эмансипировалась от его влияния и, подружившись с Анцыфровым, заняла относительно его ту самую *деспотическую* роль» [3, с. 210].

Примеров можно привести и больше, но важно здесь одно – писатели-антинигилисты видели в революционерах тиранов, а революция ассоциировалась исключительно с террором, явлением куда более жестоким, чем даже власть несправедливого правителя. И нигилисты-революционеры подтверждали это словом и делом. Известный радикал и мистификатор С.Г. Нечаев (1847-1882) написал в своём «Катехизисе революционера» (1869):

[18] Подробнее об этой песне см. параграф 2.4., «От “ведомой грешницы” до ”жертвы” (Нюта Лубянская)»

[19] Там же. Так же о линии «Лубянская – Полояров» см. в параграфе 3.2. «Нюта Лубянская во власти ”чудовища”»

«Спасительною для народа может быть только та революция, которая уничтожит в корне всякую государственность и истребит все государственные традиции порядка и классы в России <…> Наше дело – страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение» [296, с. 203]. Не удивительно, что революцию в антинигилистической прозе стали трактовать в ключе «таинственного и ужасного», но подходящий для этих целей поэтический инструментарий готики вырабатывался отнюдь не на революционном материале.

Значительное влияние на изображение тирана в готической литературе – а это, прежде всего, образ «трагического властителя», правителя-преступника – оказали слухи и легенды об итальянских деспотах эпохи Возрождения. «Итальянское», «католическое» и, как связанное с ними, «испанское» активно использовались в классических произведениях о таинственном и ужасном. Князь Манфред, властитель замка Отранто, расположенного на юго-востоке Апеннинского полуострова, был первым в этой «тёмной плеяде», а роман «Замок Отранто» (1764) Горация Уолпола (1717-1797) – первым готическим произведением. Все последующие тираны готики – литературные потомки Манфреда[20], и многие из них той же национальности. Взять хотя бы одно называние романа Анны Радклиф «Итальянец, или Исповедальня кающихся, одетых в чёрное» (1797). В горах Италии находится и место действия «Удольфских тайн» (1794), и итальянец Монтони – преступный хозяин замка Удольфо. От Манфреда происходят и жестокие испанцы из «Монаха» (1794) М. Льюиса, «Мельмота скитальца» (1820) Ч. Метьюрина и даже из «Дона Коррадо Де Гереро, или духа мщения варварства гишпанцев» (1803) Н.И. Гнедича.

Вальтер Скотт писал: «Никогда, быть может, феодальная тирания не была олицетворена лучше, чем в образе Манфреда» [215, с. 241]. Вокруг него и сформировалась хрестоматийная система атрибутов: зловещее уединённое место со сложной пространственной организацией (замок, особняк, старый дом и т.д.),

[20] См. «Замок Отранто» (1764) Г. Уолпола, «Старый английский барон» (1777) К. Рив, «Убежище, или Повесть иных времён» (1783-1751) С. Ли, «Ватек» (1782) У. Бекфорда, «Удольфские тайны» (1794) А. Радклиф и др.

страшные тайны, верные и жестокие подручные, сокрытые жертвы (зачастую заточённые в камерах), призраки прошлого, попранные законы светской и религиозной морали, возмездие небес и т.д. Гораций Уолпол (член Парламента) не был случайным человеком ни в английской литературе, ни в британской политике. И, по всей видимости, Манфред для него был не просто литературой или олицетворением итальянского деспотизма, но и отчасти жизнью. О бремени власти и её тёмных сторонах автор «Замка Отранто» знал не понаслышке, всё детство и юность он провёл в тени могущества своего великого отца – Роберта Уолпола (1676-1745), лидера партии «вигов», возглавлявшего правительство крупнейшей империи более 20 лет (1721-1741). Он считается первым премьер-министром в истории Великобритании. Возрождая в «Замке Отранто» дух средневековья, Гораций Уолпол вступал в дискуссию с вечным врагом Англии – Францией и её рационализмом. Писатель, бросая вызов Вальтеру, выстраивал оппозицию просветительскому роману. Готическая проза, наполненная предчувствиями, видениями, тихим шёпотом духов усопших – иррациональна, разум там не правит. Позиция Уолпола была «антипросветительская». Поэтому он и обратился к «готическому» («варварскому») прошлому, пытаясь реконструировать мистическое мироощущение средневекового человека. В этом смысле оппозиция готического романа просветительскому – аналогична оппозиции антинигилистического романа нигилистическому, базирующемуся на жёстком материализме (единственно истинной картине мира, с точки зрения её приверженцев). И это с учётом того, что нигилисты, распространяя естественно-научные знания, считали себя просветителями.

Но жёсткому премьер-министру Роберту Уолполу, так странно (и скорее всего – невольно) повлиявшему на мировоззрение своего философа-сына, было далеко до повелителей городов Апеннинского полуострова XVI – XV веков. В городе Сиене в Палаццо Пубблико (историческое здание ратуши) сохранились фрески живописца Амброджо Лоренцетти (1290-1348). В аллегории «Злой правитель и плоды злого правления» (1337-1339) (рис. 1) мы видим тирана, полностью соответствующего образу готического властителя-преступника.

«Злой правитель» изображён в образе демона с клыками и рогами. Он восседает на троне в своём уединённом замке, а за стенами – тьма и пустота. Тирана окружают олицетворения жестокости, измены, лжи, ярости, раздора, войны [103, с. 12].

Рис 1. [21]

Таково было представление итальянцев о деспотии. И оно не отличалось от общеевропейского суждения о правителях Апеннинского полуострова, что в итоге и нашло отражение в готическом романе XVIII века. В истории Италии было много личностей, вполне соответствовавших концепции «правителя-демона». Это выходцы из Борджиа, Медичи, Сфорца, Аргонов и других могущественных семей. Приведём всего один пример, которого будет вполне достаточно: Ферранте (1423-1494) (Фердинанд I), король Неаполя. Заманивая к себе врагов (или захватывая их в плен), этот правитель помещал недругов в подземную темницу, подвергал самым изощрённым пыткам, а запытав до смерти приказывал изготовить из трупа чучело и выставить его в полном облачении в

[21] Репродукция из книги А.Ю. Астахова «Европейское искусство. Энциклопедия: живопись, скульптура, графика». Москва: Белый город. Т. 2. С. 215.

специальной зале. И коллекция у Ферранте была обширной [103, с. 41-42]. Туда король любил наведываться, а по слухам, даже обедал там. Не исключено, что именно эта подробность из жизни Италии XV века в последствии и повлияла на Уильяма Бекфорда, изобразившего в готической повести «Ватек» (1782) хранилище мумий под тёмной башней жестокого халифа и подземный мир с замурованными правителями-грешниками[22].

События и лица XV века в принципе послужили прототипами для многих сюжетов и персонажей. Например, современником Ферранте был Влад III Цепеш (ум. 1476) – Дракула, ставший в последствии одним из самых популярных героев готики. Это же время послужило материалом и для «Государя» (1513) Никколо Макиавелли.

Пороки, окружающие «демона-правителя» у Лоренцетти и присущие тиранам готической литературы, сопутствуют и радикалам из русской антинигилистической прозы 1860-1870 гг. Жестокость, измена, ложь, ярость, раздор, война – это темы, связанные и с Василием Свиткой из «Кровавого пуфа», и Петром Верховенским из «Бесов», и Трутневым из «Фатальной жертвы», и Глафирой Бодростиной (за исключением, пожалуй, войны) из романа «На ножах» и др. Атрибутов власти у них нет, ведь революция ещё не произошла, но описывая нигилиста-революционера сегодняшнего, в антинигилистической прозе давался образ завтрашнего правителя. Важнейшей вехой историко-литературного и -политического процесса, когда границы между «тиранией» и «революцией» окончательно стёрлись, стала Великая французская революция.

В её разгар (террор 1792-1794) произошло то, что профессор Арнольд Тойнби (1889-1875) назвал пробудившейся «древней религией», зловещим «культом коллективной человеческой мощи» [226, с. 44.]. Эта мрачная идеология была антихристианской по своей сути и языческой по своей форме. В центре её – обряд человеческого жертвоприношения – массовое гильотинирование врагов

[22] Подробнее о «заточении в подземелье» как одном из самых типичных мотивов готической прозы см. в параграфе 3.1. в разделе «”Нерассказанная история” и погребённые заживо»

«нового бога» – Республики и её триединства: Свободы, Равенства и Братства. Эти события изменили представление европейцев о революции, смешав её с «ужасом» и заставив воспринимать 1789-1794 гг. как нечто не поддающееся разумному объяснению, хаотичное и загадочное[23].

Распространено суждение, что готическая литература (отечественная и зарубежная) никакого отношения к политическим процессам не имеет (в отличие от того же русского антинигилистического романа), а если и осмысляет их, то на самой далёкой периферии. Но дело в том, что расцвет «готики» – 1790-ые гг. – хронологически выпал как раз на период Великой французской революции – 1789-1799 гг. В это же время, в 1794 году, появилось и первое русское готической

[23] Происходящее воспринималось массами как колоссальный исторический слом. Революционеров охватило тотальное отрицание прошлого и связанных с ним символов. И прежде всего – христианско-католических. Франция была охвачена целым движением «дехристианизации», пытавшимся насадить придуманный «культ Разума». Лидером этого процесса был якобинец Жак-Рене Эбер, его последователей называли «эберистами». Их действия стали кульминацией и развязкой века Просвещения. Вольтеровское «раздавите гадину! [церковь]» в те годы победило. Центром «дехристианизации» стал собор Парижской Богоматери. Там осенью 1793 года проходили кощунственные «Торжества Разума». В Париже преследовали монахов, монахинь и просто верующих, а священников принуждали отрекаться от веры, храмы подвергались грабежам, поджогам, проводились оскорбительные для церкви карнавалы, символы веры всячески осквернялись. Например, в Лионе якобинец Жозеф Фуше (революционный комиссар, будущий министр полиции Франции) провёл антихристианскую демонстрацию: по улицам вели осла, одетого в ризу и митру, с прикреплёнными книгами служебника и Евангелия [133, с. 206]. В Нанте же Фуше приказал убрать с кладбища все кресты. Даже крестить своих детей было опасно, это расценивалось как контрреволюционность. В эти годы и получило распространение понятие «нигилизм». Социально-политическое и атеистическое значение в него вложил якобинец-эберист Анахарсис Клоотс [160, с. 23], прусский барон, член конвента, а в прошлом один из составителей «Энциклопедии» – «священной книги» просветителей. Клоотс принимал активное участие в «дехристианизации» Парижа и в установлении «культа Разума». Этот якобинец называл республику «нигилистической», подчёркивая, что она не имеет ни позитивной (теистической), ни негативной (атеистической) связи с Богом [126, с. 88]. Он же заявил, что республика и права человека «придерживаются нигилизма». И уже Л.С. Мерсье в своём словаре «Новых французских слов» (1801), появившемся сразу после десятилетнего периода революции, связал «нигилизм» с деятельностью «энциклопедистов», утверждая, что источником отрицания и неверия были радикальные деятели французского Просвещения [186, с. 612]. Но, как и будущие русские нигилисты, Клоотс не мог избавиться от христианского мышления, пусть не на уровне мировоззрения, но на уровне представления о структуре бытия. Если в центре мироздания нет бога мистического, то эта пустота должна быть занята чем-то другим. Клоотс заявил: «Атрибуты фантастической божественности в действительности принадлежат божественности политической. Я сказал и повторяю, что человеческий род является Богом и что аристократы являются атеистами» [133, с. 215].

произведение «Остров Борнгольм» Н.М. Карамзина, на проблематике революционного террора во многом завязанное (но об этом ниже). Произошедшее во Франции потрясло все монархии Европы. Революция стала ассоциироваться с жесточайшей тиранией. И в готике это отразилось. Стали появляться не просто реминисценции, но и прямые отсылки к событиям тех лет. И тождество «революция – тирания», «революционер – деспот, а никакой не освободитель», позже осуществлявшееся в русском антинигилистическом романе 1860-1870 гг. в ключе «таинственного и ужасного», было лишь продолжением концепций, наметившихся в 1790-ые гг.

Французская революция сильно впечатлила Мэтью Грегори Льюса (1775-1818), английского писателя, мастера «ужаса». Время его юности пересеклось с периодом якобинского террора. Как и Уолпол Льюис не был далёк от социально-политической жизни Великобритании. Он входил в состав Палаты общин парламента (с 1796 года), а до этого служил в дипмиссии при королевском дворе Нидерландов. Отец же Льюиса почти тридцать лет проработал в Военном министерстве и желал видеть своего сына государственным деятелем. Франция была предметом внимательных наблюдений Льюиса, лето 1791-ого года молодой человек (тогда ещё учащийся) провёл в Париже. И не удивительно, что его готический роман «Монах» вобрал столько антиклерикальных мотивов, шуток над Библией и эпизодов, связанных с попытками её переписать. Криминализация же церковного причта в романе, сцены жестоких расправ (в том числе народных, в которых можно заметить и «праведный бунт»), эротики (чаще «садистской») и проч. вызвали яростную критику влиятельных кругов Великобритании. Дело было усугублено и тем, что второе издание «Монаха» 1796 года (первое появилось в 1794 г., анонимное) вышло с пометкой «Член парламента» после имени автора. Это было воспринято как вызов общественному порядку. Автора обвинили в «безнравственности» и заподозрили в проповедовании якобинских идеалов [105, с. 153-154]. Льюис был вынужден вносить существенные правки (вплоть до названия) в текст последующих публикаций своей интересной и коммерчески успешной книги. Но при этом

подлинное отношение писателя к революционному террору было самым негативным. Ужасающая и отвращающая сцена убийства преступной настоятельницы обители Святой Клары разъярённой толпой – реминисценция убийства маркиза де Лоне, коменданта Бастилии, в 1789 году. Льюис продемонстрировал неудержимую безжалостность бунтующих: «Каждый новый мучитель оказывался свирепее предыдущего <…> продолжали волочить её по улицам, бросать на мостовую, топтать и учинять над ней всяческие жестокости, какие только могли им подсказать ненависть и мстительная ярость <…> пока тело не превратилось в кровавое месиво, бесформенное, непристойное и отвратительное» [47, с. 278-279]. А сожжение монастыря в «Монахе» отсылает к церковным погромам, грабежам, поджогам, прокатившимся по Франции, где уже были приняты антиклерикальные законы и даже звучало намерение снести Нотер-Дам де Пари (приступили к демонтажу, разбили статуи, замазали витражи чёрной краской).

Долго не могла отойти от событий французской революции и британская англиканская церковь. В романе Чарльза Метьюрина «Мельмот скиталец» (1820), где тоже горит монастырь, упоминается роман (во многом мемуарный) графини де Жанлис «Жюльен Дельмуар» (1819), повествующий о революционных событиях во Франции. Метьюрин, англиканский священник, охарактеризовал произведение графини как пример «циничной откровенности глубоко порочных людей» [54, с. 108]. Но вместе с тем изобразив страдания героев, оказавшихся в стенах тюрьмы испанской инквизиции XVII века и в мужском монастыре, автор указал, что истоки «безбожия» коренятся в католической церковной тирании. Это был типичный взгляд англиканской церкви, построенной на противопоставлении себя «папству». Мотивы бунта и антиклерикальные темы проникли и в русский готический роман – а точнее «протороман» – «Дон Коррадо де Геррера, или дух мщения варварства гишпанцев» (1803) Н.И. Гнедича [24]. Свои преступления против народа Коррадо творит по повелению инквизиции. Произведение завершается сценой народного восстания и штурма замка злодея.

Известный исследователь готической литературы Монтегю Саммерс (1880-1948) был уверен, что тайные общества (ср. какое значение им придаёт Крестовский в своём «Кровавом пуфе»), так часто изображавшиеся в готических романах, не были только лишь вымыслом. Саммерс не исключал, что всемирный заговор против религии и всех правительств действительно существовал. И его кульминацией была как раз Французская революция с её якобинским террором. Самым же сильным готическим романом, посвящённым тайным международным заговорам, Саммерс считал произведение Карла Гроссе (1768-1847) «Гений. Таинственные приключения дона Карлоса де Гранде» (1794). И обсуждая этот роман, Саммерс в своей знаменитой монографии «The Gothic quest: A history of the Gothic novel» (Готический квест / поиск: История готического романа) (1938) употребляет понятие «нигилисты» (единожды во всей книге) в связи с тайными обществами, зловещими заговорами и революцией: «дон Карлос (герой произведения) вовлечен в дела иллюминатов, тайного общества, организованного (и связанного с немецкими сатанистами пятнадцатого века) Адамом Вейсгауптом (Спартаком), мерзким поджигателем, которого Луи Блан [социалист, историк – прим. А.Е.] без преувеличения назвал “самым основательным заговорщиком из когда-либо существовавших”. Иллюминаты скрывали свои анархические цели, маскируясь и занимаясь фальсификациями (и нет никаких сомнений в том, что Гроссе, хотя и приукрашивает свои эпизоды, пишет о действительности). Когда Карлос понимает, что Иллюминаты – это *нигилисты*, горячие революционеры, полуночные убийцы, дьяволы, ненавистные Богу и людям, он пытается сбежать и уничтожить их банду, но снова и снова они охотятся за ним, преследуя его то в одной стране, то в другой» [248, с. 131-132]. Заметим, как сильно этот сюжет напоминает судьбу Константина Хвалынцева, оказавшегося в путах польских заговорщиков в «Кровавом пуфе».

Предвестиями страшной революции наполнено готическое «Пророчество Казота» (1806) Жана-Франсуа де Лагарпа, французского просветителя, поклонника Вольтера, профессора литературы. В жизни этого человека

произошёл мучительный «переход» от «революции» к «контрреволюции»[24]. Лагарп был страстным сторонником свержения абсолютизма, выступал с конституционных, республиканских позиций, прав и свобод человека, но после якобинского террора 1793-1794 гг., когда писателя поместили в тюрьму как аристократа и «подозрительного», его взгляды поменялись. Покинув острог, он вернулся к лекторской деятельности и стал обрушиваться с трибуны академии на «нигилистов» – врагов морали, искусства, литературы и т.д. (такой же переход от «революционности» к «антиреволюционности» был и у Достоевского, Крестовского, Дьякова и др. но об этом далее по тексту). В «Пророчестве…» Лагарп вспоминает таинственное предсказание, сделанное Жаком Казотом, мистиком, гадателем, автором готической повести «Влюблённый дьявол» (1772). В 1788-ом году Казот посетил «одного вельможу», у которого собирались словоохотливые либеральные сторонники политических преобразований, и предрёк публике массовый террор: «Вы все увидите эту великую и прекрасную революцию <…> Знаете ли вы, что произойдет после революции со всеми вами, здесь сидящими, и будет непосредственным ее итогом, логическим следствием, естественным выводом? <…> Вы, господин де Николаи, кончите свою жизнь на эшафоте; вы, господин де Байи, – на эшафоте; вы, господин де Мальзерб, – на эшафоте... <…> то будет владычество разума. И люди, которые поступят с вами так, будут философы, и они будут произносить те самые слова, которые произносите вы здесь вот уже добрый час» [297, с. 244]. «Пророчество Казота» – важнейшая иллюстрация трактовки революции в ключе «таинственного и ужасного», а вместе с тем – иллюстрация готического иррационализма как мироощущения.

Профетическими высказываниями, предрекающими будущие революционные потрясения, наполнены и произведения русской антинигилистической прозы. Вот лишь пара примеров: «Мы сделаем смуту <…>

[24] Подобные «переходы» в то время случились у многих. Например, у английского поэта и критика Кольриджа, немецкого публициста Якоба Гёрреса и мн. др.

Вы не верите, что мы сделаем смуту? Мы сделаем такую смуту, что всё поедет с основ. [1, с. 322] – говорит Верховенский в «Бесах» (1871) Ф.М. Достоевского; «Всё это пролог чего-то большого, что неотразимо должно наступить» [4, с. 794] – говорит Подзоров в романе «На ножах» (1870) Н.С. Лескова[25]

В «Аглае» (1794-1795) Карамзина, альманахе одного автора (не считая произведений «Чиж» И.И. Дмитриева и «Разлука» М.М. Хераскова) задана модель, в которой «готика» («тайны и ужасы») – «Остров Борнгольм» (1794), «Сиерра-Моррена» (1795), «Дремучий лес» (1795) – соединена с идеями «революция – тирания», «революция – предвестие гибели европейской цивилизации» – письма «Мелодор к Филалету» и «Филалет к Мелодору» (1795). Эта модель впоследствии и была развёрнута в антинигилистической прозе. «Свет наук распространяется более и более; но ещё струится на земле кровь человеческая – лиются слёзы несчастных – хвалят имя добродетели и спорят о существе её» [33, с. 106] – говорит путешественник (предполагается, что это сам Карамзин) в беседе с мрачным хозяином старого средневекового замка на скалистом острове Борнгольме. Эта повесть – первое в русской литературе готическое произведение, полностью соответствующее сформировавшемуся к тому времени канону. Мелодор же в своём письме восклицает: «Век просвещения! Я не узнаю тебя – в крови и пламени не узнаю тебя – среди убийств и разрушения не узнаю тебя!» [36, с. 63-64].

Письма Филалета и Мелодора наполнены отчаянием и страхом. Основной вопрос: как человечество, дошедшее «до крайней степени возможного просвещения» могло погрузиться в варварство? Революция мыслится как нашествие дикарей. И от этой концепции русская патриотическая интеллигенция уже не отступала (как и от многих других взглядов Карамзина). С «варварством» сблизил «нигилизм» и критик Н.И. Надеждин в своём памфлете 1829 года «Сонмище нигилистов (Сцена из литературного балагана)»[26], опубликованном в

[25] Подробно о профетическом в параграфе 2.2. «Эсхатологическая символика и “демонизация”»

[26] Считается, что «Сонмище нигилистов» (1829) – первая русская статья, где понятие «нигилизм» было употреблено

«Вестнике Европы» (первым редактором которого в 1802 году, кстати, стал Карамзин). Намёк Надеждина – важнейший аспект, на который исследователи редко обращают внимание. Флюгеровский, приведя своего приятеля Недоумко в кружок нигилистов, шуточно отрекомендовывает его: «К чести моего приятеля должен я сказать, что он есть истинный сын Природы [дикарь, идеал естественного человека Жан-Жака Руссо – прим. А.Е.], не повреждённый школьную пылью учения. Его душа носит на себе печать оригинальной, самобытности: это гений автодидактический! [самоучка]» [309, с. 18].

«Нигилизм» и «революция» представлялись как явления «дохристианские», «языческие», отсюда и эсхатологическая мысль о приближающейся гибели европейской цивилизации. И неудивительно, что спустя несколько десятилетий, когда в 1860-ых гг. нигилизм широко распространился по России, проповедник А.О. Ключарев высказался: «Познания о добре и зле, о законном и назаконном, о честном и бесчестном, о человеколюбии и правде, о власти и отношениях к ней, о правах и уважении к ним – обратились в истины ещё искомые, подлежащие исследованию и проверке, *как будто мы живём во времена дохристианские* <…> Эта запутанность дела в убеждениях, эти споры могут сбить русский народ с пути, по которому он шёл тысячу лет с такой честью и славой» [232, с. 5].

Что касается Руссо, то его философия как раз и была основным источником общественных теорий партии якобинцев [182, с. 9-10; 232, с. 38]. Цивилизация и её пороки: социальное неравенство, где есть аристократия и чернь, беспощадный к личности и её чувствам прогресс, жажда наживы – всё это, по убеждению Руссо, испортило человека, стало основой страданий[27] [133, с. 111-112, 115]. Самого философа никак нельзя отнести к «кровавым радикалам», но именно в «естественное», «природное» состояние взаимоотношений между людьми французские якобинцы пытались вернуть общество. Пусть даже и с помощью гильотины. Журналист и издатель К.В. Трубников написал по этому поводу в

[27] Эти взгляды Руссо изложил в работах «Рассуждение о науках и искусствах» (1750), «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» (1755) и др.

своей работе «Источники смуты и опоры крамолы» (1880) следующее: «Все противники этой идеи [«руссоистской»], начиная с особы короля, должны быть умерщвлены, а остальные люди соединиться узами “братства”. Такова была мечта Робеспьера, как видно из бумаг, найденных после его смерти, и нет основания заподозривать его или его последователей [русских нигилистов] в неискренности» [232, с. 38].

Но философия Руссо питала как и фанатиков революции (в частности, его книги были у Нечаева вместе с текстами Робеспьера [244, с. 5]), так и мыслителей, настроенных, в последствии, антиреволюционно, будь то Карамзин, следовавший за Жан-Жаком в сентиментальной литературе (Руссо написал роман «Юлия, или Новая Элоиза (1861)), или консервативный реалист Ф.М. Достоевский, рассматривавший проблематику «руссоизма» в своих произведениях. В этом смысле альманах «Аглая» хронологически связал идеи Руссо, Карамзина и Достоевского. Профессор Д.П. Ивинский показал это на примере романа «Идиот» (1868): «проблематика у Карамзина и у Достоевского оказалась связана с “руссоизмом”, с выбором между представлением о развитии как прогрессе и как регрессе, с проблемой “естественного человека” как идеале, чье воплощение в реальности общественной жизни невозможно, а актуализация неизбежна и необходима, и в обоих случаях устремлено за пределы земного времени-пространства. На противоположном полюсе – на границе или уже в пределах “реальности” – мотивный комплекс “жестокость – сострадание / жалость, ужас, познание сокровенного зла” в сочетании с темой душевной “невинности” и “болезни” / “болезненности”, физической и душевной» [152 с. 179-180].

«Идиота» нельзя отнести к роману «антинигилистическому», но нигилизм в нём обсуждается, и при этом в связи с темой насилия как метода: «Нигилисты все-таки иногда народ сведущий, даже ученый, а эти – дальше пошли-с, <…> не о бессмысленности, например, какого-нибудь там Пушкина дело идет, и не насчет, например, необходимости распадения на части России; нет-с, а теперь уже считается прямо за право, что если очень чего-нибудь захочется, то уж ни

пред какими преградами не останавливаться, хотя бы пришлось укокошить при этом восемь персон-с» [26, с. 214]. Примечательно, что близкий к нигилизму Ипполит умирает именно от чахотки – «скончался в ужасном волнении и несколько раньше, чем ожидал» [26, с. 508] – от болезни, делающей человека худым, меланхоличным, бледным, а из-за предчувствия смерти – сентиментальным, какими обычно представлены герои готических произведений. Та же Лила из «Острова Борнгольма», Эмилия из «Удольфских тайн» и многие другие. Таким образом, утратив бешеную энергетику нигилизма, свойственную 1860-ым гг., персонаж «истончился» до образа из литературы 1790-ых, современной возникновению мучительных дилемм о принципах, на которых должна быть организована будущая жизнь человека.

Эсхатологическое восприятие идеи «революции» доминирует не только в антинигилистической прозе 1860-1880 гг., но и в русской патриотической, консервативной мысли. После Восстания декабристов «бунтарство» в России стало характерной и «искомой» чертой образа молодого человека: офицера, студента, журналиста, поэта и т.д. Антиреволюционная идеология[28], формировавшаяся сначала по мотивам Великой французской революции, продолжила укрепляться и на фоне новых потрясений. Франция оставалась законодателем «политической моды», и происходившее там служило катализатором протестов по всей Европе [133, с. 297-298]. Так было и после новой революции – Июльской (1830), сместившей Карла X и приведшей к власти Луи-Филиппа I.

В 1832 году граф С.С. Уваров, будучи пока ещё в должности Товарища (первого заместителя) Министра народного просвещения, сообщил Императору Николаю I следующее: «<…> расположение умов молодых людей ожидает

[28] Было влияние и консервативной европейской интеллигенции. С 1803-1817 гг. в Петербурге служил сардинским послом Жозеф де Местр, масон, философ, непримиримый критик французской революции. Человек с очень мрачным мироощущением, считавший, что страдание и столкновение со злом – ключ к пониманию мира. Де Местр предположил, что ужасы революции были очищающим огнём, в котором может возродиться настоящее христианство [133, с. 270-273]. Консервативные взгляды Де Местра отражены в книге размышлений «Санкт-Петербургские вечера» (1821)

только обдуманного направления, дабы образовать в большем числе оных полезных и усердных орудий правительства, <…> я не хочу безусловно утверждать, чтобы легко было удержать их в сем желаемом равновесии между понятиями, заманчивыми для умов недозрелых и, к несчастью Европы, овладевшими ею» [340, с. 509-510]. Под «понятиями» заманчивыми для «умов недозрелых», но уже овладевшими Европой, Уваров подразумевал идеи революции, республиканства, конституционной монархии и т.п. Спасение от «грозящей бури» Уваров видел в образовании, и уже будучи Министром народного просвещения писал в своих рекомендациях императору «О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством Народного Просвещения» (1833 г.) следующее: «Дано ли нам посреди бури, волнующей Европу, посреди быстрого падения всех подпор Гражданского общества, посреди печальных явлений, окружающих нас со всех сторон, укрепить слабыми руками любезное Отечество на верном якоре, на твердых основаниях спасительного начала? <…> залог невредимой силы Государства, должно устоять против порывов бури ежеминутно нам грозящей, то образование настоящего и будущих поколений в соединенном духе Православия, Самодержавия и Народности составляет бессомненно одну из лучших надежд и главнейших потребностей времени…» [341, с. 72]. Таким образом, «триада» «Православие, Самодержавие, Народность», предложенная в качестве официальной идеологии, находилась в антиреволюционной парадигме. Другими словами, недопущение революции стало идеологией России периода правления Николая I, и уже никогда не теряло своей актуальности. Аналогично в 1841 году писатель, политический публицист и историк русской литературы С.П. Шевырёв, покровителем которого Уваров был, высказал мысль о двух недугах «умирающей Европы» (надо понимать – недугах заразительных): «Эти болезни были – реформация в Германии, революция во Франции: болезнь одна и та же, только в двух разных видах» [350, с. 247].

Параллельно формировался и взгляд на революцию как на «антихристианство» (дополняя уже существующие представления Карамзина и

Надеждина о революции как «возвращению к варварству»). Концепция «антихристианства», а по сути – «перевёрнутого мира» (аналогично «перевёрнутой церкви», «шабашу»[29]) была проиллюстрирована, в том числе, в зарубежной публицистике Ф.И. Тютчева. Он писал об этом в статье на французском языке «Россия и Революция» 1848-го года, когда во Франции свергли теперь уже Луи-Филиппа I и провозгласили Вторую республику. Революция по Тютчеву возводит в абсолют человеческое «Я», ставит его превыше всего: «Человеческое я, желающее зависеть лишь от самого себя, не признающее и не принимающее другого закона, кроме собственного волеизъявления, одним словом, человеческое я, заменяет собой Бога» [339, с. 458]. А заменить собою Бога – значит стать вершителем судеб.

На фоне событий 1848 года во Франции в России сформировалось общество «петрашевцев». Они увлекались идеями французских социалистов и утопистов – Виктора Консидерана, Пьера-Жозефа Прудона, Луи Блана, Сен-Симона, Этьена Кабе и проч. Само слово «социализм» вошло в употребление в период Великой французской революции, его стали использовать для характеристики воззрений крайнего якобинца Сен-Жюста [133, с. 212]. Но особенно популярен у петрашевцев был Шарль Фурье, изобретатель «фаланстера» – трудовой коммуны единомышленников – которую Петрашевский пытался испытать на своих крепостных крестьянах в 1847 году, но тогда же, по слухам, они здание фаланстера и сожгли [257, с. 102][30]. Именно Фурье в последствии активно

[29] Это представление о революции подготовило условия, в том числе, для «демонизации» нигилистов-революционеров в антинигилистической литературе. Об этом в параграфе 2.2. «Эсхатологическая символика и “демонизация”»

[30] Принцип Фурье – культ труда и наслаждения от труда – был воплощён Чернышевским в «Что делать?» (1863) [182, с. 141], первом «нигилистическом» романе, персонажи которого послужили моделью поведения для многих революционеров-социалистов. Как и труд Фурье, утопичен был и роман Чернышевского. Но и писался этот текст с расчётом на молодую и наивную аудиторию. Задача «Что делать?» – сподвигать на изменение мира. С этим романом распространилась идея «светлого будущего». В «Что делать?» написано: «будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести: настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы умеете перенести в нее из будущего. Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из

обсуждался в романе «Бесы» (1871) в связи с темой революции как тирании. Как и у Лагарпа, в жизни Достоевского, входившего в кружок Петрашевского, произошёл мучительный переход от «революции» к «антиреволюции». Философ Николай Бердяев писал: «Достоевский сделался врагом революции и революционеров из любви к свободе, он увидал в духе революционного социализма отрицание свободы и личности» [257, с. 125]. Достоевский проводил мысль, что «фурьеризм» русских либералов-социалистов 1840-ых гг. у нигилистов 1860-ых гг. (когда и сами тайные общества были уже отнюдь не аристократические) развился в деспотичную тоталитарную «шигалевщину»: «Шигалев гениальный человек! Знаете ли, что это гений вроде Фурье; но смелее Фурье, но сильнее Фурье <…> Он выдумал «равенство»! <…> у него шпионство. У него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а главное – равенство <…> Рабы должны быть равны: без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство, и вот шигалевщина!» [1, с. 322]. «Господин Шигалев отчасти фанатик человеколюбия; но вспомните, что у Фурье**,** у Кабета особенно и даже у самого Прудона есть множество самых деспотических и самых фантастических предрешений вопроса. Господин Шигалев даже, может быть, гораздо трезвее их разрешает дело» [1, с. 313].

Взгляды на организацию общества у Шарля Фурье и Пьера Жозефа Прудона (тоже очень популярного у петрашевцев) во многом противоположены. Идеал Фурье – нечто вроде тоталитарного социализма, а у Прудона что-то вроде анархической сети рабочих коммун [182, с. 11], с обязательным же и, безусловно, деспотичным уничтожением всего «лишнего». Для Фурье был важен культ труда, любви к работе. Писатель и публицист А.П. Мальшинский, исследователь революционного движения, ссылаясь на труд Фурье «Новый индустриальный

него в настоящее все, что можете перенести» [84, с. 283-284]. В этом смысле «нигилистическому» роману как и «антинигилистическому» свойственна профетичность, но в первом случае он утопичен, а во втором – «антиутопичен», эсхатологичен и будущее рисуется таинственным и ужасным

мир» (1829) («Le nouveau monde industriel»), писал, что этот философ «завидовал бобрам, пчёлам, осам и муравьям, для которых труд, по его мнению, служит источником наслаждения» [182, с. 142]. Прудон же отрицал всяческую государственную организацию, даже мыслимую. Отрицал любую власть, так как она несовместима с идеей равенства. По тем же причинам отрицал законы, принудительный характер которых противоречит свободе личности. Отрицалась и церковь как вечная союзница государства. Неприемлемым для Прудона были и органы правопорядка, и административные органы [182, с. 10-14]. И по этим последним пунктам идеология Прудона вполне соответствует радикальному «русскому нигилизму» (те же тезисы мы видим в прокламации «К молодому поколению» (1861) Н.В. Шелгунова).

Но именно с якобинцами – силой, произведшей самое ужасающее впечатление во всей истории европейских революций – стали связывать русских нигилистов 1860-1870 гг., таких же радикальных «уравнителей», разрушителей культуры, ненавистников искусств, ассоциировавшихся с хорошим вкусом, аристократичностью и проч. Современник нигилистов К.В. Трубников писал: «знакомясь с идеями нигилистов, так и кажется, что читаешь идеи французских террористов, которые хотя и потерпели крушение, однако произвели переворот во всей Европе» [232, с. 37-38]. Замышляемая революция была невозможна без тотального отрицания всех культурных и политических основ, на которых стоял старый порядок[31].

[31] Но не только якобинцы и французские утописты были «учителями» русских нигилистов. С.П. Шевырёв связывал понятие «нигилизм» не только с культом «отрицающего разума», возникшим в период французского просвещения и охватившим страну во время Великой революции, но и с «бесплодным немецким материализмом», сильно влиявшим на «нашу эфемерную журнальную литературу» с её неспособностью произвести хоть что-то, «кроме ежедневных листков газет и журналов» [349, с. 170–172] (надо полагать, речь о «Колоколе», «Современнике», «Русском слове», революционных прокламациях и др.) Среди популярных мыслителей-материалистов обычно называют поэта Георга Бюхнера, физиолог Якоба Молешотта, зоолога Карла Фохта, философа Людвига Фейербаха. Ср. у Крестовского в «Панурговом стаде» (1869): «Ведь вы, сударь мой, вероятно, маракуете кое-что в социалистах?.. Ну, там, знаете, Фурье, Сен-Симон, Бюхнер, Молешот, Прудон... ну, там, Фохт еще... ну, и прочие – маракуете?» [3, с. 128]; «<…> в разговоры о Бюхнере, Фогте, Молешоте и

Идеология революционного террора (и именно якобинского масштаба) отразилась в прокламации «Молодая Россия», распространяемой в 1862 году. Её написал П.Г. Зайчневский, дворянин, сын генерала, студент Московского университета. Этот зациклившийся на революции молодой человек был убеждённым последователем Робеспьера, Гракха Бабёфа[32], Прудона (незавершённый перевод его книги «Что такое собственность?» (1840) полиция нашла среди бумаг нигилиста [244, с. 6]), итальянца Джузеппе Мадзини[33] и др. В прокламации Зайчневского государство представляется как две партии: народная и императорская. И первая непременно должна уничтожить вторую. «Выход <…> один – революция, революция кровавая и неумолимая, – революция, которая должна изменить радикально все, все без исключения, основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка. Мы не страшимся ее, хотя и знаем, что прольется река крови, что погибнут, может быть, и невинные жертвы; мы предвидим все это и все-таки приветствуем ее наступление, мы готовы жертвовать лично своими головами, только пришла бы поскорее она, давно желанная» [283, с. 144]. В прокламации «Молодая Россия» эксплуатировались все догмы и штампы нигилистического учения:

Фейербахе, как и вообще в “большие разговоры” не вступали. Этими дилетантками в деле науки руководила пока еще одна только современная мода» [3, с. 228]

[32] Организовал в 1796 году так называемый «Заговор равных» – тайное революционное движение, целью которого было свержение французской Директории (сформированной в 1795 году после Термидорианского конвента). «Бабувисты» хотели продолжить террор, начатый якобинцами, и добиться «подлинного равенства», уничтожив не только аристократию, но и буржуазию, частную собственность, чтобы раз и навсегда положить конец делению людей на богатых и бедных, на руководящих и руководимых. Но заговор провалился, Бабёф был арестован и гильотинирован в 1796 году. Нечаев же внимательно изучал книгу Буонарроти «История заговора Бабёфа» (фр. «Histoire de la Conspiration pour l'Égalité dite de Babeuf») (1828) [244, с. 5], делая нужные для себя выводы

[33] Название созданной Мадзини на Апеннинском полуострове подпольной революционной организации «Молодая Италия» (1831-1848; добивались освобождения итальянских земель от иноземцев и образования единой Итальянской республики) как раз и было адаптировано Зайчневским для «Молодой России». Революционные группы с аналогичными названиями появлялись в разных частях Российской империи, в 1865 году на Кавказе были арестованы члены «Молодой Грузии» и «Молодой Армении» [259, Ч.1, с. 65], существовала и «Молодая Польша» (1830-ые гг.).

атеизм, антиаристократизм, отрицание института семьи и пр. Зайчневский до конца своих дней оставался фанатиком революции. Даже на смертном одре он бредил о «светлом царстве социализма» [276. с. 27].

Тезисы, аналогичные «Молодой России», мы видим и в других прокламациях того времени. Например, в тексте «К молодому поколению» (1861) Н.В. Шелгунова, где было заявлено о готовности «вырезать 100 тыс. помещиков» [352, с. 1-2], а революция звалась на помощь народу как единственный выход, если Император не выполнит следующие требования: введение конституции, уничтожение полиции, сокращение армии и срока воинской службы, передача крестьянам земель, на которых они трудились у землевладельцев до Освобождения, и т.д.). А в «листке» первого состава «Земли и воли» «Свобода» (1862) была объявлена «неуклонная борьба с врагом русского народа – с императорским правительством» [296, с. 16].

Свидетели «зари» русского радикализма утверждали, что русский нигилизм отрицал не только то, что отвергалось и прежде французскими революционерами (в этом нигилисты не были оригинальны), но и всю нравственную сторону человека. И их не останавливало даже отсутствие народной поддержки[34]. В этом смысле русские нигилисты-радикалы не были похожи на популярных в своё время якобинцев, а являлись, скорее, маргиналами. Исследователь и современник нигилистов А.П. Мальшинский писал: «только человек, совершенно оторванный от жизни общества, изолированный или почему-либо иному чуждый народу, может сделать своё “Я” [ср. со взглядом на “Я” Тютчева – прим. А.Е.] исходным пунктом революционного движения» [182, с. 190-191]. При этом подчёркивалось, что русские нигилисты, в отличие от французских якобинцев, были поражены пессимизмом, они мрачно смотрели на будущее, пусть даже и успешное для революции. Журналист К.В. Трубников подметил:

[34] Например, в составе «ишутинцев», арестованных в 1866 году после покушения их товарища Каракозова на Александра II, было 18 дворян, 8 студентов из дворян и духовенства, 5 чиновников, 2 учителя, 2 поповича, 3 мещанина, 2 неработающих выходца из сельской местности и ни одного настоящего крестьянина или фабричного рабочего [182, с. 228]

«Одно изречение, которое никогда не высказал бы французский террорист. Это изречение г. Бакунина весьма знаменательно: “и тогда народится новое поколение, великодушное и независимое, и весь род человеческий будет счастлив, до тех пор, пока снова *дух зла* не возродится из пепла старого мира. Дети наших детей будут снова вынуждены начать наше дело”. Таким образом, русский нигилист пессимистичен до такой степени, что ему грезится после рая ад» [232, с. 40]. «Профетические озарения» для русских революционеров 1860-1870 гг. были делом обычным, но важно другое: России предрекалась бесконечная «спираль революций», а значит и контрреволюций. Страна, подобно готическим проклятым скитальцам (Вечный жид, вампир, Мельмот и др.), оказывалась обречённой на вечные метания, вечную тревогу, вечный и безнадёжный поиск своего места в мире[35].

На фоне студенческих волнений 1868-1869 гг., одним из организаторов которых был Нечаев, М.Н. Катков сформулировал концепцию «управляемого нигилизма», которая стала доминирующей в ключевых произведениях антинигилистической прозы: «Вред нигилизма заключается главным образом в миазмах его существования, а не в способности к самостоятельному организованному политическому действию. <...> Что такое нигилизм? Не создан ли он затем, чтобы служить средством для людей и партий не брезгливых в выборе средств? Нет такой мерзости, которая не могла бы взойти на его нивах; но нигилизм неспособен быть целию, в нем нет ничего положительного, ничего организующего» [288, с. 308-309]. И мы видим, что практиками «управляемого нигилизма» в антинигилистической прозе оказались и агенты польских повстанческих организаций («Кровавый пуф» Крестовского), и герои, замыслившие уголовное преступление с целью наживы («На ножах» Лескова), и революционеры-мошенники («Бесы» Достоевского), и тунеядствующие вожди кружков, живущие на деньги распропагандированной молодёжи

[35] О «готических скитальцах» см. в параграфе 2.4., «”Проклятый скиталец” Василий Свитка (Константин Калиновский)»

(«Кружковщина» Дьякова) и др. Тема «управляемого нигилизма» раскрывается с помощью модели «ведомого грешника», активно применявшейся в готической прозе: взаимодействие между, условно, «демоном-искусителем» и «имморалистом», подталкиваемым к гибели. Ср. Трутнев и Ольга Бровская в «Фатальной жертве» Дьякова, Свитка и Хвалынцев в «Кровавом пуфе», Верховенский и Ставрогин в «Бесах», Бодростина и Горданов с Висленевым в романе «На ножах» и т.д.

Период 1860-1870 гг. дал много материала писателям-антинигилистам. «Кошмары» царского режима быстро потускнели на фоне первых же актов терроризма и программ разрушения государства, разлетавшихся по стране в виде прокламаций и статей из нелегальной периодики. Пожары[36], бунты, кровавые расправы, эпидемия «кружковщины» (очень далёкой от тайных аристократических обществ прошлых десятилетий, и больше напоминавшей тоталитарные политические секты) – всё это было осмысленно и интерпретировано в антинигилистической прозе.

И из всех авторов, оказавшихся очевидцами времени, в первую очередь следует обратить внимание на В.В. Крестовского (1840-1895). Романная дилогия Крестовского «Кровавый пуф» – «Панургово стадо» (1869), «Две силы» (1874) – позиционируемая как «Хроника нового смутного времени государства российского» [3, с, 295] охватила, пожалуй, самый экстремальный период

[36] Лескова в 1862 году в среде нигилистов записали в «охранители» и «реакционеры» за передовые статьи в «Северной пчеле», где писатель сначала высказался за необходимость сформировать волонтёрские команды для защиты города от поджигателей [299; 300], а потом потребовал раскрыть имена поджигателей [301]. Лесков писал: «мы, с своей стороны, можем только еще раз повторить нашу настоятельную просьбу о скором опубликовании имен настоящих виновников, чтобы тем защитить в общественном мнении другие, совершенно несправедливо и неосновательно обвиняемые лица» [301, с. 603-604]. При этом Лесков был категорически против обвинений в адрес студентов, так как видел, что многие из них самоотверженно участвовали в тушении пожаров. «Может быть, из полутора тысячи учащейся молодежи и нашлись два, три безумца. Но возводить такое страшное обвинение на всех - в высшей степени несправедливо!» [301, с. 604] – писал Лесков

Великих реформ Александра II – это 1861-1864 годы. Время, когда империя буквально затрещала по швам[37].

В эти годы Крестовский был студентом Санкт-Петербургского университета. Профессор А.А. Корнилов в своём «Курсе по истории России XIX века» (1912-1914) описывал атмосферу, царившую в то время в вузах, следующим образом: «Дух критики, сомнения и молодого задора не замедлил проявиться и в отношении к профессорам. Вошли в обычай в аудиториях рукоплескания, свистки и шиканье. К профессорам начали предъявляться различные требования» [158, с. 253]. Ср. у Крестовского в «Панурговом стаде»: «Среди двухтысячного стада, которым коноводили несколько завзятых вожаков, бывших, в свою очередь, передовыми баранами в другом, еще большем, громаднейшем стаде, выдвигалась одна только самостоятельная личность [профессор, лекцию которого молодые люди решили сорвать], не захотевшая, во имя правды и науки, подчиниться никакому насилию, – и против этого одного, против этого честного права, против законной свободы личности поднялся слепой и дикий деспотизм массы, самообольщенно мнившей о своем великом либерализме» [3, с. 231].

В жизни Крестовского тоже был отход от «революционного», но не такой мучительный, как у Лагарпа или Достоевского. Приверженность Крестовского радикальным идеям преобразования российского общества была лишь модой, он был юн, и жизнь ещё не дала ему того реального опыта, который и формирует подлинное, а не книжное, мировоззрение. В начале 1860-ых он был близок представителям так называемых «демократических кругов» – нигилисту

[37] В 1860-ых годах Россия начинает обрастать «кружковщиной», подобной той, что охватила крупные города Франции в последнюю четверть XVIII века и в 1820-ые, и в 1840-ые гг. В конце 1861 года в России появляется первая революционная организация «Земля и воля». Первыми плодами сложной «Крестьянской реформы» уже весной 1861-го стали новые крестьянские волнения. Крупнейшее произошло в селе с символическим названием «Бездна», в Казанской губернии. Крестьянские волнения весной и летом 1861 года сопровождались волнениями студенческими, набравшими силу к осени. Весной 1862 года Петербург, столицу Империи охватывают пожары, а в начале 1863-го вспыхивает восстание в Польше

Писареву, социал-демократу Некрасову (даже подражал ему в стихах) [119, с. 147-148]. Профессор Г.А. Склейнис, изучив биографию автора «Кровавого пуфа», указала, что в двадцатилетнем возрасте он был настоящим либералом. Характеристики же, которые давали ему его друзья и знакомые, и вовсе наводят на мысль, что этот «либерал» был ещё и чистейшей воды «нигилистом». «Был в те поры ярым радикалом и атеистом» [211, с. 21] – вспоминал однокурсник Крестовского А.М. Скабичевский, известный критик. И он же писал о своём приятеле: «он очень горячо и резко старался обратить меня на путь всяческих отрицаний… Первые семена свободомыслия посеял в меня автор “Панургова стада”» [211, с. 20]. А журналист С.С. Окрейц говорил про Крестовского: «Он был либерал <…> и даже либерал очень красный…» [211, с. 20]. Но к средине 1860-ых гг. Крестовский оказался в оппозиции к революционному движению. Сюжет «Кровавого пуфа» выстроен вокруг нескольких ключевых точек – крестьянский бунт в селе Бездна, студенческие волнения в крупных городах и, самое главное – поджоги в Петербурге в мае 1862-го и Польское восстание 1863-1864 гг. Два последних эпизода – кульминационные события дилогии. По всей видимости, они же и оказали решающее влияние на писателя.

В 1870-ом году в «Русском вестнике» Каткова начал выходить роман Н.С. Лескова «На ножах». Произведение охватывает и глубоко осмысляет «кружковщину», социальный дарвинизм[38], религиозное сектантство, крестьянские бунты. «На ножах» стало одним из главных художественных текстов антинигилистического направления. Лесков спешил с публикацией этого романа, так как он с его мотивом коллективного убийства по сговору был созвучен с расследуемой деятельностью Нечаева и его революционной «Народной расправы» [158, с. 342-342].

В жизни Лескова тоже произошёл определённый отход от «прогрессивности» к сдержанности в оценках идей, продвигаемых «передовой»

[38] Об этом в параграфе 2.1., «Образ нигилиста: социальный дарвинизм, “женский вопрос”, антиаристократизм и др.»

частью общества. Многое стало казаться Лескову преждевременным. На заре своего литературного пути в некоторых вопросах он был близок демократам. В частности, в статье «Русские женщины и эмансипация» (1861) призывал к такому справедливому требованию времени, как равноправие полов [303]. «В русской семье женщина раба, кукла или одалиска (по вкусу ее семейного падишаха) ничуть не более, чем в своем семействе женщина французская» [303, с. 337] – писал он. И несколько в юмористическом ключе отзывался о «фобиях» консервативных европейцев, ставивших знак равенства между «эмансипацией» и «развращённостью»: «несчастное смешение понятий эмансипации с понятием о нарушении всех нравственных законов и добровольно принятых обязанностей было и есть причиною того, что даже не самые отсталые умы многих европейских стран страшатся женской эмансипации едва ли не более, чем занесения в их благополучные страны турецкой чумы» [303, с. 337]; «На всем материке просвещенной Европы стали утверждать, что в эмансипации женщин – гибель нравов, попрание основы семьи, разрушение всего святого и высокого: слово “эмансипированная женщина” стало синонимом “развратная женщина”» [303, с. 338]. Для Лескова этот взгляд был «quasi-эмансипацией». Но в русских нигилистических коммунах он увидел именно «псевдоэмансипацию». И в антинигилистическом романе «На ножах» (1870-1871) (через десять лет после процитированной статьи) писатель показал, как защитники женских прав превращаются в сутенёров и трудовых эксплуататоров слабого пола. Свобода приводит героиню романа Глафиру Акатову к распущенности, а распущенность – к вседозволенности, абсолютной безнравственности и «уголовщине»[39].

Параллельно с романом «На ножах» в 1871-ом в «Русском вестнике», печатались «Бесы» Достоевского. Как и в случае с «Панурговым стадом» и романом Лескова, центральной антинигилистической темой «Бесов» стала «кружковщина». Достоевский объединил два прототипических слоя – кружок

[39] Подробно об образе Глафиры Бодростиной / Акатовой см. в параграфах 2.4, «“Жертва” Глафира Акатова и ”демонесса” Глафира Бодростина», 3.1, «Появление ожившего мертвеца в мире материалистов-атеистов», 3.2, «Убийство Михаила Бодростина»

Михаила Буташевича-Петрашевского (к которому имел непосредственное отношение) и «пятёрки» Нечаева. А отношения Петра Верховенского и Николая Ставрогина стали интерпретацией отношений Нечаева и Бакунина, и связь их была переосмыслена в готическом ключе – «демон-помощник» и «преступник-имморалист»[40]

Когда в России распространились «хождения в народ» как вид революционной пропаганды, в столицах Европы размножились кружки русских эмигрантов, значительная часть которых сосредоточилась в Швейцарии. Они разнились идеологически, там были и теоретики-социалисты, и безудержные анархисты и более-менее спокойные либералы, и откровенные террористы, но всех их объединяла мечта о революции в России. А.А. Дьяков («А. Незлобин», «Житель» и др. псевдонимы) был связан с эмигрантскими объединениями и посвятил им цикл антинигилистических повестей «Кржуковщина», изначально – «Кружок», под таким общим названиям они впервые вышли в «Русском вестнике» в 1875-1877 гг.: «Из записок социал-демократа» (1875), «Фатальная жертва» (1876), «В народ!» (1876) и «Weltschmerzer» [«Мировая боль», нем.] (1877). В среде революционеров произведения Дьякова были восприняты крайне негативно. Автор писал: «Первый очерк «Кружка» [«Из записок социал-демократа»] подвергся самому бесцеремонному искажению гг. рецензентов» [310, с. 119]. Позже повести Дьякова были изданы отдельно профессором П.П. Цитовичем в 1879 году в Одессе: «Кружковщина. “Наши лучшие люди – гордость нации”». В сборник вошла и статья «Нигилизм и литературное развитие» (1879). В сатирическом и трагическом ключе изобразил Дьяков нравы русских «кружковцев». Тут мы встречаем и журнал «Вперёд!», и ситуацию с выдачей русскому правительству уголовника Нечаева. Прототипами для образов зарубежных вождей русской революции («идолов» / «диктаторов») послужили Бакунин, Лавров, Герцен и др. Они изображены мошенниками, тунеядцами и

[40] Об этом см. параграф 2.4, «Пётр Верховенский и Николай Ставрогин: “демон-помощник” при имморалисте-преступнике». Убийство старого Бодростина в романе Лескова и Шатова в «Бесах» оформлены в стилистике «таинственного и ужасного», реализована типичная готическая сюжетная схема (об этом в Главах 2-3)

эксплуататорами наивной молодёжи. Дьяков ассоциировал кружки и коммуны с «собранием нечисти». В его повестях произошла трансформация системы готических и романтических мотивов и адаптация их к условиям культурного и политического контекста 1870-ых гг.[41] В статье «Нигилизм и литературное развитие», в которой много мемуарного, автор говорит об умственной ограниченности, слепой фанатичности, порочности и ужасах совершенно аморального нигилистического движения.

Поворот в жизни А.А. Дьякова был не менее крутым, чем у Лагарпа или Достоевского, но в отличие от них биография Дьякова мало известна. В 1869-1873 гг. он служил учителем, а затем нотариусом в Александровском уезде Екатеринославской губернии. Позже, в Харькове, сошелся с революционерами и занялся пропагандой. Но в 1874 г. бежал из России, опасаясь доноса. Жил в Цюрихе, Дрездене, Берлине, Праге, поддерживая отношения с кружками русских политических эмигрантов. В этот период он порвал с ними, разойдясь во взглядах на будущее России: «<…> оно [революционное движение] у нас комично по своему бессилию, по умственной ограниченности» [176, с. 203]. С тех пор Дьяков стал ярым критиком «нигилизма», революционного радикализма и русской эмиграции. Продолжая находиться в Европе, он наладил связи с владельцем «Русского вестника» М.Н. Катковым. И даже работал для «Московских ведомостей», редактируемых Катковым, военным корреспондентом в Сербии в период Русско-турецкой войны [4, с. 203]. В 1879 году Дьякова задержали на русской границе и отдали под суд (в Харькове) за проживание по фальшивым документам. Одновременно с этим судили (в Екатеринославле) за самовольное оставление должности нотариуса в 1874 году (когда бежал в Европу) и растрату казённых денег. Это дело широко освещалось в печати. Бывшие товарищи не могли простить Дьякову того, что он стал «ренегатом нигилизма», как выразился Катков в своей статье в защиту арестованного писателя. Не могли простить превращения «из пропагандиста-

[41] Об этом в Главах 2-3

революционера в изобличителя нигилизма» – писал Катков [292, с. 163-164]. Дьякову дали 8 месяцев тюрьмы, но вскоре освободили, благодаря связям издателя «Русского вестника» в корпусе жандармов. Автору «Кружковщины» зачли литературные заслуги по «разоблачению целей русских революционеров за границей» [176, с. 204].

Став изгоем среди публики, настроенной революционно, Дьяков во многом оставался изгоем и среди людей консервативных. Ему просто не верили, что он действительно порвал с нигилизмом. Журналист и издатель К.В. Трубников процитировал в своей книге «Источники смуты и опоры крамолы» (1880) одно из писем Дьякова, в котором автор «Кружковщины» рассуждает о своём переходе в ряды так называемых «реакционеров»: «Русское общество должно быть признательно, что реакция с ним не лукавит по-наполеоновски, а заявляет свои требования открыто, рассчитывая на свою силу, и, как видишь, не ошибается, особенно с тех пор, как оппозиционные попытки так смешно скомпрометировали нашу крайнюю сторону». И там же Дьяков добавил рассуждение, ставшее поводом подозревать в нём «двойного агента»: «О сочувствии реакции не может быть и речи, но я говорю, что если б единичному человеческому усилию вменялась в обязанность тенденция той или другой определённой партии, то несомненно, что каждый стал бы на сторону силы, хотя и с противоположными целями, т.е. не содействовать ей, а ослаблять её влияние» [232, с. 10]. Трубников недоумевал, как Катков, издатель «Московских Ведомостей» и «Русского вестника», мог заступаться за такого человека и доказывать, что Дьяков бесповоротно перешёл в партию «ультра-консервативную» [232, с. 11]? Трубников писал: «В виду такого своеобразного факта будет, пожалуй, для многих весьма последовательно согласиться с мнением Шедо-Ферроти [Фёдор Иванович Фиркс, публицист, государственный служащий – прим. А.Е.], который говаривал, что старая русская или московская партия имеет несомненно родство с г. Герценом и сумасбродными авторами “Молодой России”. Она есть не что иное, как замаскированная революция!» [232,

с. 11]. Но Катков доверял Дьякову и не сомневался в его искренности, а главное – в ценности выводов, сделанных писателем в повестях «Кружковщины».

Из всех рассматриваемых нами авторов антинигилистической прозы только князь В.П. Мещерский был последовательным врагом революции и даже либерализации. В его жизни не было «переходов», какие произошли у Достоевского, Дьякова, Крестовского и даже таких едва заметных демократических «брожений», как у Лескова. Мещерский (писатель, публицист, крупный издатель, глава известного светового салона, где собирались и министры) был верен трону, стоял на позициях усиления церкви, дворянства и самодержавия как опор России, и считал себя преемником Карамзина, его консервативных взглядов, о которых мы знаем из «Записки о древней и новой России» (1811)», из «Мнения русского гражданина» (1819) и др. Князь в общении с титулованными и высокопоставленным особами всегда подчёркивал, что является «внуком Карамзина». А своих ближайших единомышленников называл «маленьким кружком людей, берегущих предания» [168, с. 151, 180][42].

Мещерский боролся с «нигилистами» и революционерами всех цветов политического спектра. В статье «Нигилизм», вошедшей в книгу князя «В улику времени» (1879), он высказался о целях этой разрушительной идеологии: «Программа эта донельзя проста, и в этом, то есть в том, что она программа нигилизма, вся ее обаятельная и таинственная сила. Она под стать всякому возрасту, всякому сословию, всякой степени умственного неразвития и в особенности всякому положению, ибо она требует одного: уничтожения всего,

42 Александр II в конце тяжёлого 1865 года (тогда умер цесаревич Николай), на новогоднем вечере, попросил Мещерского не бросать наследника престола и быть рядом с ним всегда [168, с. 62]. Чтобы образовать будущего Александра III князь организовал целый кружок для общения цесаревича с полезными людьми, у которых было чего послушать и чему поучиться. Встречи проходили в доме Карамзина на Большой Морской, там в 1860-ых гг. жил Мещерский. Так был создан неформальный «лекторий» для наследника престола. Среди гостей был и историк С.М. Соловьёв, и К.П. Победоносцев (учитель законоведения императорских детей), а также издатель и публицист Н.М. Катков [168, с. 59], а кроме этого – писатели, среди которых и граф А.К. Толстой, автор готического «Упыря» (1849). И каждый их этих «учителей» повлиял на мироощущение будущего императора

что есть и что было – без заботы о том, что будет» [307, с. 58]. Антинигилистическая, антилиберальная и противобюрократическая (борьба с отдельными бездеятельными и вредными чиновниками) направленность была и у знаменитой патриотической газеты Мещерского «Гражданин». В последствии она считалась настольной у Александра III и Николая II, отражала взгляды императоров, и влияла на них [134, с. 70-71]. В период 1872-1874 гг. газету редактировал Ф.М. Достоевским (Мещерский хорошо знал и Крестовского, и Лескова). В 1870-ые гг. князь опубликовал и несколько светских романов, отражавших нравы придворных людей, бюрократии и общества в целом. Среди них антинигилистические «Тайны современного Петербурга» (их выход завершился в 1876 г.). Здесь в фокусе внимания не только революционная «кружковщина», но и порочность денег, опасность либеральной политики в России, атеизм, поразивший даже церковные круги, и «распад семьи» как одной из основ жизни россиян. В этом произведении Мещерский и прибегнул к приёмам литературы тайн и ужасов. И одним из ориентиров романа оказалась готическая повесть В.П. Титова и А.С. Пушкина «Уединённый домик на Васильевском» (1828)[43]

[43] Об этом в параграфах 3.1., «Приглашение в свой дом “нечисти” (нигилиста)», 3.2., «Убийство матери собственными детьми в семействе Емельяновых»

Глава 2
Характеры и эсхатология

2.1. Готическая проза и генезис литературного нигилиста

Обсуждение генетической связи нигилиста с готическим преступником-имморалистом предполагает сопоставление «универсального» – общих черт поведения, внешности, идейных дилемм и др. И на данном этапе нас интересуют не столько индивидуальные персонажи[44], сколько объединяющие их мировоззрение и мироощущение. Но вместе с тем разговор о генезисе невозможен без представления о процессе преемственности. И здесь мы должны обратить внимание на следующие вещи: влияние готики на жанры романтической и реалистической литератур, а также интерпретирование и адаптация фольклорных, мифологических и религиозных образов (Прометей, Дьявол, вампир, оборотень, ведьма, колдун и др.).

В первую очередь опишем универсальную модель нигилиста антинигилистической прозы 1860-1870 гг.

Образ нигилиста: социальный дарвинизм, «женский вопрос», антиаристократизм и др.

Принцип «социального дарвинизма» стал ключевой темой антинигилистической рефлексии. Писатели увидели ужас бесчеловечности в попытках перенести законы естественного отбора на отношения между людьми. А.А. Дьяков, непосредственный участник нигилистических кружков, вспоминал свою «братию»: «По ним [по законам Дарвина] выкраивалось ”нравственное

[44] О них см. параграф 2.4. «Персонажи “готики” в антинигилистических произведениях»

миросозерцание” всех, подвергавшихся ”развитию” в опытных руках. Борьба за существование перешла в нравственное убеждение, в принцип личного поведения в обществе. Дарвиновский закон не говорит, что выживают лучшие виды; напротив, выживают более приспособленные к обстоятельствам. Дарвин приводит массу примеров, где приспособление достигается хитростью, сноровкой, подделкой, ложью, обманом, т.е., такими качествами, которые в человеческой личности имеют совершенно отрицательное значение, и даже прямо называются низостью, подлостью» [311, с. 17].

И когда в романе «Панургово стадо» Крестовского нуждающаяся в помощи Нюта Любянская приезжает беременная в петербургскую коммуну нигилистов к своему соблазнителю Ардальону Полоярову, он говорит ей: «Вы читали “О происхождении видов” Дарвина? <…> Я вас к тому спрашиваю про Дарвина, что ежели бы вы что-нибудь дельное вычитали из него, так поняли бы, что это ваше естественное назначение как самки, и тогда бы вы не стали творить драм и романов из-за такого пустяка. Отец!.. Ну, что ж такое отец? При чём он-то тут в этом процессе? <…> забота о потомстве лежит исключительно на особах женского пола. Это самое естественное и потому самое рациональное. <…> Роль каждого самца ограничивается только...» [3, с. 203]. Принцип «социального дарвинизма» в итоге и сподвигает Ардальона, как дикаря, «сожрать человечину» – отобрать младенца у матери и сдать в воспитательный дом[45].

Логику социального дарвинизма в мировоззрении нигилистов, по всей видимости, первым заметил И.С. Тургенев. Базаров говорит Аркадию: «Вон молодец муравей тащит полумертвую муху. Тащи ее, брат, тащи! Не смотри на то, что она упирается, пользуйся тем, что ты в качестве животного имеешь право не признавать чувства сострадания, не то что наш брат, самоломанный!»[46] [81, с. 43]. Социальный дарвинизм, безусловно, находится рядом с теориями расового превосходства, о которых профессор К.Г. Доусон писал как о побочном и

[45] Об этом в параграфе 3.2., «Нюта Лубянская во власти “чудовища”»

[46] Этот эпизод на предмет связи с идеями Дарвина достаточно подробно рассмотрел А.И. Батюто [99]

негативном явлении научно-технического прогресса, экономических и социальных революций XIX века [133, с 314].

Но несмотря на слова Н.А. Бердяева о нигилистах как своего рода «просветителях» – «у нигилистов было подозрительное отношение к высокой культуре, но был культ науки, т. е. естественных наук, от которых ждали решения всех вопросов» [257, с. 136] – в общей массе эти люди были образованы поверхностно, по сути, оставались «неучами», и академическое знание презирали, на профессоров «шикали», срывали лекции [158, с. 253]. А.А. Дьяков вспоминал: «“Рефлексы” г. Сеченова знали, а его же “Физиологию Нервной Системы” удаляли за “бестолковость”, т.е. опять-таки не по мозгам. Дарвиновское “происхождение видов” низвели до пошлости, до сводничества; а других сочинений его вовсе не знали, да их и не нужно…» [311, с. 11]. Ср. у Нечаева в статье «Постановка революционного вопроса»: «Во всех этих заведениях [университеты, академии, школы], основанных и содержимых им [государством] для образования слуг государства, т.е. притеснителей и эксплуататоров народа, под влиянием доктринёрских учений и подтасованной науки, мы, пожалуй, могли бы испортиться. Ведь доктринёрный, учёный разврат, пожалуй, опаснее всякого другого. Он проникает медленным ядом все помышления и чувства, волю, сердце и ум человека, создавая и узаконяя во имя столь же лживого и громкого слова: цивилизация, теорию самой гнусной народной эксплуатации» [315, с. 33].

Из малообразованности, низости культуры и происходит вульгарный характер материалистического мировоззрения нигилистов, их грубый атеизм, обесценивание философии, утилитарный подход к искусству. А вместе с тем и отрицание института семьи, брака. Их считали неестественными, насильственными. Поэтому и появилась практика так называемых «свободных» отношений между мужчиной и женщиной, отношений «натуральных». Что по Чернышевскому является свободой любить (см. роман «Что делать?»), а в антинигилистической же прозе демонстрировалась тёмная сторона этой «свободы»: превращение «натурального брака» в неразборчивость половых

связей, по сути – в разврат, и при этом губительный. Это продемонстрировано и на примере взаимоотношений Нюты Любянской и Ардальона Полоярова в «Панурговом стаде», Глафиры Акатовой и Горданова в романе Лескова «На ножах» и др. Ср. «Появлялись хлыщи охотиться на нигилисток. Это было ново, завлекательно, не просто покупка разврата, а возведённая в научную теорию» – описываются нравы «кружковцев» в повести «Фатальная жертва» Дьякова. «Свободная любовь» была невозможна без нигилизма, отвергающего законы общественной морали, поэтому оказалась частью как чисто феминистического движения в России 1860-1880 гг., так и революционного, направленного на разрушение «старого» с его порядками и ограничениями. А.П. Мальшинский писал, что судебный процесс над пропагандистами (так называемый процесс 193-ёх) «изобилует разоблачениями свободы отношений между агитаторами обоего пола»: «Одна из подсудимых, молодая девушка, во время самого разбирательства дела была в положении [беременная], не оставляющим ни малейшего сомнения в её неправильном образе жизни» [182, с. 238].

В представлении нигилистов семья – это место, где над женщиной исторически совершалось насилие. Писатели же антинигилистического направления показывали, что, бросая семьи ради коммун и кружков, женщины (как правило, из благородных) попадали в настоящую трудовую и половую эксплуатацию. Их использовали в качестве домашней обслуги, наборщиц в подпольных и эмигрантских типографиях, пропагандисток и всё это под «соусом» работы на «общее дело» (на грядущую революцию). Приживали с ними детей, потом сдавали их в воспитательные дома (отразилось в романах «Панургово стадо» и «На ножах», в повести «Из записок социал-демократа» и др.). Дьяков вспоминал одну швейцарскую коммуну: «В Цюрихе впоследствии – “поднимать женский вопрос у такой-то” – было выражение фигуральное; словом “вопрос” заменялось другое… Рыцари “честного направления” и на этот вопрос имеют прекрасную защиту: неужели женщину не надо было привлекать к умственным интересам? Кто решиться ответить – “нет”? Да, женщину надо было привлечь к интересам умственным, а её привлекали к половым» [311, с. 28]. И не

всегда подобное «привлечение» заканчивалось благополучно. Ср. у Дьякова же: «мученицы коммун, которые топились, стрелялись, отравлялись от “прелести” новых нравственных понятий, господствующих в передовых, развитых, умных кружках» [311, с 30].

Идеал человека «натурального», «естественного», можно сказать – «идеал первобытного человека» (по Н.И. Надеждину – «сын природы» [309, с. 19]) – воплотился в подчёркнутом антиаристократизме / антиэстетизме внешности у нигилистов. «Неотёсанность», отсутствие манер в обществе: демонстративно ходили с сучковатыми дубинками (противопоставлялись аристократической трости), у мужчин были грязные нестриженые волосы до плеч и ниже, у женщин волосы короткие, иногда бритые, ногти неухоженные, грязные, кусанные. И.Н. Паперно предположила, что это намеренное противопоставление своих ногтей ухоженным аристократическим ногтям пушкинского Евгения Онегина [195, с. 19]. Вспомнить хотя бы статского советника Салатушку, от имени которого А.Ф. Писемский в своём памфлете 1861 года, описывал внешность «новой» молодёжи: «нечёсаный и нестриженый, с усами и бородой, студент и непонятного для меня ведомства офицер в штатском жилете (очень красиво!)»; «Вся, – говорит, – наша народность состоит в том, чтобы ходить небритым, немытым и нечёсаным, говорить на *о*… чаво… таво…» [317, с. 37]. Нигилисты не были первыми, кто демонстративно противопоставлял себя аристократии, используя специальную атрибутику, символику, одежду и другие внешние элементы. Во времена якобинской диктатуры существовало целое движение санкюлотов («бескюлотников»). Эти городские и сельские ремесленники, ходившие в красных фригийских колпаках, не имели аристократической одежды – тех же кюлотов – и сделали это своим отличительным признаком, своего рода – «знаменем». Одежда простого чернорабочего стала атрибутикой антиаристократизма.

«Социальный дарвинизм» и «вульгарный материализм» оказались базой и для социальной ненависти и политического радикализма. Провоцировалась борьба против всех исторически устоявшихся форм организации русского

общества: атеизм восставал против православной церкви (части государства), коммуна – против сословности, свободные отношения между мужчиной и женщиной – против брака и семьи, «разночинство» – против аристократии, публицистика – против изящного искусства и т.д. Сформировалась идея, что человек – не более, чем материал для революции (это лейтмотив программных статей и «ишутинцев», и «нечаевцев», и «землевольцев», и «народовольцев» и т.д., а в итоге и большевиков).

Но кроме жестоких расправ над изменниками, чаще мнимыми, нигилисты-радикалы практиковали и совершенно беспринципное использование своих же сторонников в качестве «ударной силы», а то и «живого щита». Всеволод Костомаров, участник пропагандистского кружка, один из организаторов тайной типографии 1861 г., отозвался о Чернышевском, своём вдохновителе и, пожалуй, лидере следующим образом: «израильтянин [Костомаров сравнивал Чернышевского с Самсоном] был так не практичен, что, расшатав столбы здания, втемяшился в самую средину его и повалил обломки на себя. Наш Самсон, т.е. Чернышевский, рассуждает иначе; он полагает: “зачем мне погибать под обломками старого здания, я лучше пошлю других разваливать его, а сам посижу пока в стороне: коли развалят – хорошо, я займусь тогда постройкой нового, а не развалят – надорвутся, так мне-то что? Я-то всячески цел останусь”» [259, с. 75]. Это было сказано в письме 1863 года к некому Соколову (существуют мнения, что лицо это – вымышленное), Костомаров в это время уже был арестован. Судили его, в том числе, и за воззвание «К барским крестьянам», которое составил не он, а Чернышевский (всячески отрицавший свою причастность к этому тексту)[47]. И здесь же уместно процитировать «Отцов и детей» Тургенева, где Базаров[48] говорит Аркадию: «Ситниковы нам необходимы. Мне, пойми ты

[47] Об изображении пропагандистов в антинигилистической прозе см. в том числе параграфы 2.4, «”Демоны-подстрекатели” Пшецыньский и Подвиляньский», 3.1, «”Оборотничество” и агитационно-пропагандистская работа», 3.1, «”Вербовка” как договор с нечистой силой»

[48] Этот характер был сформирован во многом под впечатлением автора от общения с Чернышевским и Добролюбовым (см. статью «Краткая история русской антинигилистической прозы»)

это, мне нужны подобные олухи. Не богам же, в самом деле, горшки обжигать!.. "Эге, ге!.. – подумал про себя Аркадий, и тут только открылась ему на миг вся бездонная пропасть базаровского самолюбия. – Мы, стало быть, с тобой боги? то есть – ты бог, а олух уж не я ли?"» [81, с. 102].

Добавим, что модель «универсального нигилиста», можно сказать, представлена в программных документах цюрихской Славянской секции 1872-го года, созданной М.А. Бакуниным. Бакунинский революционер – это молодой человек из неблагосостоятельных слоёв общества, мечтающий об уничтожении государства и всех учреждённых им порядков. Он исповедует материализм и атеизм и борется «против всех родов богослужения», старается уничтожить саму идею Бога. Он уважает науки точные, но «с негодованием отвергает правительство учёных как самое надменное и вредное». Другими словами – отвергает систему образования: «академию», «школы», «университет» и проч. [182, с. 73]. Этот портрет можно дополнить и тем, что написал о тургеневском Базарове Д.И. Писарев: «Он слыхал кое-что о поэзии, кое-что об искусстве, не потрудился подумать и с плеча произнёс приговор над незнакомым предметом <…> Он считает совершенно излишним стеснять свою особу в чём бы то ни было. В его цинизме две стороны – внутренняя и внешняя, цинизм мыслей и чувств и цинизм манер и выражений. Ироническое отношение к чувству всякого рода, к мечтательности, к лиризму, составляет сущность внутреннего цинизма» [182, с. 138-139]. В итоге «нигилист-революционер» развился и в то, что Анна Гейфман назвала «революционером нового типа – некий симбиоз радикала и уголовника, эмансипированного в своём сознании от любых моральных условностей» [122, с. 9]; «убийца, например, неожиданно превращался в террориста, борца за свободу; грабитель – в экспроприатора; психопат – в оратора» [122, с. 11]. Эти типы стали массовыми в период 1900-1917 гг., когда страну захлестнул терроризм. Но уже в антинигилистической прозе 1860-1870 гг. был показан нигилист-радикал с совершенно «вывихнутой» системой ценностей, когда пороки и злодеяния стали называться достоинствами и подвигами. Это было «предвидение» грядущего успешного революционера.

Право на «перекраивание мира». Титанизм

Революция была «симфонией жизни» нигилистов. На этом и акцентировали внимание писатели антинигилистической прозы, пытаясь разрешить такую дилемму, как право на перекраивание мира по собственному замыслу: есть ли у человека на это силы, готов ли он уподобиться Богу, не породит ли «чудовищ»? Именно этот вопрос лежит в основе готического романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818). Виктор Франкенштейн отрицает могущество смерти, жаждет изменить порядок вещей и берёт на себя роль Бога, пытаясь оживить труп, и ему это удаётся, но он порождает чудовище, расправляющееся с близкими учёного и с ним самим.

Исследователь Достоевского А.Б. Криницын указал: «Уже само заглавие романа “Франкенштейн или современный Прометей” перекликается с проблематикой Достоевского. Главные герои романов “пятикнижия” – богоборцы, желающие утвердить новый порядок и новую мораль на земле, считающие, что их идея означает “геологический переворот” – конец власти на земле прежнего Бога (т.е. Христа). Таковы Раскольников, Кириллов, Петр Верховенский, Иван Карамазов» [164, с. 205]. Подобная характеристика «нигилистов Достоевского» подходит и для всего русского антинигилистического романа. «Новый порядок», «глобальный слом» – на этом зациклено большинство литературных нигилистов, и связаны эти понятия, безусловно, со сферами «эсхатологического» и «богоборческого» (в христианской трактовке – это «сатанизм»[49], в античной – «титанизм»).

История титана Прометея – это история о терроре, последовавшем за свержением одного бога другим. Зевс низверг сурового Крона, но оказался куда более жестоким тираном, вознамерившимся истребить людской род. Прометей хоть и был лоялен Зевсу (в отличие от большинства титанов, воевавших с

[49] См. об этом параграф 2.2. «Эсхатологическая символика и “демонизация”»

олимпийскими богами), но в этот раз воспротивился и дал человечеству спасительный огонь – искусства и ремёсла [89, с. 3], совершив своего рода «техническую революцию». За это и был жестоко наказан. Но существуют разные трактовки подвига Прометея, в частности ему приписывается великая хитрость и злой умысел. Восстав против Зевса и дав людям огонь, титан развил в них пороки, ставшие причиной войн [171, с. 444], в каком-то смысле породил «чудовищ» (таково и представление о Прометее у М. Шелли). Зевс же, считалось, дал людям «государственность», «порядок», «нравственность» [171, с. 443].

Стоит ли говорить, что образ Прометея, противника богов, широко использовался в политической литературе. Герцен в статье «Сербы и черногорцы» (1860), опубликованной в «Колоколе», писал: «Да будут вам судьбы Польши вечным уроком. Прометея, прикованного к Кавказу, ежедневно прилетал терзать один коршун, одним клювом. Дальше воображение греков не шло. А Польшу, прикованную к России, клюют день и ночь три орла, три урода – с пятью клювами [имеются в виду гербы Австрии, Пруссии и Российской империи – прим. А.Е.]» [273, с. 332].

Взгляд на Прометея как бунтаря / революционера, восставшего против несправедливого, по его убеждению, порядка вещей, соотносим и с образом Дьявола / Сатаны в романтической интерпретации (сатанизм как бунт против Бога и его законов). Тем более, что в соответствии с «Апокалипсисом» Сатана будет скован (подобно Прометею) на тысячу лет архангелом Михаилом [254, с. 168; 91, с. 477]. «Князь тьмы» оказал магистральное влияние на формирование «преступника-имморалиста» – будь то готические романы и повести или последовавшие за ними романтические произведения, проза реализма, включающая и антинигилистическую литературу и т.д. Осмыслением, развитием и оправданием Сатаны занимались писатели нескольких поколений, начиная с «Потерянного рая» (1667) Мильтона, и продолжая произведениями романтиков – «Бракосочетание Рая и Ада» (эссе) (1790) У. Блейка (революционера по своему духу и чистого социалиста по своим взглядам на общество [133, с. 289]), «О дьяволе и дьяволах» (эссе) (1820-1821) Перси Биши Шелли, «Каин» (1821)

Байрона и др. – и до французских символистов и поэмы «Гибель Станы» (1886) Виктора Гюго.

В период предромантизма (времени «готики») и романтизма доминировали две основные трактовки повелителя тьмы. Первая – традиционная, библейская: Дьявол / Сатана как воплощение лукавства, отрицания, сомнения (таким он предстаёт в «Книге Иова» [285, с. 15-16]), антагонист Бога, повелитель ада и бесов, властелин всего, что противно христианской церкви [91, с. 476]. Именно эти черты перенял готический антагонист. В готике же происходило и непосредственное формирование облика литературного Дьявола и его подручной нечисти (см. «Влюблённый дьявол» Казота, «Ватек» Бекфорда, «Монах» Льюиса, «Киевские ведьмы» Сомова, «Уединённый домик на Васильевском» Титова и Пушкина и др.). Вторая же трактовка князя тьмы – романтическая. Дихотомия Бога и Сатаны стала рассматриваться как конфликт между порядком и непослушанием. Эти образы оказались связанными с проблематикой революции, истинности и ложности традиционных ценностей, справедливости и несправедливости установленных в обществе норм. Уместно процитировать Г. Лукича, литературоведа марксистской направленности, для которого социально-критическая составляющая литературного процесса была ключевой: «У романтиков, даже самых прогрессивных с политической и философской точек зрения, протест против унизительной прозы капиталистической действительности породил демонического героя» [174, с. 77]; «Демонизм – это лирический протест против жизненной прозы» [174, с. 77]. Сатану стали ассоциировать с «революционностью», бунтом против тирании Бога и божественного мироздания, а также короля (самодержца) и его государства. Ср. у анархиста Пьера Жозефа Прудона: «Приди к нам, Сатана, оклеветанный низкими царями. Бог – это безумие и трусость. Бог – это лицемерие и фальшь. Бог – это тирания и нищета. Бог – это зло» [247, с. 199-200]. Так в романтической литературе появился «индивидуалист-бунтарь» (своего рода последователь переосмысленного Сатаны и такой же титан-богоборец как Прометей) – особого рода имморалист-преступник, позиция которого в сюжете

перестаёт быть антагонистической и становится протагонистической (Карл Моор из «Разбойников» Шиллера, «Корсар» и «Каин» Байрона и др.).

Влияние романтической литературы на русских радикальных нигилистов – очевидно. Нечаев в статье «Начала революции» (1870) писал: «Дела, инициативу которых положил Каракозов, Березовский и пр. [первый стрелял в Александра II в 1866 году, второй в Париже в 1867-ом – прим. А.Е.] должны перейти, постоянно учащаясь и увеличиваясь, в деяния коллективных масс, в роде деяний товарищей Шиллерова Карла Моора, с исключением только того идеализма, который мешает действовать как следует, и с заменой его суровой, холодной, беспощадной последовательностью» [314, с. 40]. Сравнивал с героем Шиллера русских радикалов и Герцен (правда, почти на десять лет раньше нечаевского текста) и тем самым высмеивал их, в статье «Молодая и старая Россия» (1862) читаем: «Вы нас считаете отсталыми [обращается «старый» революционер к «молодым» – прим. А.Е.], мы не сердимся за это, и если отстали от вас в мнениях, то не отстали сердцем – а сердце даёт такт. Не сердитесь же и вы, когда мы дружески оборотим ваше замечание и скажем, что ваш костюм Карла Мора и Гракха Бабёфа на русской площади не только стар, но сбивается на маскарадное платье» [269, с. 204].

В реалистическом романе – социально-критическом, психологическом, светском, криминальном, детективном, «женском» и т.п. – при создании «злодея социального» тоже были усвоены черты Дьявола / Сатаны, но преимущественно в готической, а не романтической трактовке. Злодей уже не был протагонистом, как индивидуалист-бунтарь. Реалистический имморалист стал олицетворением несправедливости, преступности и порочности общества. Готическая проза повлияла и на технику создания атмосферы упадка, отчаяния, царящих на социальном дне Лондона, Парижа (напр. «Парижские тайны» (1842-1843) Эжена Сю) или Петербурга (напр. «Петербургские трущобы» В.В. Крестовского (1864-1866)). В.М. Жирмунский и Н.А. Сигал писали: «Техника романов “тайны и ужаса” была использована для современной темы изображения социальных ужасов буржуазного общества («неистовая школа» французских романтиков,

«Оливер Твист» Диккенса, 1837, и др.)» [146, с. 260]. Об «ужасном» в произведениях Диккенса, Браунинга, Генри Джеймса и др. говорил и Г.Ф. Лавкрафт [167, с. 411]. А у Монтегю Саммерса, пожалуй, самого авторитетного зарубежного исследователя готической литературы, о влиянии романа «Монах» (1796) Мэтью Льюиса на литературу XIX-XX веков сказано следующее: «его таинственность и ужас [mystery and terror] <…> на протяжении многих лет пронизывали английский роман, и даже сегодня оставили нам наследие на страницах многих восхваляемых и пользующихся всеобщим одобрением писателей» [248, с. 208].

В антинигилистическом романе 1860-1870 гг. в «нигилисте» сочетаются и готические и романтические черты. «Великое отрицание», «самомнение», «жестокость» соединены с «революционностью» – «титанической» борьбой с царём и Богом (религией) – а вместе с тем связаны с преступностью – как и в высоком трагическом смысле (преступать закон, рискуя свободой и жизнью ради лучшего будущего для грядущих поколений), так и в низком – уголовном. К примеру, в Ардальоне Полоярове из романа «Панургово стадо» пафос служения «общему делу», даже некоторая «жертвенность» сочетаются с мелким воровством (таскает деньги из кассы коммуны), мошенничеством (подделывает герценовское письмо и адресует его самому себе) и в конце концов – с трусостью (похищает младенца у матери, своего же ребёнка, чтобы сдать в приют, лишь бы не принудили жениться). Такое же сочетание революционного пафоса и «уголовщины» мы видим и в характерах романа «Бесы». С одной стороны, готовность Петра Верховенского «пустить смуту», вершить судьбы народов, а с другой – использование каторжника Федьки для грязных дел, подлое убийство Шатова, фальсификация предсмертной записки Кириллова и т.п.

«Поглощение жизни». Вампиризм

Ещё одна общая дилемма готики и антинигилистической прозы – допустимо ли, чтобы один поглощал жизнь другого для продолжения своего

существования? Будь то в физическом или социально-политическом смыслах (например, для сохранения позиции «вождя»). В этом и заключается проблематика «вампиризма».

Есть два мотива, сопутствующих и вампирам (типичным «проклятым скитальцам» готической прозы), и политическим радикалам антинигилистической литературы: приглашение в свой дом нечисти и нечисть, влюблённая в человека (или наоборот). Например, Бодростин в романе «На ножах» Лескова приводит в свой дом обольстительную «демонессу» Глафиру и это заканчивается для хозяина смертью, молодая жена «съедает» его для обеспечения своего дальнейшего существования[50]. В «Тайнах современного Петербурга» князя Мещерского в дом приводят нигилиста Кедрова, «старая» (традиционная) семья рушится, создаётся «новая» (нигилистическая), а мать семейства, лишний человек, умирает, не выдержав «новых порядков». «Старая» жизнь забрана для существования «новых»[51]. То же самое в «Бесах» Достоевского: появление в домах Петра Верховенского и Николая Ставрогина заканчивается гибелью домочадцев. Будь то «наши» или отдельные персонажи: Шатов, капитан Лебядкин или даже Степан Верховенский (гибнущий не от рук радикалов, а от потрясений, связанных с деятельностью молодёжи). Что касается гибели Лизы, хромоножки, Матрёши и др., то причиной этому – их влюблённость в магнетически обаятельного (что свойственно и готическим вампирам) Николая Ставрогина. И во взаимоотношениях с каждой из этих девушек Николай оказывается «гостем», «визитёром». Он заканчивает жизнь самоубийством, а вампиры / упыри как ожившие мертвецы – это, в том числе, и самоубийцы [242, с. 114]. Ср. «И это Ставрогин, “кровопийца Ставрогин”, как называет вас здесь одна дама, которая в вас влюблена!» [1, с. 401] – восклицает Лиза[52]. Что касается мотива «похищения», «поглощения» жизни, то он в

[50] См. параграф 3.2, «Убийство Михаила Бодростина»

[51] См. параграфы 3.1, «Приглашение в свой дом нечисти (нигилиста)», 3.2, «Убийство матери собственными детьми в семействе Емельяновых»

[52] В частности, на «вампиризм» Ставрогина указывали А.Б. Криницын и Д.Д. Шарапова [165, с. 19]

антинигилистической прозе повсеместен. Например, Василий Свитка, увлекающий и губящий распропагандированную молодёжь в дилогии «Кровавый пуф», то же самое Трутнев в повести «Фатальная жертва» Дьякова[53]. В романе «Панургово стадо» Нюта Лубянская приводит в свой дом Полоярова, влюбляется в него, следуют за ним в Петербург, а в итоге оказывается у него в заточении и гибнет в муках.

Та же комбинация мотивов характерна для романтических и предромантических текстов – «Ленора» Бюргера (1773), «Людмила» (1808) и «Светлана» (1813) В.А. Жуковского (обе баллады – подражание Бюргеру), «Гяур» (1913) Байрона, «Кристабель» (1816) Колриджа. Данные произведения повлияли на формирование образа вампира XIX века (вампир-аристократ / «кровосос» / опасный паразит). Появились хрестоматийные «Вампир» («фрагмент») (1816) Байрона [105, с. 498], «Вампир» (1819) Дж. Полидори, «Упырь» (1841) А.К. Толстого, «Варни Вампир, или кровавый пир», (1847) Т. Преста и Д. Раймера, «Кармилла» (1871-1872) Ш. Ле Фаню, «Дракула» (1897) Б. Стокера и др. Т.А. Михайлова и М.П. Одесский в работе «Граф Дракула. Опыт описания» отметили: «В стихотворении немецкого поэта [Бюргера] – как и в случае с поэмой Колриджа “Кристабель” – собственно вампир пока не фигурирует, но бюргеровский “обыкновенный” мертвец, вставший из гроба за бывшей невестой (обработка традиционного фольклорного сюжета), – предтеча вампиров» [187 с, 120]. Линия «Бюргер – Жуковский – и комплекс произведений русского романтизма (например, сон Татьяны в «Евгении Онегине», демонический граф Б*** в «Косморамe» князя Владимира Одоевского, ведьма Катруся в «Киевских ведьмах» О.М. Сомова и др.)» – одна из наиболее очевидных линий распространения в русской литературе первой половины XIX в. типичных вампирских мотивов – явление мертвеца, нечисть, влюблённая в

[53] См. параграфы 3.1, «”Нечестивое сборище” (шабаш) и собрание нигилистов-революционеров», 3.2, «Самоубийство Ольги Бровской, “заточение” Веры Чужаевой и кровавая расплата Константина Хвалынцева»

человека, похищение жизни, приглашение / призыв в свой дом нечисти / потустороннего и др.

Вампиров в России знали давно. Ещё в XVIII веке, когда Европу захлестнула «вампирофобия», связанная с приписыванием ряда болезней[54] воздействию на человека мистических «кровососов», заметки об этом быстро появлялись в русской периодике, например, в 1739 году в «Санкт-Петербургских ведомостях» («Исторические, генеалогические и географические примечания»). Слово «вампир» было внесено и в «Словарь разноязычный»[55] (1769) Н.Г. Курганова. [193, с. 656]. В XIX веке восприятию образа демонического кровопийцы поспособствовал перевод «Вампира» (1819) Дж. Полидори, выполненный П.В. Киреевским (перевод был опубликован в 1828 году, в типографии Селивановского), и байроновского «Фрагмента» (оригинального рассказа о вампире) – О.М. Сомовым (публичное чтение и подготовка этого текста к публикации происходили в 1821 году, но напечатать не удалось по цензурным соображениям) [105, с. 506]. С «Фрагментом» уже в 1819 году был знаком В.А. Жуковский [105, с. 505]. Что касается Сомова, то байроновский «Фрагмент» и «Вампир» Полидори в итоге послужили одним из источников для «Киевских ведьм» (1833), где тоже есть мотив вкушения живой крови, сокрытая демоническая сущность, внутренняя морально-нравственная борьба между демонизмом и человечностью (ведьма Катруся). И эта комбинация аналогична мотивам антинигилистической повести «Фатальная жертва» (1876) А.А. Дьякова[56].

Отметим, что проблематика вампиризма связана и с человеческим жертвоприношением, и с обрядом скрепления кровью. Например, у Сомова ведьма Катруся выпивает кровь своего мужа казака Фёдора Блиславки. Это

[54] Как правило наследственных и инфекционных. Например, порфириновая болезнь – появление ссадин на теле. В том числе из-за повышенной чувствительности к солнечному свету

[55] Раздел учебной книги «Письмовник» (или «Российская универсальная грамматика» 1769 г.) Н.Г. Курганова

[56] См. об этом статью «Повесть ”Фатальная жертва” А.А. Дьякова (А. Незлобина) и мотив ”нечестивого собрания”», а также параграф 3.1, «”Нечестивое сборище” (шабаш) и собрание нигилистов-революционеров»

происходит во время ведьмовского шабаша и оказывается приношением жертвы. А у Достоевского в «Бесах» убийство Шатова («поглощение» его жизни) происходит с целью связать кровью (преступлением) революционный кружок, «пятёрку». Пожалуй, с этим же смыслом происходит убийство старика Бодростина в романе «На ножах» Лескова; Глафира, Гордонов, Висленев понимают, что это преступление свяжет их навсегда (кому-то из них это выгодно, а кому-то нет). Аналогии можно найти и в других антинигилистических произведениях, но важно здесь то, что обряд скрепления кровью и человеческое жертвоприношение являются своего рода мрачной революционной традицией. И здесь нам вновь приходится обратиться к опыту французских якобинцев, так сильно повлиявших на русских нигилистов. Жорж Жак Дантон, глава юстиции Парижской коммуны, после «Сентябрьской резни» 1792 года заявил дивизионному генералу Луи-Филиппу[57], тоже члену якобинского клуба, следующее: «Именно по моему желанию вся молодёжь Парижа должна была прибыть на фронт покрытая кровью, которая бы гарантировала её преданность» [133, с. 181].

«Тёмная сторона». Оборотничество

Образы ведьмы, колдуна и, конечно, оборотня, связаны с дилеммой – способен ли человек противостоять злу внутри себя, своей «тёмной стороне»? Может ли он подавлять внутреннее «чудовище»? И много ли среди нас тех, кто скрывает свою подлинную натуру, смертельно опасную для окружающих?

В фольклоре «оборотничество» приписывается и вампиру / упырю [193, с. 656], вместе с тем «кровососами» становятся злые колдуны и ведьмы после смерти. В массовом сознании оборотень часто отождествляется с вервольфом, человеком-волком. В более широком понимании оборотень – нечисть, меняющая по своей воле собственное обличие. В литературе таинственного и ужасного –

[57] Король Франции после революции 1930 года, сын гильотинированного якобинцами революционера-либерала Филиппа Эгалите (бывшего герцога Орлеанского)

это Матильда из романа «Монах», колдун из «Страшной мести» Гоголя, ведьма Ланцюжиха из «Киевских ведьм» (кстати, оборачивается волком) и др. Мотив «оборотничества» широко распространён и в русском антинигилистическом романе. Но в перевоплощениях нигилистов «мистическое» заменяется «социально-политическим».

Яркий пример – Василий Свитка (Константин Калиновский) из «Кровавого пуфа». Этот персонаж, являясь тайным агентом «Ржонда»[58] (народного польского правительства, возглавившего восстание 1863-1864 гг.) прибегает к перевоплощениям постоянно. Мистификация, притворство и маскировка – основные методы вербовочной, пропагандистской и провокаторской работы. Помыслы же Свитки – война и будущие политические репрессии. Так под «личиной» революционера-освободителя скрывается настоящий террорист[59]. Даже «благородный нигилист» Ардальон Полояров из романа «Панургово стадо» в итоге оборачивается «чудовищем», похищающим младенца в ночи, такова внутренняя природа этого персонажа, он практик социального дарвинизма, он «жрёт человечину». «Оборачивается» и Трутнев (прототип которого – Бакунин) из «Фатальной жертвы» Дьякова, изображает из себя «мэтра», «философа», «мудрого вождя», но в действительности пытается наживиться на сводничестве: увести Бровскую от жениха и передать в руки «хлыщу», готовому за это «дельце» хорошо заплатить. Притворство является стилем жизни и Петра Верховенского из «Бесов»: выдаёт себя за представителя крупной революционной организации. В двух последних примерах «оборотничество» является синонимом «мошенничества», дела низкого, но именно это близко поведению той же Матильды из «Монаха», цель которой просто утопить Амбросио в грехах.

---

[58] К 1863 году у Польши был накоплен огромнейший опыт по части восстаний, а у российской армии – по части подавлений. Главной организующей силой нового «подъёма» был законспирированный «Центральный национальный комитет», в 1863-ем (после начала боевых действий) объявивший себя по примеру повстанцев 1830 года Национальным правительством, так называемый – «Жонд народовый» (у Крестовского – «ржонд»)

[59] Об этом в параграфе 3.1, «”Оборотничество” и агитационно-пропагандистская работа»

На примере «оборотничества» хорошо видно, что место нигилиста в системе персонажей антинигилистического произведения аналогично месту готического злодея. Это положение антагониста в группе «имморалист-преступник – персонаж, приникающий в его тайны – жертва преступника». Такова основа драматического действия обоих жанров[60]. Система «злодей – жертва» в связи со всеми признаками литературы тайн и ужасов повлекла и воспроизведение в антинигилистической прозе трёх основных моделей готического имморалиста – трагический властитель, ведомый грешник и проклятый скиталец, но об этом далее по тексту. Добавим лишь то, что внутренне противоречивый и опять же «синкретичный» комплекс «титанизм (перекраивание мира и богоборчество), вампиризм (поглощение жизни), романтический бунтарский индивидуализм, преступность (в уголовном смысле), оборотничество (тёмная сторона / скрытые намерения)» – практически неизменен и формирует характер большинства антагонистов антинигилистической прозы.

2.2. Эсхатологическая символика и «демонизация»

В антинигилистической прозе нигилист – это «актор» разрушения мира, главный субъект действия, по сути – «социальный демон». В «Мифологическом словаре» (1990) сказано: «Демон направляет человека на путь, ведущий к каким-либо событиям, часто катастрофическим» [172, с. 182]. Ср. с «Бесами» Достоевского: «мы сделаем смуту [говорит Верховенский] <…> Вы не верите, что мы сделаем смуту? Мы сделаем такую смуту, что всё поедет с основ» [1, с. 322]. Отсюда и эсхатологическая символика – наполнение художественного

[60] Подробно об этом в параграфе 3.2. «”Готическая” сюжетная схема и её ”антинигилистическая” реализация»

пространства антинигилистических произведений знаками приближающегося конца света – революции. Аналогично и в готике, но в религиозном ключе, а не социально-политическом. Христианское мировоззрение в литературе тайн и ужасов доминирует. А преступник-имморалист, в котором персонифицирована «злая сила», каждым своим поступком, нарушающим табу, свидетельствует о грядущей глобальной катастрофе. Мир, поражённый грехом, рухнет[61]. Такова идея готики. И она близка идее антинигилистического романа. «Эсхатологическое» и «демоническое» в обоих жанрах схоже.

«Пророчества»

Предчувствие революции в антинигилистической прозе схоже с тем, чего, по мнению Вальтера Скотта, добивался Уолпол в «Замке Отранто» (1764) – реконструкции мистического ощущения средневекового человека, когда всё вокруг наполнено тайным смыслом, и за всем этим стоят силы, недоступные человеческому пониманию [215, с. 236-237]. М. Саммерс даже утверждал в 1923 году, что «Замку Отранто» мы в принципе обязаны тем, что произведения о привидениях, сверхъестественном и оккультном – наиболее распространены в мире и любимы публикой. «Замок Отранто» был ничем иным, как революцией в общественном вкусе [248, с. 179]. Вереница трагических событий романа Уолпола – лишь воспроизведение страшного пророчества о неминуемой гибели дома Манфреда, и прозвучавшего давно. Пророчества звучат и на страницах антинигилистических текстов, приоткрывая завесу таинственного, пугающего будущего, событиям которого ещё только предстоит получить исторический ход. Лесков завершает роман «На ножах» следующими словами: «Нелегко разобрать, куда мы подвигаемся, идучи этак на ножах, которыми кому-то все путное в клочья хочется порезать; но одно только покуда во всем этом ясно: все это пролог чего-то большого, что неотразимо должно наступить» [4, с. 794]. Подобно и у

[61] Поэтому одним из ключевых мотивов готической прозы является крушение / опустение дома. См., например, «Замок Отранто» Уолпола. О мотивах подробно в Главе 8 «Комбинации мотивов «таинственного и ужасного» и социально-политический контекст»

Крестовского в конце «Двух силах»: «Что-то будет? Что-то выйдет?.. Но... вернуться уже нельзя, невозможно <…> попытается [Польша, восставшая в 1863-1864 гг. – прим. А.Е.] вновь разразиться еще одним кровавым пуфом? Как знать! – Это покажет будущее, которое, быть может, наступит и гораздо ранее, чем можно, по-видимому, ожидать его» [3, с. 577]. А в «Панурговом стаде» в главе с профетическим названием «На кануне чего-то нового» описаны ощущения петербуржцев, переживших страшные пожары: «На всё общество, как тихая, непросветная туча, наплыла тяжелая паника: иные ждали каких-то новых бедствий, иные новых арестов... Разговоры стали тише, таинственнее» [3, с. 283]. Также и у Лагарпа в готическом «Прочестве Казота» (1806) профетизм был связан исключительно с темой ужасов революции: «то будет владычество разума. И люди, которые поступят с вами так [казнят], будут философы, и они будут произносить те самые слова, которые произносите вы здесь вот уже добрый час» [297, с. 244].

У Лагарпа это было торжество иррационализма: предчувствия, интуиции, необъяснимого мистического страха. Казот, противопоставлявший себя веку Просвещения, увидел, к чему приведёт господство холодного объективного разума – к террору, прагматичному истреблению лишних людей. Аналогично и у писателей-антинигилистов, составивших в 1860-1870 гг. оппозицию воинствующим материалистам. Падение культа «рационального» предсказывал[62] и Уолпол: «Я написал книгу не для нашего времени, которое не терпит ничего, выходящего за пределы холодного здравого смысла <…> Я сочинил свою повесть наперекор всем правилам, критикам и философам» [215, с. 235]. «Готический», «средневековый», «антирациональный» «Замок Отранто» был вызовом просветительской литературе. Уолпол предвкушал эпоху романтизма, когда возможности фантазии – «вымышленное»,

[62] Предсказания в принципе были важной частью готики и зачастую касались не только мирового, общественного будущего, но и, совершенно неожиданно, будущего самих авторов. Например, давно подмечено, что обстоятельства смерти Мэтью Льюиса были такими же, как и у дона Гонсальво в романе «Монах». Льюис умер от тропической лихорадки, возвращаясь с Ямайки. От того же недуга умер Гонсальво на Кубе [214, с. 14]

«сверхъестественное» – стали доминировать над «реальным», и «представимое» показалось осуществимым, породив романтика-бунтаря, стремящегося изменить мир (об этом мы рассказали в параграфе выше), испытание возможностей фантазии стало основным творческим методом.

Миры готики и антинигилистической прозы поражены грехом, они заживо гниют. Зло в них доминирует. И в обоих жанрах по сути описывается сам процесс движения к глобальной катастрофе. Но в литературе тайн и ужасов речь идёт о человеческом бытие вообще, а у русских антинигилистов «конец света» локализирован в границах России. Ожидается пламя революции, после которого русский мир прекратит своё существование. Итог этих произведений чаще всего мрачен, как и в готике. И в этом смысле их картины мира расходятся с «Апокалипсисом», итог которого позитивен. Катастрофические события библии заканчиваются «идеальным городом», Новым Иерусалимом, где праведники, имена которых записаны в Книгу жизни, пребывают в единении с Богом [254, с. 168]. В готике же и в антинигилистической прозе «силы тьмы» обычно торжествуют, многие преступники-имморалисты остаются ненаказанными. По крайней мере, читатель может лишь размышлять, настигнет злодея возмездие или нет, или это уже в какой-то степени произошло.

Например, в «Бесах» Пётр Верховенский просто покидает город (при этом, в хорошем настроении, и совершенно не понятно, постигнет его судьба Нечаева или нет…), а Полояров в «Кровавом пуфе» перебирается жить в Польшу, и он полон надежд построить в «западном крае» карьеру чиновника. Вместе с тем экс-гимназист Шишкин, отрёкшийся от революции, переосмысливший свою жизнь и вернувшийся домой к старой матери, оказывается под следствием, а в итоге и на каторге. То есть, условно «положительный» персонаж («перевоспитавшийся») гибнет, а антагонист Полояров, убийца Нюты Лубянской, начинает новую жизнь. Вряд ли можно считать соразмерным наказанием за убийство мужа «плен» Глафиры Бодростиной в романе «На ножах», оказавшейся в замужестве у «чухонца» Ропшина, знавшего все её страшные тайны и шантажировавшего её. В конце концов не известно, не

возьмёт ли героиня Лескова верх и над новым супругом. А в «Тайнах современного Петербурга» князь Мещерский выразил поразительную мысль о совершеннейшем хладнокровии нигилистов, порождённом не силой духа, а их непроходимой глупостью… Ср. «Они вероятно все трое вместе убили эту мать, и она [Паша, дочка-убийца] не подозревает даже этого» [5, с. 114] – подумал Степан Боб[63]. Пессимизмом наполнены и финалы большинства готических произведений. В «Монахе» Льюиса Сатана остаётся победителем в борьбе за душу Амбросио. В «Вие» Гоголя и вовсе не ясны причины страданий Хомы Брута и его гибели. В «Киевских ведьмах» Сомова зловещая старуха Ланцюжиха продолжает существовать в образе волка и ничто не указывает на то, что она не вернётся на опустевшую Лысую гору. И даже в «Острове Борнгольме», в котором так силён сентиментализм со всем присущим ему человеколюбием, Лила остаётся в плену у своего жестокосердного отца, и впереди у неё только гибель.

Но отметим, что «Бесы» Достоевского, пожалуй, близки к позитивному итогу, описанному в «Апокалипсисе». Несмотря на открытый финал и неопределённость судьбы Верховенского и многих других персонажей, общая, магистральная, идея «Бесов» довольно оптимистична. На это, в первую очередь, указывает эпиграф к роману, в особенности одна из его строк – «Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло» (Евангелие от Луки). То есть, «бесы» – весь комплекс присущих нигилизму идей – вселяются в «свиней», в худших представителей России, и вместе с ними разобьются и потонут (этот же смысл и в названии романа Крестовского «Панургово стадо»), а Россия исцелится и останется с Христом. Этот смыл был

[63] Мироощущение Мещерского всегда оставалось мрачным, он жил в ожидании исторической катастрофы, представлявшейся ему как нечто совершенно ужасающее. В 1904 году, предостерегая Николая II от войны с Японией, «дальневосточной авантюры», Мещерский предрёк: «Россия, зажжённая всеми внутренними вопросами, Вами разом поднятыми – и конституции, и европейского населения, и аграрными беспорядками, и расходившейся печатью, и рабочим движением, и стачками, при полном бессилии власти, может погибнуть от страшнейшего революционного урагана, который всё снесёт, начиная с помещичьих усадеб и кончая Престолом» [306, с. 281]

особенно дорог для Достоевского, поэтому он даже включил его толкование в предсмертные речи Степана Трофимовича: «Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней, – это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века!» [1, с. 499].

Именно в рамках христианской парадигмы – космологической и эсхатологической – писатели-антинигилисты пытались осмыслить события мрачных 1860-1870-ых гг. Но религиозная символика была не чужда и революционерам, считавшим себя атеистами, но оказавшимися неспособными преодолеть христианское мышление. Прототеррористическая организация Николая Ишутина (1840-1879) получила название «Ад»[64] (примерно 1865-1866 гг.).

Литература революционеров тоже наполнена эсхатологическими предчувствиями, но там это не со знаком «минус», как в антинигилистической прозе, а чаще со знаком «плюс»[65]. Взять хотя бы передовую статью первого номера «Земли и воли» (1878), написанную террористом С.М. Степняком-Кравчинским. Представленный им образ могучей силы, чудовища – подобного апокалиптическом дракону, левиафану и самому аду, рвущемуся на поверхность земли – напоминает призрака-великана «Замка Отранто» Уолпола и мертвеца-гиганта из «Страшной мести» Гоголя: «Грозно поднимается отовсюду могучая

[64] Она существовала во многом лишь на уровне плана и не стала по-настоящему боевой, как, например, будущие террористические группы «Народной воли» или Партии социалистов-революционеров. Целью «Ада» была охота на чиновников и убийство Императора. Именно «ишутинцем» был Дмитрий Каракозов (он же и двоюродный брат создателя «Ада»), неудачно выстреливший 4 апреля 1866 года в Александра II. В эти годы русскими революционерами овладела якобинская идея-фикс – «убить короля». Это стало одной из тем антинигилистической литературы. В частности, неоконченный роман «Бездна» (1883) Б.М. Маркевича завершается эпизодом покушения на Александра II уже Соловьёвым в 1879 году

[65] «Утопичность» – в принципе характерная черта русского революционного движения и его литературы. Взять хотя бы прокламацию 1881-го года «От рабочих членов партии Народной воли по поводу убийства Александра II» (народовольцы его и взорвали), которая завершается следующими словами: «Все эти наши братья социалисты [погибшие революционеры] – из крестьян и мещан – не убоялись никакой муки, ни каторги, ни самой смерти, стоя за правду. Так и все должны делать, и *тогда всё пойдёт хорошо, и не будет на русской земле ни нищеты, ни слёзного горя*» [259, Ч.1, с. 180]

подземная сила <…> как мечутся они [наши враги], обезумевшие от ужаса, не зная, что предпринять, чем спастись от таинственной, неуловимой, непобедимой силы, против которой бессильны все человеческие силы <…> “Чудовище”, жившее до сих пор где-то под землёю, занимаясь подкапыванием разных “основ”, вдруг время от времени начинает высовывать одну из своих лап, чтобы придушить то ту, то другую гадину, которая слишком надоест ему [здесь речь о террористических актах – прим. А.Е.]. И при каждом своём появлении на свет, “чудовище” обнаруживает всю большую и большую дерзость и беспощадность в исполнении своих кровавых замыслов» [102, с. 54; 256, с. 122]. Те же мотивы у Н.К. Михайловского (его называют теоретиком «террористического народничества») в «Утопии Ренана и теории автономии личности Дюринга» (1878) и тоже в связи с утверждением права революционера/ террориста (или же «реакционера») прибегать к отмщению: «частная месть, которая в первобытные времена имела громадное значение, а среди цивилизации не должна бы иметь никакого, поднимается точно из-под земли, как призрак, напоминающий, что есть сила, более глубоко заложенная, чем произвольные ограничения так называемого права» [308, стлб. 241].

Примечательно, что писатели русской антинигилистической прозы во многом были одиноки в своём пессимизме относительно будущего России. Представители консервативной мысли и печати в большинстве своём не верили в возможность революции, они были уверены, что русский народ крепче пропаганды и в своей общей массе никогда не поддастся на уловки революционеров. «Напрасны опасения. Ничего подобного у нас нет и быть не может!» [232, с. 43] – писал К.В. Трубников в своей работе «Источники смуты и опоры крамолы» (1880). Но 1917 год всё-таки наступил, и последствия его были катастрофичны. Россия утратила даже собственное имя. И здесь уместно процитировать одного из профессоров богословия Казанского университета, имя которого Трубников в своём труде по каким-то причинам не назвал, но слова этого богослова оказались пророческими: «На наших глазах, в наказание за то тупое равнодушие, с каким мы смотрели на распространение бессмысленного

учения [нигилистического, революционного, социалистического – прим. А.Е.], образовалось жалкое скопище людей, наводящих на всех ужас своими злодействами, угрожающих повергнуть общество в неизбежное бедствие <…> Гнусные посягательства на жизнь Государя, венчающие собою длинный ряд других преступлений и злодейств, громко вопиют о неотложной необходимости противодействия усиливавшемуся злу. Не ждать же Русскому народу, сложа руки, повторения у себя французского террора конца прошлого века, или кровавых дней коммуны 1871 года» [232, с. 7].

Поэтика смерти

Антинигилистическая проза и готика наполнены знаками смерти. И «смерть» – это рамка общей конструкции эсхатологической темы. Туда входит и «умирание» (как процесс) мира / человека, предчувствие смерти – индивидуальной и всемирной, апокалиптические мотивы, общая атмосфера увядания бытия, ощущение долгого вечера или даже осени жизни. В готической прозе это выражается как на уровне психологических реакций-состояний персонажей: уныние, апатия, а чаще – отчаяние и, конечно, меланхолия (пусть даже «сладкая», как в готико-сентиментальной прозе; например, «Сиерра-Морена» Н.М. Карамзина); так и на уровне пейзажей: кладбища, покинутые или малонаселённые селения, заброшенные дома, старые замки, пугающие неистовством стихии или умиротворяющие (до состояния безразличия и желания слиться с бытием через смерть) виды покидаемой жизнью природы – серой, холодной, безлюдной, но чарующей своей таинственностью. Ср. убогое рыбацкое поселение, буйство моря, устрашающая крутость скал и старый замок на острове Борнгольме в повести Карамзина; пустыри вокруг хутора, мрачный облик старой церкви в «Вие» Гоголя; опустевшая Лысая гора в «Киевских ведьмах»; залы, коридоры, подземелья монастырей и склепы в романе «Монах»; затерянный в горах старый, осыпающиеся замок синьора Монтони в «Удольфских тайнах» и др.

Ощущение приближающейся смерти бытия (пусть даже и локализированной в границах России) прочитывается и в героях, обстановке их жилищ и пейзажах произведений антинигилистической прозы. Например, в «обиталищах» польско-литовских заговорщиков в романе «Две силы». Крестовский удачно дополнил похоронной, кладбищенской атрибутикой типичный (прежде всего для готики) мотив уединённое места: «Стены этой комнаты были выкрашены черной клеевой краской, потолок и пол тоже, а карнизы, углы и ободки вокруг двери и окна обведены белыми каёмками. Все это поражало глаз чем-то траурным, погребальным, и это мрачное впечатление усиливалось еще тем, что по стенам кое-где были намалеваны белой краской Адамовы головы со скрещенными костями <…> Две-три гравюры изображали сцены из испанской инквизиции: на одной сжигание на костре, на другой пытка на дыбе, на третьей что-то еще более скверное. Словом, ничто в этой странной комнате не напоминало офицера: вся обстановка ее, приличная более суровой келии изувера-аскета, служила явным обличением мономании ее обитателя» [3, с. 461] – даётся описание варшавского жилища заговорщика Паляницы (А.А. Потебни), руководителя польского отделения «Земли и воли». Ср. с описанием склепа, в котором замуровали заживо Агнесу де Медина в романе «Монах» Льюиса: «Со свода на ржавой цепи свисала погребальная лампада, бросая вокруг смутный свет. Отовсюду на меня смотрели эмблемы Смерти – черепа, берцовые кости, лопатки и другие останки смертных тел валялись на покрытом сыростью полу. Каждая гробница осенялась большим распятием» [47, с. 213].

В повести «Фатальная жертва» Дьякова жилище Трутнева (прототип – Бакунин) описано как нечто среднее между склепом, помойкой и капищем. Автор так и называет этот место – «идольское капище» – «грязно, мрачно и пахуче» [8, с. 92]. «С потолка болтался лоскут красного» – знамя рабочих-социалистов, павших на баррикадах Парижской коммуны в 1871 году. Эта тряпица «омыта кровью» и служит постоянным напоминанием Трутневу об ожесточённых схватках с «версальцами» (войсками нового правительства) и бесчисленных смертях. Пустынностью, ветхостью, болезненностью наполнены

и описания литовских земель в «Двух силах». Сама природа находятся в упадке: «Пески, болота, тощие речонки, тощие пашни на глинистом или песчаном грунте, сосновые леса и тоже большей частью на песке; <…> убогонькие и словно пришибленные к земле серые деревнюшки; <…> нищие при дорогах; <…> кое-где на выгонах убогая скотинка» [3, с. 297]. И снова атмосфера кладбища: «высокие кресты на плешинах песчаных пригорков, обозначающие убогие, не обнесенные оградами кладбища; такие же высокие кресты, там и сям разбросанные по полям, вблизи и вдали, на сколько хватит око, целые группы крестов при деревенских околицах; <…> голь, нищета, какой-то гнет, какая-то бесконечно унылая, беспросветная пришибленность, забитость, скудость во всем и повсюду» [3, с. 297].

Образ пламени и мотив пожара в антинигилистической прозе (и в готике) связан уже с книгой «Апокалипсиса» и хрестоматийными образами ада. «Адское пламя» описывается и в сценах майского петербургского пожара 1862 года в романах «Панургово стадо», «Взбаламученное море» Писемского. Огненная стихия бесчинствует и «Бесах» Достоевского, полыхает Заречье. А в повести «В народ!» Дьякова революционеры устраивают пожар в деревне, где конспиративно квартировали и вели пропаганду. В романе же «На ножах» Лескова пламя становится частью сектантского обряда вызова «живого огня»; то есть, огонь получает персонификацию, он уже не стихия, он «языческое божество / дух», а в христианской интерпретации – «демон».

«Апокалипсис» (Откровение Иоанна Богослова) – один из базовых источников всей европейской культуры. Реминисценциями из него, мотивами, смыслами наполнены десятки влиятельнейших художественных тестов, включая «Божественную комедию» Данте, «Потерянный рай» Мильтона, так сильно повлиявших на готическую прозу, будь то разработка демонической темы и образа Сатаны или рецепция и трактовка мотивов страшной тайны, возмездия, сложности пространственной организации места действия, уединённости, изолированности и т.п. Но русские антинигилистические произведения связаны с «Апокалипсисом» не только через сложный трансвековой литературный

генезис, но и содержат прямые отсылки к тексту «Откровения…», что значительно усилило влияние эсхатологической темы. Наиболее ярко это представлено в романе «Бесы». Один из примеров – сравнение Николая Ставрогина с Лаодикийской церковью в речах отца Тихона. Ставрогин пустой, равнодушный ко всему на свете, и это гораздо хуже атеизма: «Совершенный атеист стоит на предпоследней верхней ступени до совершеннейшей веры (там перешагнет ли ее, нет ли), а равнодушный никакой веры не имеет» [2, с. 10]. Достоевский ставит знак равенства между нигилистами и «пустыми сосудами». В Откровении говорится о власти людей праведных над язычниками, которых будут пасти «жезлом железным»: «как сосуды глиняные, они сокрушатся». Образ Ставрогина вполне совпадает со сказанным в писании: «…знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч», «…извергну тебя из уст Моих [следует понимать – «изгоню из Книги жизни» – А.Е]. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» [254, с. 277]. Есть «апокалиптические метафоры» и в романе «На ножах». Гогой и Магогой «нашего комического времени» Лесков называет Висленева и Горданова [4, с. 226]. В «Апокалипсисе» Гог и Магог – имена воинственных народов, которые будут отправлены Сатаной (после его заключения длинной в тысячу лет) на праведников, на «стан святых и город возлюбленный» [254, с. 290].

«Демоническое»

В произведениях антинигилистической прозы и готики война между «грешниками» и «праведниками» уже идёт. На этом уровне отражается космологическое противостояние Бога и Сатаны. «Праведники» – отец Евангел и Катерина Форова (жена старого нигилиста майора Форова) в романе «На ножах», отец Измаил (образ самоотверженного и очень бедного заштатного русского священника) из романа «Тайны современного Петербурга», отец Тихон (святой отшельник) из романа «Бесы», майор Пётр Лубянский из дилогии

«Кровавый Пуф» и др. – противостоят носителям нигилистического отрицания и нигилистической же ненависти – Ставрогину, Петру Верховенскому, Ардальону Полояров, Горданову и Висленеву, Трутневу («Фатальная жертва») и др. Безусловно, это придаёт характерологии определённый «схематизм», «шаблонность», и как раз за это антинигилистическую прозу критиковали [234; 217; 99]. Но «простота» противопоставления антагонистов и протагонистов в данном случае является следованием христианскому канону борьбы между «миром тьмы» и «миром света», «градом земным» и «градом небесным». В готике это особенно ярко проиллюстрировано в романе Льюиса «Монах», где христианская благодать сталкивается с сатанинскими соблазнами, с демонами, персонифицированными в конкретных персонажах.

Социальным же «демонам» антинигилистической литературы – личностям из сфер студенчества, разночинной интеллигенции, чиновничества (преимущественно мелкого), а также духовенства, например – священник-атеист отец Валентинский из «Тайн современного Петербурга» – присущи вполне традиционные демонические черты. Если в христианской трактовке, «демон» отождествляется с «бесом» и рассматривается как «подручный Сатаны» [90, с. 94 – 95] и апокалиптический «ангел Сатаны» [254, с. 14], то «нигилист» является «посланником» и «служителем» Революции (своего рода языческого божества, подобного беспощадной французской Республике, о чём мы уже рассказывали в разделах выше).

Сравним обоих:

В христианстве и фольклоре демоны мыслятся как враги человеческого рода, противники святой троицы и ангелов, а кроме этого – ненавистники брака [90, с. 94], стремящиеся всячески его разрушить. Это соответствует отрицанию нигилистами брака как социального института. Демонам приписывается и возможность проникновения в ход человеческих мыслей и вкладывания в ум внушений [90, с. 94], а кроме этого – частая смена лиц, маскировка / переодевания, что близко «оборотничеству». Это вполне соответствует пропагандисткой деятельности революционеров. В контексте же «Апокалипса»

нигилисту-революционеру (по своим функциям) соответствует Лжепророк. Он третий в «сатанинской троице» после Дракона и Зверя. Его задача ораторская и сценическая, он обольщает народы, являет лживые знамения и чудеса, чтобы люди поклонились Зверю: «…заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю», «творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми», «он обольщает живущих на земле, говоря, чтобы они сделали образ Зверя» [254, с. 285]. Лжепророк, Дракон и Зверь «из уст» выпускают подобных жабам нечистых духов, «<…> это – бесовские духи, творящие знамения» [254, с. 287], они собирают царей и народы на брань против Бога. Ассоциирование нечистоты, грязи с силами зла, тьмой, сатанинским – типично для религиозно-мифологической картины мира. И в образах нигилистов мы видим нарочитую небрежность, «антиэстетизм», связанный с «антиаристократизмом». В них же доминируют тёмные цвета в одежде, есть животные черты. Ср. «Свитка слегка показывает свою настоящую шкуру и когти» [3, с. 418]. Ардальон Полояров описан следующим образом: «<…> в нарочно смятой шляпе, из-под которой в беспорядке падали ему на плечи длинные, густые, курчавые и вдобавок нечесаные волосы. Клинообразная, темно-русая борода <…> широкие триковые панталоны, покроем à la zouave [галифе (фр.)], небрежно засунуты в голенища смазных сапог; в руке его красовалась толстая суковатая дубинка» [3, с. 23]. «Демоническое» присутствуют и в образе Глафиры Бодростиной из романа Лескова «На ножах»: рожки, наставляемые Горданову, хлыст, дьявольский смех, неистовство в поведении. А первое появление Петра Верховенского из «Бесов» сопровождается звуком, ассоциирующимся с топотом копыт: «Раздались скорые приближающиеся шаги, маленькие шаги, чрезвычайно частые; кто-то как будто катился» [1, с. 143].

Реальные же, а не литературные, нигилисты зачастую и не нуждались в какой бы то ни было искусственной «демонизации». То, что они писали в своих агитационных материалах о самих себе же и так было ужасающим и обещало катастрофу всем и вся. Например, Нечаев в статье «Начала революции»

рассуждал: «не признавая другой какой-либо деятельности, кроме дела истребления, мы соглашаемся, что формы, в которых должна проявляться эта деятельность, могут быть чрезвычайно разнообразны. Яд, нож, петля и т.п.!... <…> Вопли страха и раскаяния раздадутся в обществе, тряпичные литераторы будут испускать лирические стоны. Обращать ли на это внимание?... Нет… Мы должны оставаться глубоко равнодушными ко всем этим завываниям и не входить ни в какие компромиссы с обречёнными на гибель. Это назовут терроризмом!... [профетически предрекает Нечаев и оказывается прав, акты террора захлестнули Российскую империю на её закате и продолжались после – прим. А.Е.]» [314, с. 43].

Добавим, что в ключе фольклорных представлений о «демоническом» образы нигилистов достаточно подробно проанализировала Н.Н. Старыгина (но о влиянии готической литературы она не говорила). Исследователь привела следующие 8 демонических признаков в образах персонажей-нигилистов из антинигилистического романа: 1) небрежность внешнего облика, неопрятность, грязь (отметим, что это соотносится с вопросом о «варварстве» и об «идеале первобытного человека» во внешнем облике и мировоззрении нигилиста). Старыгина указывает, что эти черты – типичные эпитеты, характеризующие чёрта / беса «“косматый”, “неумытник”, “нечистый”, “неумытый”». [219, с. 207]. 2) Символика цвета: тёмный, синий, чёрный (в частности, «синец» – это чёрт). 3) Сравнения с дикими и хозяйственными животными – свинья, звериное логово, моська и т.д. 4) Как правило, столкновение с нигилистом воспринимаются как нечто недоброе, мистически злое, предвещающее беды. 5) Атеизм и безбожие. 6) лицемерие, постоянное стремление обмануть, лукавство (отметим, что «лукавый» – одно из прозвищ Дьявола); 7) Сумасшествие, своего рода экзальтированность; 8) Одержимость. Как правило, злым духом (на наш взгляд, во многом пересекается с сумасшествием). В частности, Старыгина, анализируя в работе «Русский роман в ситуации философско-религиозной полемики 1860-1870 годов» информационный фон вокруг проблематики нигилизма, указывает на следующее: «существенным приёмом выражения оценки ”прогрессиста”

становится в еженедельнике [журнал «Домашняя беседа» В.И. Аскочинского] использование христианской символики: мотивов бесовства и безумия, образов бездны, пророка, зверя, противопоставление тьмы и света» [222, с 67]. Отметим, что большинство демонических признаков, подмеченных Старыгиной в нигилистах, соответствуют и типичным моделям готического «имморалиста-преступника», а именно – трагическому властителю, ведомому грешнику, проклятому скитальцу, повлиявшим на формирование антагонистов антинигилистической прозы[66].

«Сатанизм» и «сектантство»

Современники нигилизма связывали его распространение с ослабеванием христианской веры и, в том числе, пропагандой агрессивного атеизма в прессе. К.В. Трубников писал: «В периодической печати вырабатывается и получает могущественную силу направление нигилистического реализма, не имеющее уже ни художественного, ни нравственного, ни религиозного, ни политического идеалов. Отрицание всего ради отрицания внесло только раздражение в борьбу, а погоня за последним словом науки представила в результате полный упадок религиозных идей в культурном слое и исчезновение идеализма в науке и искусстве. Это прискорбное положение нашей прессы породило у нас всякого рода демагогов, радикалов, атеистов и террористов» [232, с. 21]. «Эсхатологическое» и «демоническое» в готике и антинигилистической прозе связано с «богоборчеством» (т.е. «титанизмом», который мы обсудили в разделе выше). Но в обоих жанрах оно усугублено и до открытого служения «тьме» – до культивирования греха, преступности, как и в ключе религиозной, традиционной морали (табу), так и в уголовном смысле. И мы сталкиваемся с «перевёрнутой церковью»[67] [131, с. 120], с миром вне Бога, вне Христа. С точки зрения

[66] Подробно об этом в параграфе 2.4 «Персонажи готики в антинигилистических произведениях»

[67] Когда папа Иннокентий VIII с полной серьёзностью издал в 1484 буллу «Summis desiderantes affectibus» («Всеми силами души», лат.), объявившую ересью отрицание существования ведьм, католическая церковь

христианской церкви – это «мир ереси», территория поклонения Сатане. Неудивительно, что Дьяков в «Фатальной жертве» провёл параллель между кружком нигилистов-революционеров и ведьмовским шабашем[68].

«Сатанизм» – это не просто отпадение от церкви, переход на сторону сил тьмы, а, прежде всего, совершение действий, оскорбляющих христианство. Это «уродование» религиозной атрибутики, искажение обрядов, замена «светлого», «чистого» и т.д. на «тёмное», «грязное». По сути – подмена красоты уродством. А также разрушение «образа божьего» в человеке. И «осквернение» здесь – доминирующий мотив. В готике это повсеместно. Амбросио в романе «Монах» предаётся похоти в стенах святой обители. В том же произведении – мёртвый младенец, кишащий червям, на руках матери (монахини), заживо замурованной в подземном склепе. Таким образом, предстаёт «изуродованный» образ Девы Марии с младенцем Христом. В романе Гнедича «Дон Коррадо…» испанский военачальник творит бесчеловечные преступления и руководит им католическая церковь, инквизиция отошедшие (в трактовке автора) от Бога. В повестях «Страшная месть» Гоголя, «Киевские ведьмы» Сомова, «Лафертовская маковица» Антония Погорельского и др. шабаши и колдовские обряды становятся «чёрной альтернативой» церковным службам. Ср. в «Лафертовской маковице»: «Старуха подвинула стол на средину комнаты, <…> вынула большую темно-алую свечку, зажгла ее и прикрепила к столу, а лампаду потушила. <…> Старуха начала ходить кругом стола и протяжным напевом произносила непонятные слова; перед нею плавно выступал черный кот с сверкающими глазами и с поднятым вверх хвостом. <…> Трижды три раза старуха обошла вокруг стола, продолжая таинственный напев свой, сопровождаемый мурлыканьем кота. Вдруг она остановилась и замолчала...» [64, с. 14-15]. В «Страшной мести»: «Колдун стал прохаживаться вокруг стола, знаки стали быстрее переменяться на стене, а нетопыри залетали сильнее вниз и вверх,

---

фактически признала существование на земле церкви Сатаны, «перевёрнутой церкви», антипода христианства, тоже ведущего борьбу за человеческие души

[68] Об этом в параграфе 3.1, «“Нечестивое сборище” (шабаш) и собрание нигилистов-революционеров»

взад и вперед. <…> Казалось, с тихим звоном разливался чудный свет по всем углам, и вдруг пропал, и стала тьма» [22, с. 257]. Подобие амвона и алтаря мы видим на Лысой горе в «Киевских ведьмах»: «Посреди площадки стояли подмостки о семи ступенях, покрытые черным сукном. На них сидел пребольшой медведь с двойною обезьяньею мордой, козлиными рогами, змеиным хвостом, ежовою щетиной по всему телу, с руками остова и кошачьими когтями на пальцах. Вокруг него, поодаль от площадки кипел целый базар ведьм, колдунов, упырей, оборотней, леших, водяных, домовых и всяких чуд невиданных и неслыханных» [74, с. 83]. Описание «пребольшого медведя», идола, напоминает Бафомета, одного из древнейших – ещё средневековых – символов «сатанизма».

В антинигилистической прозе мы встречаем аналогичные вещи. Но интерпретированные в социально-политическом ключе. У Достоевского в Бесах именно безбожие / атеизм – основа «вседозволенности». И этот порок оказался связан с сатанистским осквернением христианских святынь. Вспомнить хотя бы «мерзкие фотографии» (порнографического содержания), подсунутые книгоноше в мешок с «Евангелиями»: «Когда бедная женщина стала вынимать святые книги у нас в Гостином ряду, то посыпались и фотографии. Поднялся смех, ропот; толпа стеснилась, стали ругаться, дошло бы и до побоев, если бы не подоспела полиция» [1, с. 251]. Распространительница священных книг была выставлена торговкой порнографией. То есть, образ верующей женщины, несущей «Благую весть», «слово Божие», оказался перевёрнут. Демонстративен и эпизод с мышью, пущенной Верховенским в икону Богородицы, обобранную уголовником Федькой: «Кроме кражи совершено было бессмысленное, глумительное кощунство: за разбитым стеклом иконы нашли, говорят, утром живую мышь» [1, с. 253]. Но даже убийца и вор Федька ставит в вину нигилисту Верховенскому это «глумительное кощунство»: «А ты пустил мышь, значит, надругался над самим божиим перстом» [1, с. 428]. Образ мыши, как и образ крысы принято ассоциировать с «заразой», «чумой», «нечистотой», что снова отсылает нас к «демоническим знакам». Но в случае с романом «Бесы» мышь на иконе – это дискредитация христианства, демонстрация, что нет в иконе никакой

сверхъестественной божественной силы, и обыкновенное животное воспринимает икону как обыкновенную доску. В своём романе Достоевский изобразил и «материалистическую мессу» («чёрную мессу» в травестийном изображении): распропагандированный подпоручик выбросил «из квартиры своей два хозяйские образа и один из них изрубил топором» [1, с. 269]. Но самое главное – он расставил «на подставках, в виде трех налоев, сочинения Фохта, Молешотта и Бюхнера и перед каждым налоем зажигал восковые церковные свечки» [1, с. 209]. Важно, что действия подпоручика сопряжены с безумием, типичным мотивом, сопровождающим готических «ведомых грешников» (например, обезумевший Петрусь из повести «Вечер накануне Ивана Купалы» Гоголя). Но главным «сатанистским действием» в «Бесах» (Глава «У Тихона»), безусловно, является осквернение / совращение ребёнка (девочки-подростка Матрёши). В христианстве ребёнок – символ чистоты (и это представление связано с образом младенца-Христа).

Искажение христианства есть и в «Двух силах» Крестовского. Например, окутанные тайной «кинжальщики» (рука возмездия «Ржонда народового») скрывающиеся в древних катакомбах, где «ксендзы и монахи приводят их к присяге на верность Ржонду, снабжают оружием и благословляют особо избранных на тайные убийства» [3, с.470]. Это ещё один пример «перевёрнутой церкви». С жестоких убийств началось в романе (как и в действительности [159, с. 249]) Польское восстание: вооружённые группировки вламывались в дома к расквартированным русским солдатам. Крестовский изображает это как кощунственные акты садистского издевательства над живой плотью: «убивали их сонных [солдат], в постели. С некоторыми же из захваченных в плен поступали варварски: выкалывали глаза, вырезали языки, обрубали уши» [3, с. 500-501]. А в посёлке Сток, заперевшихся в доме солдат Костромского полка просто сожгли живьём[69]. И история подтверждает, что подобные варварские

[69] В ночь 10 на 11 января 1863 г. вооружённые отряды повстанцев набросились на объекты русской армии и устроили резню. Убивали солдат спящими, уродовали тела, сжигали избы с расквартированными военными. Нападения происходили по всей Польше. Сообщившая об этом столичная печать заставила умолкнуть голоса

расправы были типичным методом польских радикалов. Исследователь русского революционного терроризма Анна Гейфман упомянула следующий эпизод: «В марте 1909 года несколько членов Польской социалистической партии заманили своего бывшего товарища в комнату гостиницы в Риме и, действуя по заранее разработанному плану, отрезали ему нос и уши. В результате пыток несчастный умер, его труп был разрублен на куски и спрятан в большой сундук, который был позднее обнаружен местными властями» [122, с. 239]».

Но самой мрачной фигурой польско-литовского повстанческого движения в «Кровавом пуфе» оказался ксендз Робак (Червяк), «ксендз-партизан и вешатель». Он руководит настоящей бандой разбойников, терроризирующих сельских жителей, которые отказываются воевать против русских. «Червяк» убивает майора Петра Лубянского, вернувшегося на службу после трагической смерти дочери (погубленной нигилистом Полояровым). И мы снова видим истязание живой плоти, её уродование. Один из выживших после стычки с ксендзом рассказывает: «[Робак] кинжалом распорол ему [Лубянскому] грудь вдоль и поперек и приказал разворотить. "Это тебе, говорит, лацканы будут, теперь ты по гвардии" <…> они стали вешать майора: подвесят, эдак, маленько и опять опустят, подвесят и опустят, чтобы, значит, мученьев больше предоставить ему, но одначе ж повесили-таки, наконец» [3 с. 540]. Крестовский указал в тексте романа, что эта жестокая сцена исторически верна (есть ссылка на рапорт начальника Келецкого уезда от 7-го мая 1863 года о гибели капитана Никифорова из Полоцкого пехотного полка [3, с. 541]). И «в пику» Герцену, сочувствовавшему польскому восстанию, Крестовский назвал главу «Мученики, не вписанные в мартирологи Колокола» [3, с. 539].

В литовских же землях автор представил ещё одну картину совершаемых кощунств. Хвалынцев видит прививаемую детям ненависть ко всему русскому

многих сторонников польской борьбы за независимость. Терроризм расцвёл в Польше ещё в период 1859-1862 гг., были совершены сотни политически мотивированных убийств, а с началом восстания их количество, по некоторым данным, возросло до 5 тысяч [211, с. 80].

и в особенности – к православному: «Поп! поп! Черт твою душу хоп! черт твою душу хоп!.. Схизматык!.. Поп пршекленты! (Проклятый!)» [3, с. 395] – нападает детвора на русского священника. Ненависть католической знати к православной вере сильна настолько, что пьяные «панове» на глазах у Хвалынцева берутся травить собаками отца Сильвестра, отказавшегося пить водку и «плясать трепака» для местных господ, дабы искупить свои «грехи» перед литовцами (поведение панов здесь схоже с повадками бесов в данотовом аду, упивающихся истязаниями и преследованием душ).

«Перевёрнутой церковью» совершенно другого рода, нежели «сатанизм», является «сектантство». В романе «На ножах» Лескова мы видим повсеместное отдаление русских людей от православной церкви и веры. Среди интеллигенции расползается спиритизм, а среди простого народа – причудливые псевдохристианские, а то и почти языческие, культы. Ср. «А я уважаю спиритов и уверен, что они дадут нам нечто обновляющее. Смотрите: узкое, старое или так называемое церковное христианство обветшало, и в него – сознайтесь – искренно, мало кто верит, а в другой крайности, что же? Бесплодный материализм. <…> Ну-с и должно быть что-нибудь новое, это и есть спиритизм» [4, с. 333] – рассуждает нигилист Иосаф Висленев, что автоматически дистанцирует его от образа «классического нигилиста» в духе тургеневского Базарова. Висленев даже подумывает идти к скопцам, потому что знает, что они «богаты» и, возможно, дают деньги тем, кто «идет в их веру». Так Лесков демонстрирует разложение нигилизма. И происходит оно на фоне общего упадка интеллектуальной и духовной жизни в стране.

Нигилисты своей «атеистической проповедью» отворачивали простой народ от Христа, но народ, как мы видим это у Лескова, не принимал естественно-научную картину мира, а смотрел в язычество и пробуждал в себе самые мрачные и опасные суеверия. Когда в деревнях губернии N. начинается мор скота, крестьяне объявляют это «коровьей смертью» и верят в неё как в живое мыслящее существо. Даже распеваемую Висленевым песню «Близок уж час торжества моего» суеверные мужики воспринимают как завывание

«коровьей смерти», которая по сёлам ходит. Лесков показывал склонность людей к чудовищным формам мифологизации. Ср. «Случай, говорит, где-то был, что бабы убили приказчика, который им попался навстречу: эти дуры думают, что коровья смерть прикидывается мужчиной» [4, с. 669]; «Где-то вдалеке с коровьей смертью хотели одни попы крестом да молитвой справиться и не позволяли колдовать: билися они колотилися, и ничего не вышло» [4 с. 713] – рассказывает крестьянин-сектант во время обряда вызова «живого огня» (трения бревна о бревно). Сектанты убеждены, что из бревна вылетит некий «орёл», на хвосте которого и будет «коровья смерть». Мужики рассказывают и то, что где-то «коровья смерть» являлась в облике «бурого медведя», который попросил себе «белую корову» и, съев её, покинул те земли. Среди крестьян появились и «лидеры вероучения»: Сухой Мартын, Дербак. Здесь возможна параллель с таинственным Антоном Петровым[70], смутившим крестьян в селе Бездна Казанской губернии в 1861 году.

---

[70] Этот грамотный крестьянин, возможно, сектант, по другим версиям – старообрядец («старовер» [211, с. 36]), смог убедить селян, зачитывая им отдельные пункты из царского Манифеста, что помещики их всех «обманывают». В Бездну из окрестных деревень стеклось порядка 10 тысяч крестьян, требующих земли и воли. В рапорте графа А.С. Апраксина (подавившего этот бунт) Александру II, написано: «Крестьянин Антон Петров сделался у них каким-то пророком, возбудил даже фанатизм, увлекая крестьян своими рассказами <…>; применение одного из пунктов образца уставной грамоты, в котором сказано: "после 10-й ревизии отпущено на волю столько-то"; он им растолковал, что это значит, что государь дал волю уже в 1858 г., помещики это скрывали, поэтому вся земля вам [крестьянам] принадлежит, и весь хлеб, собранный и проданный в продолжение 2 лет, должно взыскать с помещиков»; «Другой пример подобного же объяснения относится к правилам о порядке приведения в действие "Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости"<...> не читая, что далее следовало, он объяснял им эту статью так: что слово «прекращается» – значит «всё прекращается», или «чистая воля», выражение, под которым они понимали совершенную свободу от всех повинностей и обязанностей и право на всю землю»; «Антон Петров давал волю, землю, назначал начальствующих лиц, говоря, что в скором времени он совершенно освободит 34 губернии» [255, с. 321-322]. Апраксин утверждал, что исчерпал все попытки мирного урегулирования и имея «малочисленную команду» (231 солдат, выходцы из крестьянского сословия) был вынужден предпринимать решительные действия, иначе мог поплатиться жизнью. Адекватность точки зрения Апраксина подтверждается и очевидцем тех событий Н.А. Крыловым, управляющим соседнего с Бездной имения в селе Мурасе. В письме к своей работодательнице А.П. Ермоловой Крылов называет произошедшее в их уезде – «пугачёвщиной». По его словам, крестьяне собирались «резать, вешать, рубить дворян топорами» [211, с. 36]. Они не шли на диалог и не поддавались никаким уговорам ни со стороны духовенства, ни местных чиновников, ни военного командования. Профессор Склейнис подметила, что это

А кульминацией сюжетной линии «убийства Бодростина» в романе Лескова оказывается вхождение «мужиков» и «баб» – сектантов – «…в длинных рубахах, с расстегнутыми воротниками и лицами, размазанными мелом, кирпичом и сажей» [4, с. 719] в дом Глафиры (организовавшей убийство мужа). Сектанты несут впереди себя на шесте коровий череп, как, своего рода, «языческую хоругвь» (снова извращение христианской атрибутики). Они показывают нигилистке труп её супруга, найденный у дороги. Таким образом, в доме убитого аристократа сходятся вместе нигилисты-спиритуалисты и крестьяне-сектанты, и веры в Христа среди них нет[71].

Важно отметить в этой связи, что народные секты рассматривались революционерами как один из способов борьбы с царской властью. В простонародье поддерживалась убеждённость, что государство – это нечто «злое», «дьявольское». В ходе знаменитого судебного процесса 193-ёх в 1877 году (над революционными пропагандистами – «ходоками в народ») арестованный агитатор Мышкин (солдатский сын) обратил внимание заседающих в Особом присутствии Сената на следующий факт: «Каждое революционное движение интеллигенции соответствует параллельному движению в народ <…> например, распространённость таких религиозных сект, где отрицание государственной власти возводится в догмат, где источник государственной власти именуется антихристом» [182, с. 270-271]. Эксплуатировать «сектантство» намеревались в 1848 году ещё «петрашевцы»: хотели использовать фанатизм «раскольников» [259, Ч.1, с. 16].

письмо было опубликовано только в 1904 году, поэтому повлиять, в частности, на взгляд Крестовского (довольно далёкий и даже противоположный Апраксину; применение крайних мер к крестьянам Высоких Снежков в романе было спровоцировано революционной польской агентурой[70]) не могло. Также как изменить сформировавшееся в общественном сознании представление о событиях в Бездне как о бесчеловечном расстреле крестьян

[71] Подробнее об этой сцене в параграфе 3.1, «Появление ожившего мертвеца в мире материалистов-атеистов»

2.3. Контраст «высокого» и «низкого», «смешного» и «страшного»

Русская антинигилистическая проза апеллирует не только к страху, но и к смеху читателя. «Карикатуризация» – такой же метод изображения нигилистов, революционеров, как и «демонизация». В одном персонаже может сочетаться «высокое» и «низкое», «смешное» и «страшное» (в плане внешности и поведения, помыслов и поступков; ведь нигилисту, имеющему генетическую связь с романтиком-бунтарём присущ и героизм). Это тоже эффект «жанрового синкретизма», но кроме этого – художественный приём, направленный на усиление негативного впечатления – ужаса – от действий антагонистов. Неожиданно для читателя они оказываются способны на злодеяния, которые из-за общего комического фона невозможно и предположить. И этот приём был отработан ещё Горацием Уолполом в готическом романе «Замок Отранто» (1764). Во времена доминирующего классицизма и расцветавшей просветительской литературы это был шаг смелый, так как слияние «несочетаемого» в одном произведении считалось безвкусицей и свидетельствовало о слабых писательских способностях автора. Но Уолпол представил целое теоретическое обоснование приёма сочетания «высокого» и «низкого», «смешного» и «страшного».

Отец готики развернул заочную полемику с Вольтером, фактически это полемика с классицизмом. Французский классик утверждал, что смешение «шутовского» и «возвышенного трагического» – неприемлемо [82, с. 13] (по крайней мере, именно так передаёт его слова Уолпол). Но автор «Замка Отранто» в своём произведении придерживался именно принципа «смешения», и привёл в его защиту следующий аргумент: «Позволю себе высказать суждение, что контраст между возвышенностью одних и naivete [наивность] других лишь резче оттеняет патетический характер первых. Когда простонародные персонажи

затевают свое грубое шутовство и тем самым отдаляют читателя от ожидаемой им трагической развязки, само его нетерпение, быть может, усиливает в его глазах значительность финальных событий и уж во всяком случае свидетельствует о том, что сочинитель ловко сумел возбудить его интерес к ним» [82, с. 12]. Из этого принципа и происходит контраст «смешного» и «страшного» в готической прозе. Уолпол заявил, что создал роман нового типа и ориентировался исключительно на законы природы, то есть – на аутентичность психологии поведения персонажей в тех или иных условиях. И его ориентиром был Шекспир [82, с. 12-13]. К слову, принцип смешения «высокого» и «низкого» (комедийного и трагичного), «смешного» и «страшного» – это шекспировский принцип. Например, в «Гамлете» с одной стороны мы видим юмор могильщиков, с другой – патетику главного героя; смешная вездесущность Полония и мрачный трагизм Клавдия и т.д. Там же таинственное и устрашающее явление призрака и комичная суетливость стражников (плюс шутливый скепсис Горацио).

В произведениях готической прозы примеров контраста «смешного» и «страшного» много. Если взять роман М. Льюиса «Монах» (1796), то многолюдье в церкви Капуцинов в Мадриде описано в самых юмористичных тонах. Нелепо и суетливо ведёт себя Леонелла (тётушка главной героини Антонии), пытающаяся строить свои «косенькие» глазки молодым красивым мужчинам. Их разговоры о строгости целомудрия и святости [47, с. 27-29] – комичны и резко «оттеняют» (если пользоваться терминологией Уолпола) патетичные речи и суровый образ монаха Амбросио. Эльвира, мать Антонии, так и вовсе берётся редактировать Ветхий зовет, сексуальные откровенности которого могут пойти не на пользу молоденькой девушке, что тоже комично. В дальнейшем же юмор персонажей контрастирует с жуткими преступлениями антагонистов, сценами насилия и описаниями трупов, изображённых с высокой степенью натурализма и детализации. Аналогично и в романе А. Радклиф «Удольфские тайны» (1794). Смешное «простецкое» поведение г-жи Сент Обер,

наивность и сентиментальность Эмилии резко контрастирует с мрачным образом графа Монтони. В повести «Ватек» У. Бекфорда жуткий уродливый Гяур (слуга подземного мира), впущенный халифом в свой дворец, оказывается дурно воспитанным гостем и навлекает на себя гнев хозяина, что заканчивается юмористической сценой изгнания колдуна, превратившегося в шар, и его со смехом пинают горожане. При этом Гяур – «демон-искуситель», ведущий халифа Ватека к гибели и провоцирующий его на страшные злодеяния (в том числе – приношение в жертву детей).

А в произведении Карамзина «Дремучий лес» (сказка для детей по заданным ключевым словам), опубликованной в альманахе «Аглая» (1794-1795), «страшное» разоблачается в духе романов Анны Радклиф, где загадочные происшествия имеют под собой рациональную основу. И в «Дремучем лесу» это разоблачение имеет юмористический окрас. Сказка Карамзина содержит явные готические мотивы, но при этом является «травестийной», пародийной. Таким образом, альманах «Аглая» содержит помимо модели «революция плюс готический ужас» (об этом мы говорили в соответствующем разделе) ещё и приём контраста «смешного» и «страшного». Примечательно, что позже, в 1830 году, Пушкин использует форму «травестийной готики» в повести «Гробовщик», где готический ужас соединяется с иронией и высмеиванием порока жадности (наживы на мёртвых).

О юморе в антинигилистическом романе высказывались многие исследователи (Цейтлин, Сорокин, Батюто, Старыгина, Склейнис и др.). По их словам, нигилисты изображены, прежде всего, карикатурно, в целях демонстрации интеллектуальной ущербности представителей «демократического движения». Но в существующих работах нет обстоятельных комментариев контраста «высокого» и «низкого», «смешного» и «страшного». Хотя этот приём, работающий на эффект неожиданности, выражает и профетическую мысль о лёгком и быстром переходе «смешных» и «ничтожных» критиков изящного искусства, участников студенческих сходок, тайных

почитателей Герцена и т.п. к самой непримиримой и безжалостной террористической борьбе или, для начала, к банальной «уголовщине».

В романе «Панургово стадо» Крестовского описывается быт нигилистической коммуны: «Таким образом, на долю князя Сапово-Неплохово досталось выливать грязную воду и выносить помои. Анцыфров должен был сапоги всем чистить, что, впрочем, приходилось не часто, в силу принципа, исключавшего всякий внешний лоск и щегольство; обязанность Малгоржана заключалась в побегушках в лавочку за всеми надобностями и в мытье посуды, а Моисей Фрумкин подметал полы, в чем тоже не было особенно частой потребности; Лидинька Затц взялась чулки штопать на всю братию и наставлять самовар» [3, с. 206] (в цитируемом отрывке речь идёт о распределении обязанностей, что является полемикой с романом Н.Г Чернышевского «Что делать? (Из рассказов о новых людях)», 1863 г.). «Дураково логово» [3, с. 206] – называют это место простые люди. Но именно в этой комично описанной коммуне 19-летняя Нюта Лубянская и столкнётся с нигилистом Полояровым и будет, по сути, убита. Это производит жуткое впечатления на читателя. Смерть Нюты оказывается неожиданной, так как образ Полоярова преимущественно юмористичен. Ср. «Знаю я его. Пустельга; ни к черту не годен!» – говорит про него Василий Свитка – главный «демон-искуситель» «Кровавого пуфа». И, казалось, невозможно было ждать от мелкого жулика, фразёра и труса Полоярова серьёзных действий. Но он, черпая силу из доктрин «вульгарного материализма», «социального дарвинизма» на них решился[72].

Также и в повестях Дьякова. Описание эмигрантов-революционеров в повести «В народ!» вызывает смех: «<…> доктор, с позволения сказать, от философии Пигличка, Вера Галделова, Саша Зудилова, Кремнелобов, Стеновалов, Пятикрестовский» [6, с. 163]. Но самым комичным персонажем является Моратов (имя подобно Марату – известному якобинцу). Он изображён

[72] Об этом в параграфах 2.4, «От “ведомой грешницы” до “жертвы” (Нюта Лубянская)», 3.2.3. «Нюта Лубянская во власти “чудовища”»

оборванцем, самоотверженным «полезным идиотом», жертвующим комфортом, сытостью и даже личной гигиеной ради революции. Он один из немногих действительного идейных нигилистов. Когда «кружок» перешёл русскую границу и развернул пропаганду среди русских крестьян, Моратов наткнулся на совершеннейшее несоответствие политических теорий с жизнью. Мужики ему говорят, что у них нет хлеба, а Моратов утверждает, что виноваты дворяне, чиновники, царь. Но мужики указывают, что дело в «кузке-жуке» [6, с. 282-283], насекомом-вредители, которое съело хлеб. Юмористична сцена рассказа Моратова про «кузку-жука» своим единомышленникам-кружковцам. Моратову не верят и смеются над ним. Но Моратов осознаёт, что он «не понимает ни жука, ни мужика». Вызывает смех и сцена, когда единственный раз за свою «революционную жизнь» Моратов решил позаботится о себе и сходить в баню, так как полюбил французскую «швеечку», а та потребовала от него соблюдения личной гигиены: «Сначала смеялась над его нескладной фигурой, потом начала жалеть, потом сама полюбила» [6. с. 190], «я тебя, грязный дьявол, тогда только решусь поцеловать, когда ты вымоешься в бане» [6. с. 190]. Моратов идёт к Эльбруси, лидеру кружка, и требует денег на баню. Тот не даёт. Тощий недоедающий Моратов грозится разбить Эльбруси «трёхгранник» (то есть, лицо). Но крепкий могучий «вождь» смеётся, он в десятеро сильнее своего «неприятеля»… Но «в одно мгновение раздался трескучий удар, и “трёхгранник” лежал на полу под осколками стула» [6, с. 191]. Так Моратов победил.

Вместе с тем юмор в «Кружковщине» Дьякова контрастирует со злодействами. В частности, с тем, что Эльбруси насилует Марину Врагину, нигилистку-аристократку, приведшую «кружок» в Россию и содержащую революционеров на свой счёт вблизи усадьбы мужа, который ни о чём не ведал. Заканчивается же повесть «В народ!» сожжённым селом, и тут уже не до смеха.

Юмористично и поведение сошедшего с ума Висленева в романе «На ножах» Лескова. Старик Бодростин называет его «бэбэ». Но всё это только усугубляет ужасающее впечатление от дальнейших поступков нигилиста. Он разбивает Бодростину голову камнем. А до этого пускает с моста лошадь с

Водопьяновым (приняв его за Бодростина), и тем самым обрекает всадника на смерть. Есть юмор и в «Бесах» Достоевского[73]. В главе «У наших» Майор сетует на свою племянницу-нигилистку: «Вот-с, я ее на руках носил, с ней, десятилетней, мазурку танцевал, сегодня она приехала, натурально лечу обнять, а она мне со второго слова объявляет, что бога нет. Да хоть бы с третьего, а не со второго слова, а то спешит! Ну, положим, умные люди не веруют, так ведь это от ума, а ты-то, говорю, пузырь, ты что в боге понимаешь? Ведь тебя студент научил, а научил бы лампадки зажигать, ты бы и зажигала» [1, с. 305]. Но несмотря на весь комизм первого собрания «наших», дальнейшие «подвиги» этого кружка – настоящее кощунство, «провокаторство», ложь, пропаганда, связь с уголовником Федькой (а это череда грабежей, убийств и поджог) и, как кульминация, уничтожение Шатова, несправедливо обвинённого в предательстве.

Так комизм в антинигилистической прозе соседствует с «уголовщиной», с ужасом от действий людей, настроенных вульгарно материалистически, и готовых воплощать в общественной жизни принципы дарвинизма – естественную (и по неразумности своей – беспринципную) борьбу за существование. Контраст «высокого» и «низкого», «смешного» и «страшного» оказывает неожиданно-ужасающий эффект на читателя. Это демонстрация серьёзности намерений нигилистически настроенной общественности, воспринимавшейся преимущественно как нечто «наивное», «безобидное», «молодое».

[73] В частности, об этом в работе М.Л. Спивак «Взаимодействие трагического и комического в поэтике Ф.М. Достоевского: “Бесы”, “Братья Карамазовы”» (1987)

2.4. Персонажи готической литературы в антинигилистической прозе

Исторически сложилось, что готический имморалист-преступник предстаёт, как правило, в трёх образах: «трагический властитель», «ведомый грешник», «проклятый скиталец». И они оказались готовыми моделями для формирования персонажей-антагонистов антинигилистической прозы.

«Трагический властитель» в истории литературы тайн и ужасов является хронологически первым – это Манфред из «Замка Отранто» (1764) Х. Уолпола, позже – персонажи Клары Рив, Софии Ли, Анны Радклиф, в частности – злодей Монтони из романа «Удольфские тайны» (1794) и др. В русской литературе – это старый хозяин замка в «Острове Борнгольм» Карамзина, Коррадо из романа Н.И. Гнедича «Дон Коррадо де Геррера, или дух мщения варварства гишпанцев» (1803), а позже – граф Торгало из романа «Гудишки» (1831) Надежды Дуровой и другие персонажи русской готической прозы или мистической (с сильными элементами «таинственного и ужасного»). Как правило, персонаж такого типа «прикреплён» к месту: замок, особняк и т.п. (таинственное пугающее место). Совершаемые преступления (нарушение законов / табу, установленных Богом и людьми) связаны с мотивами «неограниченной власти», «вершения судеб». И модель «трагического властителя» оказалась вполне подходящей для раскрытия тоталитарной / диктаторской сущности нигилистического мировоззрения. Эта модель реализована и в образе Василия Свитки из «Двух сил», и в Ардальоне Полоярове из «Панургова стада». Черты готического «властителя» есть и в образе Глафиры Бодростиной из романа «На ножах» и в др. персонажах антинигилистической прозы.

Самым же полным воплощением «ведомого грешника» в готике является Амбросио из романа «Монах» М. Льюиса. Тёмные силы, испытывая на прочность силу воли и нравственность персонажа, толкают его на ужаснейшие преступления. В русской готической литературе это Петрусь из повести «Вечер накануне Ивана Купала» Гоголя, герой-повествователь из «Страшного гадания» А.А. Бестужева и др. В антинигилистическом же романе модель «ведомого

грешника» воспроизводится в образе Константина Хвалынцева из дилогии «Кровавый пуф», попавшего в паутину антироссийского заговора. Ведомых грешников мы видим и в образах Иосафа Висленева и Горданова из «На ножах» Лескова, и, безусловно, в «наших» из романа «Бесы» Достоевского, а также в женских персонажах повестей Дьякова. Эта модель и связанный с ней сюжет оказались средством демонстрации разрушительного влияния нигилизма и антироссийской / революционной пропаганды на героев со слабой или ещё не выработавшейся системой ценностей. И совершая преступление за преступлением, они движутся к гибели.

Что касается модели «проклятого скитальца», то в готической прозе это, прежде всего, Мельмот из романа «Мельмот скиталец» Ч. Метьюрина, вампир из одноимённого рассказа 1819 года Д. Полидори, «вечный жид» из «Монаха» М. Льюиса. «Проклятому скитальцу» присущи сверхъестественные силы, ему сопутствуют мотивы неупокоенности, обречённости, неискупимости грехов и т.д. В русской готической повести «проклятыми скитальцами» являются Варфоломей из «Уединённого домика на Васильевском» Титова и Пушкина, ведьма Ланцюжиха из «Киевских ведьм» Сомов, колдун из «Страшной мести» Гоголя и др. В русском антинигилистическом романе модель «проклятого скитальца» используется для придания антагонисту свойств, резко отличающих его от других персонажей, почти «сверхъестественных»: невероятная физическая сила, дар убеждения, быстрые транспространственные перемещения и др. Эта модель стала основой для формирования Василия Свитки из «Кровавого пуфа», реализовалась и в Николае Ставрогине и Петре Верховенском из «Бесов» Достоевского. В Ставрогине присутствует, как было отмечено ранее, «вампиризм», есть у него и связь с героем Метьюрина. Ср. в подготовительных материалах у Достоевского: «Губернаторша считает его за Мельмота» [279, с. 126]. «Проклятыми скитальцами» являются и русские эмигранты-революционеры из повестей Дьякова: Трутнев, Эльбруси, Вера Чужаева (она же и раскаявшийся «ведомый грешник»).

В антинигилистической прозе есть соответствия и с системой персонажей-протагонистов готики: «гость» (некто пришлый), «хроникёр» и «исповедник» (оба выполняют в сюжете функцию «ключа к тайне»[74]), а также «жертва». «Ключ к тайне» – персонаж, проникающий в мир страшных секретов героя-злодея. Это либо сторонний наблюдатель, каким-то образом фиксирующий происходящее (письменно или умозрительно) для последующего изложения событий, либо непосредственный участник. Например, в «Острове Борнгольме» «ключом» является герой-повествователь, а в романе «Замок Отранто» – Изабелла и Теодоро; в повести «Уединённый домик на Васильевском» – Павел; в «Вампире» Полидори – Обри. В русском антинигилистическом романе механизм проникновения в страшную тайну также присутствует, и есть персонажи, выполняющие сюжетную функцию «ключа». В романе «Бесы» – это Антон Лаврентьевич Г-в (модель «хроникёра»), а в главе «У Тихона» – сам старец Тихон («исповедник»). В «Тайнах современного Петербурга» князя Мещерского – магистр юридического права Степан Боб («хроникёр» и «гость») и др. Как и в готической прозе, в антинигилистической есть «жертва», преследуемая «имморалистом-преступником». Оба жанра без неё немыслимы. Например, в готике – это Антония из романа «Монах», Эмилия из «Удольфских тайн», Лила из «Острова Борнгольма», Даша и её покойная мать из «Упыря» А.К. Толстого и др. В русском же антинигилистическом романе – Нюта Лубянская в «Панурговом стаде», Шатов в «Бесах», старик Бодростин в романе «На ножах», мать семейства Емельяновых в «Тайнах современного Петербурга», Ольга Бровская в «Фатальной жертве» и др. «Жертва» и «ключ» – работают на максимальную реализацию образа «имморалиста-преступника», сущность которого должна раскрыться, а основы его идеологии – обрушиться. Другими словами, имморалист должен быть разоблачён и наказан.

Есть в антинигилистической прозе соответствия и по готическим персонажам второго плана. Прежде всего, это «суетливый спутник» при

[74] Об этом подробно в параграфе 3.2 «Готическая сюжетная схема и её антинигилистическая реализация»

персонаже-жертве или при персонаже-ключе, а также «демон-помощник» и «демон-искуситель» при имморалисте-преступнике. Суетливый спутник, чаще комичный, немножко трусливый – в пояснении не нуждается, а что касается героев, аффилированных с основным антагонистом, то здесь необходимо отметить следующее: «демон-помощник» стремится разделить зло с героем-имморалистом и углубить «тьму» в нём (например, подручные бандиты при Монтони в романе «Удольфские тайны»; Теляев при Сугробиной в повести «Упырь» и т.п.), а «демон-искуситель» стремится погубить имморалиста, обречь его на муки (см. Матильда при Амбросио в «Монахе», демонический Басаврюк при Петрусе в «Вечере накануне Ивана Купалы»). В русском антинигилистическом романе модели «демона-помощника» и «демона-искусителя» воспроизводятся, например, в Петре Верховенском в «Бесах» (линия взаимоотношений с Николаем Ставрогиным), в «кружковском идоле» Трутневе в «Фатальной жертве», Василии Свитке и тайных польских агентах, орудующих на территории России в дилогии «Кровавый пуф». Это и Подвиляньский, учитель латинского языка в гимназии Славнобубенска (Казань), вербующий «маленьких нигилистов» из числа учеников для использования их в качестве антиправительственных пропагандистов, а также Полковник Пшецыньский, составляющий рапорт (с преувеличениями и неверной интерпретацией событий) о подавлении бунта в селе Высокие Снежки (бунт в селе Бездна; а прототип доклада – рапорт графа Апраксина Александру II) [75].

[75] Примечательно, что выделенные В.Я. Проппом в работе «Морфология сказки» (1928) модели персонажей «помощник» и «вредитель» [200, с. 88-89] схожи с «демоном-помощником» и «демоном-искусителем». А персонаж «герой», о котором исследователь говорил в своей книге, аналогичен по функциям «персонажу-ключу», проникающему в страшную тайну. И в данном случае мы имеем дело уже не только с линией генезиса «готическая литература – антинигилистический роман», но и с «русской сказкой» как источником. Но это совершенно другая тема для исследования. Отметим лишь то, что в готике и антинигилистической прозе есть и другие фольклорные элементы, например, тот же мотив приглашения в свой дом нечисти (о нём мы говорим в параграфе 3.1). Связано это, по всей видимости, с общностью моделей персонажей и ситуаций в славянском и германском фольклоре, повлиявшим в итоге и на западноевропейскую готическую прозу, и на русскую (и не только на них), а в последствии и на антинигилистическую литературу

«Проклятый скиталец» Василий Свитка (Константин Калиновский)[76]

В художественном мире дилогии «Кровавый Пуф» – «Панургово стадо» (1869), «Две силы» (1874) – Василий Свитка (польско-литовский повстанец, шпион, один из организаторов польского восстания) является фигурой центральной, олицетворяющей деструктивные мировоззренческие и социально-политические процессы, происходившие в Российской империи в 1860-ых гг. С одной стороны, он готовит революцию в России, всячески подстрекая нигилистически настроенную молодёжь, а с другой – приближает Польское восстание 1863-1864 гг. Для ослабления русского правительства и армии революция в России и нужна. Механизм «управляемого нигилизма» довольно точно описан М.Н. Катковым в 1869-ом году: «Что такое нигилизм? Не создан ли он затем, чтобы служить средством для людей и партий не брезгливых в выборе средств?» [288, с. 308-309]. Размер фигуры Василия Свитки в художественном пространстве «Кровавого пуфа» (по степени влияния на сюжет) – колоссален. Польско-литовский повстанец – единственный персонаж дилогии, который находится на первом плане и в романе «Панургово стадо», и в «Двух силах» (в частности, Константин Хвалынцев, главный герой второго романа, в первом присутствует лишь эпизодически). Казнь же Свитки знаменует у Крестовского окончание деструктивных процессов, охвативших Россию. «Василий Свитка» – один из псевдонимов под которыми в романе Крестовского скрывается Константин Калиновский (польск. Wincenty Konstanty Kalinowsk) (1838-1864), возглавлявший весной 1863 года боевые действия повстанцев на территории Литвы и Белоруссии, и по приговору суда повешенный в Вильне 10 марта 1864 г. К этой исторической персоне Крестовский и применил модель

[76] В этом параграфе использованы материалы нашей статьи «Дилогия В.В. Крестовского «Кровавый пуф» (Константин Калиновский как «проклятый скиталец»)» // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 2021. No 4. С. 99–107

готического «проклятого скитальца», интерпретировав действия Калиновского в ключе «таинственного и ужасного».

Крестовский ближе других писателей антинигилистической прозы был знаком с темой польского революционного подполья. В 1863 году он прибыл в западный край Российской империи в составе «Комиссии для расследования подземелий города Варшавы» и включился в изучение обстоятельств подготовки вооружённого восстания. Позже собранный материал вошёл в роман «Две силы» (1874). Крестовский вспоминал: «<…> понадобилось не только теоретическое изучение польского вопроса по источникам, но и соприкосновение с ним в самой жизни, что и дала мне моя служба в Западном крае и в Польше» [295, с.880]. Катакомбы, заговорщики, секретные встречи изображены в романе в ключе «зловещего», «таинственного», применена техника готической прозы[77].

«Проклятый скиталец» со всеми присущими ему в готике чертами стал для Крестовского моделью, с помощью которой он связал одним «персонажем-гигантом» географические пространства от Славнобубенска (Казань) до Петербурга и земель Литвы и Польши и охватил широкую тематику социально-политических процессов и событий. Это и агитационно-пропагандистская работа среди крестьян, и провоцирование студенческих волнений, распространение «кружковщины» и коммунного образа жизни, организация Польского восстания, шпионская деятельность в пользу польских повстанческих организаций, антироссийская пропаганда среди русской армии и склонение солдат к измене, пожары в Петербурге, терроризм, преследование «изменников» внутри революционных организаций, отношение к человеку, как к материалу для революции и др.

При этом для Свитки совершенно чужд нигилизм как таковой. Этот персонаж по своей сути – «государственник» и патриот, но патриот Польши и

[77] См. параграфы 2.2. «Эсхатологическая символика и “демонизация”», 3.1. «Комбинации мотивов “таинственного и ужасного” и социально-политический контекст». Мотив «спровоцированного бунта», или «подогреваемого», есть и в «Бесах» («шпигулинские»), и в «На ножах» (крестьяне-сектанты), и в повести «В народ!» Дьякова и др.

Литвы. Нигилисты для него – именно материал и «дураки», своего рода – «ржавчина», чтобы разъесть Россию. Ср. эпизод, когда «бравый конноартиллерийский поручик Бейгуш[78]» (польского происхождения офицер русской армии, один из тайных организаторов, а в последствии и участников, восстания на западе России) декламирует Мицкевича, то в ответ слышит только «Фу! фу! фу!..» нигилистов, отрицающих изящную словесность. Бейгуш заявляет, что является поляком и патриотом, которому дорога каждая строка народного поэта. Василий Свитка предупредительно удерживает его от слова «дурак!» [3, с. 196-197] в адрес юного князя Сапово-Неплохово, смеющегося над словом «патриотизм». Свитке нужно, чтобы Россию охватило отрицание, которое обесценило бы всё, и русскому человеку стало бы нечего защищать.

Василий Свитка совершает мгновенные транспространственные перемещения, заставляя всех окружающих удивляться этому (как герой романа Метьюрина «Мельмот скиталец»). Ср. На железнодорожной станции «Луга» по пути в литовские земли: «Константин [Хвалынцев] обернулся и просто ошалел от изумления. Перед ним стоял и улыбался Свитка, воочию тот самый Свитка, который давеча проводил его на железную дорогу и простился, так что Хвалынцев был убежден, что посвятитель и ментор его остался в Петербурге, а он вдруг – на тебе! – через четыре часа пути является тут как тут, нежданный, негаданный» [3, с. 295]. Также неожиданно Свитка появляется и в Варшаве «пред изумленными глазами Хвалынцева»: «Вдруг кто-то сзади ласково взял его под руку. Он оглянулся и вдруг: – Здравствуйте, Константин Семенович!.. ха, ха, ха!.. <…> Что, небойсь, не ожидали такой встречи?» [3, с. 443]. Таким же образом Свитка умеет и исчезать. На пожаре в Петербурге, когда один чиновник, подслушав разговор Свитки с нигилистом-евреем Фрумкиным, закричал: «Братцы! Православные! Бунтовщик! Поджигатель!» [3, с. 278] – «Свитка же, чуть лишь заметил в самый первый миг эту руку, схватившую его знакомца, тотчас же юркнул назад и затерялся в толпе» [3, с. 278].

[78] Его прототип С.И. Сераковский

Василий Свитка ещё и «вершитель судеб», этот мотив непосредственно связан с темой революции. Как правило, он сопутствует модели «трагического властителя». Ср. Манфреда из «Замка Отранто» или главного героя повести «Ватек», а также Монтони из «Удольфских тайн», старика в повести «Остров Борнгольм» Карамзина и др. Черты самовластного тирана есть и в герое Крестовского. Но «трагический властитель» в данном случае является лишь дополнением «проклятого скитальца» как основной модели. Деспотия Свитки проявляется лишь в некоторых его ролях из множества. В Польше он «обвинитель», прокурор «Народного трибунала», выносящего смертные приговоры тем, кто отступил от дела восстания или считается врагом (русские чиновники и военное командование). «На столе пред ними стояло цинковое распятие и у подножия креста был положен обнаженный кинжал. Эти два предмета изображали собою эмблему суда» [3, с. 477]. А в роле пропагандиста, «ходока в народ», рыскающего по деревням Поволжья, его поступки становятся судьбоносными для тех, кого он увлёк за собой на путь революционной агитации. Бывший гимназист Иван Шишкин оказывается на каторге за свою пропагандистскую деятельность среди «мужиков». А будучи ещё и социалистом-радикалом Свитка придерживается самых террористических методов в отношении «белых» [3, с. 410] (так социалистическое крыло польских повстанцев называло выходцев из польско-литовского дворянства). На секретной встрече в Гродно «проклятый скиталец» говорит: «Главное дело, чтобы воеводские комиссары были из наших <…> трибунал [для «белых»] должен быть неумолим, террористичен, с немедленной смертной карой за малейшее неповиновение!» [3, с. 410].

Примечательно, что Крестовский там же поясняет, что в каждое «воеводство» варшавский «ржонд» (правительство) назначал особого «комиссара», который выполнял функции наблюдателя / надзирателя за исполнением приказов [3, с. 345] (ср. будущая структура «Рабоче-крестьянской Красной армии»). А в исторических трудах, посвящённых Константину Калиновскому, отмечается что он (как и его литературная трактовка Василий

Свитка) был сторонником самых жёстких классовых чисток: «<…> призывал к геноциду дворян как сословия, не останавливаясь даже перед убийством грудных детей» [128, с. 86]. В этом смысле исторический Калиновский не отличался от русских нигилистов-революционеров (см. «К молодому поколению» (1861) Н.В. Шелгунова, «Молодая Россия» (1861) П.Г. Зайчневского).

Ещё одна черта «проклятого скитальца» в Василии Свитке – это одержимость. «Жажда» разрушения, бунта, смуты, войны – вот зависимость героя Крестовского, такая же как жажда крови у лорда Рутвена из рассказа «Вампир» Полидори. Когда Польское восстание проваливается, Свитка / Калиновский не может успокоиться: «Калиновский окончательно потерял голову. <…> Это было теперь уже не дело, а скорее одна только безумная мечта мономана, фанатика революционной идеи» [3, с. 573]. Смятение и метания характерны и для эмигрантов-революционеров в повестях «Кружковщины» Дьякова. Этих персонажей бросает от «кружка» к «кружку», из одной чужой страны в другую. «Мятущейся душой» является и Пётр Верховенский из «Бесов»[79], не может находиться на одном месте, внезапно появляется и также внезапно уезжает из губернского города, и постоянно торопится, находится в состоянии непрерывного бегства, как «вечный жид» в «Монахе» Льюиса.

Вместе с одержимостью Свитке передалось и одиночество «проклятого скитальца». Польский агент привязывается к своим спутникам / жертвам. Подобно тому, как лорд Рутвен увидел друга в Обри, а Павел из «Уединённого домика на Васильевском» в демоне Варфоломее (который генетически связан и с Рутвеным, и с Мельмотом). Свитка привязывается к Константину Хвалынцеву, переманенному на сторону Польского восстания и привезённому на запад России. И в момент слабости и жалости к Хвалынцеву, приговорённому трибуналом «ржонда» к смерти от руки «кинжальщика» (убийцы, нанятого в

[79] В частности, мотив скитальчества в «Бесах» подробно проанализирован (но с минимальным учётом влияния готической прозы) в работе Моисеева А.А. «Феномен "скитальчества" в романе Ф.М. Достоевского "Бесы" и способы его художественного воплощения» (2013)

криминальном мире Варшавы), Свитка молит: «Это я запутал его в дело... Я один виноват... Поверьте! Клянусь вам! Я хорошо знаю этого человека и знаю, что он человек честный. Вся вина его только в несходстве убеждений с Паляницей [А.А. Потебня (1838-1863) – прим. А.Е.]. Примените к нему статью кодекса об изгнании... Можно устроить так, что само начальство вытурит его из службы, и пусть убирается к себе в Россию. Спасите, если можете!» [3, с. 480]. Но ему отвечают: «Если бы вы имели неосторожность гласно и формально отказаться в той комнате от обвинения, вы сами подлежали бы суду трибунала. Но я щажу вас, я промолчу об этом» [3, с. 480], «Выкиньте дурь из головы, дружески говорю вам!» [3, с. 480] – советует ему ксендз-заговорщик. И Свитка подчиняется. Он неспособен противостоять «злу», которому служит. В этом его проклятие, одержимость оказывается сильнее дружбы, а пресловутое «общее дело» (будь то революция или национальное восстание) выше всего «человеческого».

Общим между готическим «проклятым скитальцем» и Василием Свиткой оказалось и «оборотничество» и мотив договора с нечистой силой, но об этих аспектах в следующей главе.

Здесь же добавим ещё и то, что модель «проклятого скитальца» была использована и при формировании образа ксендза-вешателя Робака (Червяка). Ср. «Ксендз был везде и нигде; везде куролесил, казнил, наводил ужас и нигде не давался в руки» [3, с. 538]. Партизан Робак со своим отрядом националистов-карателей, терроризирующих всё «русское» или таковому сочувствующих (включая польских, литовских и белорусских крестьян), оказался прообразом (это к теме профетизма) будущих прибалтийских «лесных братьев», особенно активных в 1905-1906 гг. Они атаковали не только замки и усадьбы баронов, но и обыкновенных селян. Отбирали у них урожаи, деньги, занимали дома. Сопротивлявшихся убивали, объявляли «шпионами», пособниками правительства. Как и в случае с описанным в «Двух силах» Робаком, террору подвергались православные священники, учителя, чиновники, сельские старосты и проч. [122, с. 44-45]. Таким образом, идеи, охватившие многих

радикалов-националистов в начале XX века, были замечены Крестовском ещё в 1860-ых гг.

«Демоны-искусители», «-подстрекатели» Пшецыньский и Подвиляньский

Аналогично ситуации в готико-романтической повести В.П. Титова и А.С. Пушкина «Уединённый домик на Васильевском» в «Кровавом пуфе» Крестовского действует не один «демон», «собиратель душ», а целое тайное общество, и они в своих действия дополняют друг друга, проникая в разные сферы государственной жизни России. Примечательно, что польско-литовские заговорщики изображены Крестовским не «демонами-помощниками» при имморалисте-преступнике (что готическая модель предполагает), а персонажами, которые не выше и не ниже Свитки, но, как и он, выполняющими дестабилизирующую работу по ослаблению Империи, развалу её изнутри. В «Кровавом пуфе» функциями «демона-искусителя» (но в социально-политическом ключе), включая подстрекательство, наделены полковник Пшецыньский и учитель латинского языка в славнобубенской гимназии Подвиляньский. Они же члены подпольного польского кружка в Славнобубенске[80].

[80] Сбиваться в кружки, причём в весьма закрытые, было в принципе в характере поляков в России, где бы они не присутствовали. Крестовский, опираясь на свой опыт общения с ними ещё в университетские годы, описывал в «Панурговом стаде» польских студентов так: «<…> Поляки строго держались всегда своего отдельного, замкнутого кружка, не хотели пользоваться студентской библиотекой, не обращались и не принимали пособий из студентской кассы, хотя многие из них доходили порою до последней крайности. Они избегали даже протягивать руку знакомым русским студентам, тогда как русские (и это могут подтвердить почти все бывшие в университете в промежуток между 1857-1860 годами) неоднократно протягивали польской партии свои братские объятия, предлагая полное единение и дружеское слияние во имя науки и общих интересов» [3, с. 127]. В «русских поляках» было то, что разительно отличало их от других народов в составе Российской империи. Это было национальное самосознание, формирование которого невозможно без векового противопоставления себя

Именно Пшецыньский провоцирует стрельбу по крестьянам в селе Высокие Снежки (интерпретация событий 1861 г. в селе Бездна Казанской губернии): «Надо будет стрелять, ваше превосходительство! <…> К сожалению, надо будет стрелять!.. Иначе ничего не сделаем...» [3, с. 13] – говорит он генералу. Пшецыньский же оказывается и составителем рапорта о случившемся (трактовка растиражированного рапорта графа А.С. Апраксина, подавившего бунт в селе Бездна): «Есть печальные и опасные события, когда крайние меры являются истинным благодеянием. Ведь – не забудьте-с! Волга, <…> это есть, так сказать, самое гнездо... историческое-с гнездо мятежей и бунтов... Здесь ведь раскольники... здесь вольница была, Пугачевщина была... Мы пред Богом и совестью обязаны были предупредить, подавить... В таком смысле я и рапорт мой составлю» [3, с. 14].

Что касается учителя Подвиляньского, то он занимается вербовкой гимназистов в ряды революционных пропагандистов. Символичным элементом в образе учителя является то, что он появляется в кружке молодых нигилистов со сложенным листком статьи из «Колокола». Именно Подвиляньский провоцирует гимназиста Ивана Шишкина рассказать на литературно-музыкальном вечере хулиганское антигосударственное стихотворение «Орёл». «А вот бы штука-то была, <…> если бы этого самого “Орла” да дернуть сегодня на публичном чтении?» – подстрекает польский агент. И в итоге именно Подвиляньский выступает за отчисление Шишкина из гимназии. Так бывший гимназист попадает в «лапы» Василия Свитки, который увлекает молодого человека за собой на Волгу внушать «мужикам», что царь дал волю полную и с землёй, а помещики это скрывают, поэтому нужно против них подниматься.

другой силе. Здесь же и фактор католической веры, своего языка и исторической памяти о славе и победах далёкого прошлого

«Ведомый грешник» Константин Хвалынцев

Одна из «жертв» Василия Свитки – студент Константин Хвалынцев. Тут Крестовский использовал ещё одну модель, типичную для готической прозы – «ведомого грешника». Его реализация невозможна без «демона-искусителя», которым и оказывается Свитка.

Сюжетный путь «ведомого» – это путь к гибели через совершаемые шаг за шагом преступления. Здесь уместен хрестоматийный пример Амбросио из готического романа «Монах» Льюиса. Сначала Дьявол провоцирует героя нарушить священные обеты, потом похитить и изнасиловать юную Антонию (оказавшуюся его родной сестрой), затем убить её мать (свою же давно потерянную родительницу). Схожа ситуация и в повести «Вечер накануне Ивана Купалы» Гоголя, где Петрусь, ведомый демоном Басаврюком, совершает ритуальное убийство ребёнка, Ивася, и оказывается проклят «забвением» (потерей памяти), а затем гибнет, сгорая заживо.

В обоих примерах злодеяния связаны с темой любовной страсти. По той же причине и Хвалынцев идёт на преступление – предаёт Россию.

Сначала Свитка подбирается к Константину Хвалынцеву с помощью лести: «Вы не задумались сделать вызов на объяснение тому глупцу, который оказался трусом! <…> И вы один только против всех возвысили голос. Это с вашей стороны и смело, и честно. Позвольте за это пожать вашу руку!» [3, с. 123] – говорит он Константину после сцены, где студента объявили защитником аристократов и назвали из толпы подлецом (всё это происходит во время студенческих волнений в Петербурге в 1861 году). «Слова эти [слова Свитки], хотя Хвалынцев и нашел их как-то выделанно фразистыми, весьма приятно пощекотали его самолюбие» [3, с. 123] – подчёркивает Крестовский. Хвалынцеву близка идея преобразования государства, ему не нравится топорность действий правительства, поэтому он и участвует в студенческих волнениях. Ср. его речь, обращённую к петербургским студентам: «Мы имеем полное и неоспоримое

право знать, за что нас лишили лекций, лабораторий и библиотек? С нас взяли установленную плату за слушанье лекций, за право быть студентами; следовательно, мы имеем право на слушанье лекций и право на объяснение, за что и надолго ли нас лишили университета! Мы купили себе это право» [3, с. 129]. Но Хвалынцеву чужда идея вооружённой борьбы против России, не близка ему и революция, это персонаж со сложной системой внутренних мотиваций, и одной лишь лестью и повстанческой романтикой Свитка не может его «сцапать»[81]. И способом завербовать Хвалынцева оказывается «любовь». Свитка организует встречу Константина с прекрасной польской графиней Цезариной. Она внушает молодому человеку сочувствие к Польше, и ради этой загадочной красавицы он присоединяется к польско-литовским подпольщикам. Получает через них армейский чин корнета и отправляется на запад России для участия в восстании.

Примечательно, что образ «демонической графини», как и «графа», широко распространён в готической прозе. В русской готико-романтической повести это и Графиня И. из «Уединённого домика на Васильевском» (1829) Титова и Пушкина, и, конечно, старуха из «Пиковой дамы» Пушкина, близок этой модели и образ бригадирши Сугробиной из «Упыря» А.К. Толстого, и демонический граф Б*** из повести «Косморама» князя Одоевского.

Смысл вербовки русских в стан борцов за независимость Польши объясняет в романе пан Лесницикий (ещё один агент): «Если уж москали, наши заклятые враги, наши палачи, сами идут очистительными жертвами в польский народный лагерь и бьются за польскую независимость, – разве этот факт не освещает еще более пред глазами всего мира наше святое дело? Нам нужен известного рода декорум» [3, с. 135]. Но на примере Хвалынцева демонстрируется несовместимость «чистой души» и «чистых помыслов», хоть и окутанных ложью, с методами террора и бессовестными манипуляциями польско-литовских

[81] Как известно уже из нечаевской практики 1868-1869 гг. у радикалов даже считалось полезным зарубить на корню карьеру студента, которую молодой человек мог бы построить в России, и толкнуть отчисленного на путь бунта [184, с. 200]

повстанцев. Героя начинают одолевать сомнения. Он видит запущенное состояние литовских земель и понимает, что виною этому местная литовская занять, а не «русские», хоть Свитка и возражает: «…а кто довел край до такого положения, как не русское правительство?» Но Хвалынцев замечает: «ведь то же самое правительство и в великорусских губерниях, а разница меж тем сильно заметна <…> помещики на вид у вас глядят-таки сытенько, а крестьянин вон только подгулял на этот счет» [3, с. 297]. А в польском Гродно герой понимает, что его, русского, никто и за человека не считает. С ним отказываются говорить по-русски, приносят завышенные счета, и даже обливают спину серной кислотой, что приводит в негодность пальто. И когда польский гостиничный лакей с наглой «улыбочкой» вопрошает «Ктось то [мог сделать]?», Хвалынцева «прорывает» злобой на этот народ, за свободу которого он приехал сражаться: «Кто?.. Ваши братья полячишки поганые!.. Вот кто!». Это становится началом конца «изменнического пути». Но Свитка снова использует Цезарину: «Вы, говорю вам, всесильны над этим юношей: он любит вас беспредельно и страстно; вам это будет так легко: немножко ласки, немножко кокетства, немножко горячих фраз о деле, да чуточку надежды в его пользу – вот и все!.. Принесите, графиня, эту маленькую жертву, позаймитесь им еще немножко!» [3, с. 447].

Хвалынцева же хватает ненадолго. Между ним и Польшей ширится трещина. И когда его пытаются принудить к фальсификации подписей под письмом в «Колокол» (Крестовский указывает, что именно таким, фальсификационным способом, было составлено «Письмо русских офицеров», опубликованное в газете «Колокол», 1862 г., No 148»), Константин недоумевает: «…если б этот адрес был написан от имени какого-нибудь известного кружка, даже хотя бы от нашего “Отдела”, или от нескольких единомышленных офицеров, он имел бы свой raison d'être (смысл существования, фр.), но он пишется от имени “всех русских офицеров в Польше”, – позвольте спросить, не чересчур ли уж это хвачено? Кто уполномочивал составителя говорить за всех и уверять, что это profession de foi [«символ веры», фр. – прим. А.Е.] каждого?» [3, с. 474]. «Я... этого... не сделаю» [3, с. 475] – говорит Хвалынцев. В ответ ему

угрожают смертью за измену, «во имя данной мне власти…» – грозно произносит Поляница. Но Хвалынцев решительно порывает со всем: «Какая власть?.. Где она?.. Где этот ваш пресловутый “Отдел”?.. Он пуф, мыльный пузырь! Он только в рекламах «Колокола» существует! Вы все обманщики, фигляры! Я мог поддаться, мог идти открыто за дело, которое считал делом свободы, я не отступил бы перед открытой борьбой, как бы безумна она ни была – ну, что ж! я рисковал только своей жизнью, своей головой, и я бы положил ее... Но вы зовете меня на грязный подлог... Вы предлагаете шулерскую передержку с тем, чтобы поднадуть и правительство, и общественное мнение...» [3, с. 475].

За выход из «кружка» Хвалынцеву приходится заплатить кровью. Он получает опасный, но не смертельный, удар от «кинжальщика». Таким образом, используя модель «ведомого грешника» и сопутствующий комплекс мотивов, Крестовский показал тоталитарную сущность революционной и повстанческой «кружковщины», попадание в которую опасно именно невозможностью безопасного выхода. Но решение не участвовать в фальсификации «Письма русских офицеров» – было последним искушением, испытанием, посланным на проверку «души» ведомого грешника. Амбросио в романе Льюиса последнего испытания не прошёл, также и Петрусь в повести Гоголя «Вечер на кануне Ивана Купалы». Но по замыслу Крестовского, определившего для своего героя функцию «собирателя» локаций и воюющих сторон романа «Две силы», Хвалынцев должен был вырваться из рук повстанцев и оказаться в стане русских войск. В итоге он получает прощение за своё временное «изменническое положение» от самого графа М.Н. Муравьёва («вешателя», как его характеризуют в некоторых исторических и литературоведческих работах), раздавившего польское восстание.

«Ведомые грешницы» Ольга Бровская и Вера Чужаева[82]

Примером эксплуатации модели «ведомого грешника» (учитывая и все сопутствующие готические мотивы – «нечестивое собрание», «приглашение в свой дом нечисти», «нерассказанная история» и др., речь о которых пойдёт в следующей главе) являются и женские образы из цикла повестей «Кружковщина» А.А. Дьякова. Пути Ольги Бровской из «Фатальной жертвы» и Веры Чужаевой «Из записок социал-демократа» схожи: попадание в коммуну или «кружок» нигилистов и последующее нравственное разложение. Обеих соблазнили идеалами свободы, эмансипации (решением так называемого «женского вопроса»), но в итоге женщины оказались в самой настоящей трудовой и, что хуже, половой эксплуатации. См. в «Записках…» аналогичная ситуация с Лебедевой: «Я увлеклась господином Фингаловым во имя общей работы, во имя тех идей, которыми все мы прельщаемся, на которых все мы обманываемся» [7, с. 33]. При чём в случае Бровской – это было настоящее сутенёрство (как и в ситуации Глафиры Акатовой из романа «На ножах», об этом ниже). На её «природный капитал», по выражению Трутнева, лидера швейцарского кружка русских эмигрантов-революционеров – покупали лояльность и спонсорство состоятельных господ. Ср. «Есть дурак, влюбился в вас. Вот и пользуйтесь на общее благо» [8, с. 146].

А что касается молодой дворянки Чужаевой – это был обыкновенный разврат. Обстоятельства пребывания Веры в коммуне нигилистов сокрыты от читателя (мотив «нерассказанной истории»). «Я любила… Я так хотела… Я много страдала… Должна была оставить Россию» [7, с. 54] – рассказывает она своему другу Жернову (аналогичным образом история «греха» Лилы сокрыта в «Острове Борнгольме»). Но Дьяков оставил намёки, позволяющие понять, что

[82] В этом параграфе использован материал нашей статьи «Мотивы прозы Н.М. Карамзина в повести А.А. Дьякова “Из записок социал-демократа”» // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2021. Том 80. №2. С 47-52

причиной бегства Веры из России в Швейцарию стала внебрачная беременность. В повести есть две сцены, которые являются своего рода проекцией произошедшего с Чужаевой: «Одна из женщин была поразительно молода, сущий ребенок; она усерднее всех рисовалась цинизмом, поднимала подол, чтобы юбками вытереть стол, залитый пивом, и нахально улыбалась, обводя глазами своих собеседников и разбрасывая им на колени свои детские ноги» [7, с. 31]. Вторая сцена – «суд» над Фингаловым, соблазнившим Лебедеву: «Я требую, чтобы Фингалов со мной повенчался <…> Я… я беременна; требую этого для ребенка».

Подобно готическому «ведомому грешнику» Ольга Бровская гибнет, стреляется. Но Чужаева, как и Константин Хвалынцев из «Кровавого пуфа», оказывается прощённой и спасённой. Жернов готов взять её в жёны несмотря ни на что. Скитальчество и затворничество Веры прекращаются.

Важно, что исторически женщины, преодолевая семейные ограничения, шли в революцию с фанатизмом куда более агрессивным, чем у мужчин. И были готовы жертвовать собой ради «дела». А. Гейфман отмечала, что это было своего рода проекцией «православного идеала женщины-мученицы» [122, с. 19], получавшего трансформацию в русле политического радикализма. Это согласуется с проблематикой преобразования «христианского», «народного», даже «славянского» в «социалистическое» и «коммунистическое». Например, понятие «братство» легко трансформировалось в «солидарность», мотив приглашения в дом нечисти преобразовался в приглашение в дом нигилиста, нечисти социальной и т.п. На примере же Нюты Лубянской из романа Крестовского мы видим буквальное «мученичество» в комплексе с мотивом насильственного заточения. Но мученицей она становится уже не в рамках парадигмы «отрицания» и «революции», а исполняя священный (в христианстве) долг матери.

От «ведомой грешницы» до «жертвы» (Нюта Лубянская)

Сюжетное движение Нюты Лубянской, героини романа «Панургово стадо», к гибели охватывает целый комплекс мировоззренческих аспектов «нигилизма», с которыми полемизирует Крестовский. И на протяжении сюжета модель «ведомого грешника» (реализуемая в социально-политическом ключе) сменяется «жертвой».

История начинается в провинциальном городе Славнобубенск (Казань). Исторический фон – весна 1861 года, первые месяцы после оглашения манифеста от 19 февраля. 19-летняя Лубянская, дочь отставного майора Петра Петровича, сближается с нигилистом Ардальоном Полояровым, одним из лидеров местной молодёжи. Происходит это во время «траурных мероприятий», организованных студентами местного университета по убитым в селении Высокие Снежки крестьянам (всё тот же бунт в селе Бездна, Казанской губернии)[83]. «Траур» задумали с целью распространения «недовольства» (по сути – форма революционной пропаганды). К этому времени Лубянская уже была вхожа в круги «передовых женщин» Славнобубенска: «две-три молодые дамы, да три-четыре девицы, из которых половина была с остриженными волосами – прическа, начинавшая в то время сильно входить в употребление в кружках известного рода» [3, с. 24]. В этих «стартовых» условиях и началось «развитие» Нюты в прогрессивном направлении. «Развивать» стал, конечно, Ардальон Полояров, выполняя функцию «демона-искусителя». Ср. «одного только этого... его-то – только его и слушает» [3, с. 70] – сокрушается майор по дочери, попавшей под влияние нигилиста. И первая «мировоззренческая основа», к которой приходит Нюта – это отрицание института семьи. А поскольку у Лубянской никого, кроме отца нет, то и отрицать она начинает именно его, пожилого доброго майора, оказавшегося дезориентированным среди

[83] Панихида по убитым в Бездне была устроена профессором Казанского университета Щаповым, студентами Протопоповым, Умновым. Проводили панихиду священник Иван Яхонтов и дьякон Якимов (оба в последствии сосланы в монастыри; первый в – Соловецкий, второй – в Иркутский) [259, Ч.2, с. 49]

новых идей. Впервые Нюта проявляет агрессию к родителю, когда у них дома собираются молодые люди. Полояров затянул пропагандистскую песню «Долго вас помещики душили»[84], майор сделал ему замечание: «у меня в доме таких песен не пойте! <…> И как это вам не стыдно: взяли хорошую солдатскую песню да на-ко тебе, какую мерзость на нее сочинили!» [3, с. 42]. Лубянская тут же заявила отцу – «Это деспотизм!» [3, с. 42]. Со временем ситуация в доме майора ухудшается: «Начнешь говорить ей, – сейчас же в раздражение: “вы говорит, меня стесняете, лишаете меня свободы!” Ты ей резоны представляешь, а она сейчас: – произвол! насилие!.. Это, говорит, деспотизм родительской власти... <…> я души в ней не чаю, а она... деспот... деспотизм. Да что ж это такое, ей-Богу!..» [3, с. 70].

Отрицание семьи, провозглашение свободных и ни к чему не обязывающих отношений между мужчиной и женщиной приводят Лубянскую к самой тёмной стороне «женского вопроса» – к половой эксплуатации (соблазнению). Ср. у А.А. Дьякова: «Да, женщину надо было привлечь к интересам умственным, а её привлекали к половым. В умственные интересы её посвящали лишь настолько, насколько это могло содействовать быстрому и всестороннему развращению» [311, с. 28]. Лубянская оказывается в постели с Полояровым. Нюта начинает осознавать ошибку, и Ардальон даже обещает ей законный брак, но бежит в Петербург. «Невесте» же оставляет письмо, в котором лжёт о полученном извещении, призывающем его к «делу» (имеется в виду «общее дело», революция). Оправдываясь, Ардальон говорит, что был бы подлецом, если бы поставил свои личные интересы выше «счастья миллионов». И здесь типичный нигилистический взгляд на человека как на материал для революции оказывается ширмой для обыкновенной трусости. Полояров боится нести ответственность за свой поступок, то есть оказаться связанным узами брака.

[84] Именно эта песня наиболее эффективно распространялась пропагандистами среди крестьян в 1860 –1870 гг, её упоминали и в ходе судебного процесса «193-ёх» – над революционными агитаторами [182, с. 248]

Дальнейшее действие драмы нигилистической жизни Лубянской разворачивается уже в Петербурге, в коммуне нигилистов. Здесь начинается авторская рефлексия о сущности «коммунизма» (коммунной организации общества). Нюта бежит из Славнобубенска, бежит от позора, она беременна. Крестовский демонстрирует, что представления о морали у Лубянской есть, «нигилизм» был не более, чем юношеским увлечением (какое захватывало, а потом и отпускало многих молодых людей 1860-1870 гг.). Девушка обращается за помощью к Ардальону. У неё нет ни паспорта, ни средств к существованию, и ей нужен муж хотя бы на первое время после рождения ребёнка, хотя бы в рамках «натурального брака». И вот здесь Полояров «включает» защиту: «вульгарный материализм» и «социальный дарвинизм». «Я вас к тому спрашиваю про Дарвина, что ежели бы вы что-нибудь дельное вычитали из него, так поняли бы, что это ваше естественное назначение, как самки, и тогда бы вы не стали творить драм и романов из-за такого пустяка» [3, с.203]. Кульминацией раскрытия возможностей «социального дарвинизма» становится следующее заявление Полоярова (произнесённое в ответ на «Вы должны войти в мое положение, если вы честный человек» [3, с.203]): «Да что такое этот ваш долг-честь-то? – Понятие совершенно условное-с. Австралийские дикари, например, едят человечину и находят, что это вполне честно и нравственно, потому что они, победители, едят своих врагов, побежденных; а дураки английские миссионеры говорят, что это безнравственно кушать себе подобных; а мы, например, находим, что это ни нравственно, ни безнравственно, а просто штука в том, что мы не сделали себе привычки жрать человечину, или предки наши почему-то отвыкли от этого» [3, с.203].

«Просто нет привычки жрать человечину, а если бы была…» – достраиваем мы логику Полоярова, на которую намекнул Крестовский. Появляются мотивы «вампиризма» (поглощение жизни), «оборотничества» (скрытая «тёмная сторона»), «человеческого жертвоприношения» («сатанизм» / «язычество»). А вместе с тем проявляются и главные принципы «социального дарвинизма»: «человек – животное», «жизнь – борьба за существование», «выживает

сильнейший» и др. Этот смысловой узел, до которого дошёл Полояров в своих рассуждениях и становится основой для всех дальнейших действий нигилиста, приведших к гибели Нюты Лубянской. Так Ардальон «демонизировался».

Нюта осталась в коммуне. К этому решению Полоярова подтолкнуло опять же соображение «зоологическое»: «к чему же, мол, совсем уж отталкивать от себя эту молодую и хорошенькую Нюточку?» [3, с. 204] (готический мотив нечисти, испытывающей любовную страсть к человеку). А кроме этого, Ардальон, будучи держателем коммунной кассы, забирает у девушки последние 50 рублей «на приход». «Но эта запись нисколько не помешала ему [Полоярову] тут же из этих самых денег отдать долг сапожному подмастерью за новые подметки к его собственным сапогам» – пояснено в романе [3, с. 205].

Полоярову не нужен ребёнок. Это улика. И нигилист замышляет похитить младенца у матери и сдать его в воспитательный дом. Типичная ситуация для «мира нигилистов» (не раз воспроизводится в произведениях антинигилистической прозы, см. «Из записок социал-демократа» Дьякова, «На ножах» Лескова). Дьяков вспоминал о своих знакомых «коммунистах»: «объявились кружковские понятия о честном и подлом, попытки создать свой кодекс морали. По этому кодексу подло было ходить в оперу, носить восьмирублёвые сапоги и чистое бельё; но не подло лишить невинности девочку, бросить в воспитательный дом прижитого с нею ребёнка» [311, с. 24].

Приняв решение украсть младенца, Полояров дал ход развитию типичного готического сюжета со всем набором сопутствующих мотивов: заточение, преследование, безвыходность положения, обречённость, болезненность и др. (но об этом в следующей главе). Ардальона превращается в «чудовище», являющееся по ночам, чтобы похитить ребёнка у матери – «сожрать человечину». И в итоге нигилист побеждает. Не обнаружив возле себя младенца, Нюта впадает в горячку и умирает. Заметим, что это напоминает ситуацию, в которой оказалась Агнеса из готического романа «Монах». Тоже взаперти, тоже беременная, потом родившая и без возможности сбежать (замурована в

подземном склепе среди гниющих тел), но её ребёнка не украли, он просто умер, и героине пришлось пестовать кишащий червями трупик.

«Жертва» Глафира Акатова и «демонесса» Глафира Бодростина

Путь Глафиры Акатовой напоминает путь Ольги Бровской и Веры Чужаевой из «Кружковщины» Дьякова, но гораздо больше параллелей с образом Нюты Лубянской из романа «Панургово стадо» Крестовского. Только вместо провинциального Славнобубенска мы видим провинциальный город N., вместо нигилиста Арадальона Полоярова – нигилиста Павла Горданова. Он был учителем младшего брата Глафиры, но больше занимался «развитием» сестры. Сферой прививаемого мировоззрения оказывается проблематика «женского вопроса»: идеи женской эмансипации и отрицание института семьи. Как следствие, Глафира уходит из дома ради «натурального брака»: «бросила отца и мать и пошла жить с тобою “на разумных началах”, глупее которых ничего невозможно представить. Колоссальная дура эта была я» [4, с. 79] – вспоминает она себя спустя годы. И подобно Нюте Лубянской героиня Лескова оказывается обременена младенцем, которого Гордонов (как и Полояров в романе Крестовского) сдал «во имя принципа» в воспитательный дом. Этот период в жизни Глафиры вполне укладывается в концепцию «ведомой грешницы» и в чём-то «жертвы».

Но существенная разница между Глафирой и Нютой заключается в том, что героиня Лескова не погибает, она оказывается в ситуации жестокого разочарования, страшной озлобленности и ещё большей беспринципности (отрицающей даже нигилистические убеждения). Ср. «Мне все ”принципные” после вас омерзели...» [4, с. 80]; «дева увлеклась пленительною сладостью твоих обманчивых речей, повелась на сладкие приманки в алюминиевых чертогах [отсылка к роману Чернышевского «Что делать?» – прим. А.Е.] свободы и

счастия» [4, с. 79] – напоминает Глафира Горданову. «Сидеть с вашими стрижеными, грязношеими барышнями и слушать их бесконечные сказки про белого бычка, да склонять от безделья слово “труд”, мне наскучило; ходить по вашим газетным редакциям и не выручать тяжелою работой на башмаки я считала глупым, и в том не каюсь» [4, с. 80] (тут Лесков обращает внимание на проблему трудовой эксплуатации женщин в нигилистических коммунах).

Но поворотным эпизодом в жизни Глафиры Акатовой становится именно «половая эксплуатация». Красотой молодой барышни начинают торговать. Привлекают в коммуну богатых мужчин. И героиня согласилась на это, но уже со своими личными, а не общественными целями: «вы, тогдашние мировые деятели, были все столько глупы, что, вознамерясь употребить меня вместо червя на удочку для приманки богатых людей, нужных вам для великого “общего дела”» [4, с. 80]. Глафиру свели с пожилым Бодростиным: «миллионер, помещик трех губерний, заводчик и фабрикант и предводитель благородного дворянства» [4, с. 80]. Одну половину, вырученных за Глафиру денег, коммуна намеревалась пустить на «общее дело» (революцию), а другую – на «польское дело» (восстание). Но презирающая «коммунистов» Глафира забрала Бодростина себе и никаких денег нигилистам не дала. И к началу основного действия романа «На ножах» героиня Лескова предстаёт в губернии N. в образе «демоническом»: любострастность, адский хохот, хлыст, жестокие дурачества, рожки, наставляемые Горданову [4, с.78] и др. «Период Нюты Лубянской» был преодолён, настала пора «демонессы» Глафиры Бодростиной. Автор наделил её функциями, аналогичными готическим «демонам-искусителям», «-соблазнителям» и «трагическим властителям».

Используя свою красоту (навык отработанный в коммуне нигилистов), Глафира манипулирует и Ропшиным, секретарём Бодростина, и нигилистами Гордановым и Висленевым – главными своими «орудиями». Глафира считает, что Горданов у неё в долгу за всё содеянное с ней: «ты должен мне заплатить один невещественный долг» [4, с. 79]. «Демонесса» не рассчитывала, что её старик Бодростин так долго задержится на свете, и она хочет «освобождения» от

него, но освобождения «обеспеченного». Используя финансовую несостоятельность нигилиста Горданова, Глафира сподвигает его присоединиться к «страшному замыслу» и использует для этого понятную и близкую нигилистам теорию социального дарвинизма: «А разве ты уже отменил свое решение прикладывать к практике теорию Дарвина?» – спрашивает Глафира и тут же формулирует принцип: «Глотай других, или иначе тебя самого проглотят другие» [4, с. 87]. И когда «чёрный договор» был заключен, роман наполнился мотивами «таинственного и ужасного»: безумием, явлениями мертвецов, «духовидением», нечестивым сборищем и др. Реализацию получила и «готическая» сюжетная схема (об этом в следующих главах).

Пётр Верховенский и Николай Ставрогин: «демон-помощник» при «имморалисте-преступнике»

Отношения Ставрогина и Верховенского в «Бесах» во многом схожи с отношениями готических героя-имморалиста и его демона-помощника / -искусителя. В литературе «таинственного и ужасного» это Амбросио и Матильда в «Монахе», Петрусь и Басаврюк в «Вечере накануне Ивана Купалы», таинственный незнакомец и герой-повествователь в «Страшном гадании» Бестужева-Марлинского, и отчасти Варфоломей и Павел в «Уединённом домике на Васильевском» и др. Революционер-заговорщик Верховенский оказывается лишь социально-политической интерпретацией уже старых моделей «демона-помощника» и «демона-искусителя». Действия Петра относительно Ставрогина и «наших» – аналогичны готическим образцам. Типичны и инструменты – ложь, использование слабых сторон других персонажей, провоцирование преступлений. Хрестоматийное поведение «демона-искусителя» описано в «Монахе» Льюиса, и оно в точности такое же как у Верховенского: «…я выбрал удобное время для соблазна», «…это я устроил так, чтобы тебе в руку был

вложен кинжал», «Едва я успевал намекнуть на преступление, как ты его уже совершал» [47, с. 339-340] – всё это говорит Дьявол монаху Амбросио. Тот же смысл вкладывает М.Н. Катков в слова (уже не раз приводимые нами): «Не создан ли он [нигилизм – прим. А.Е.] затем, чтобы служить средством? [288, с. 308-309]». И мы видим в «Бесах» и «пятёрку», убивающую Шатова просто по ложному навету, и каторжника Федьку, орудующего ножом и совершающего поджоги, и «наших», творящих кощунства на каждом шагу, и девиц, отправляемых Ставрогину на «съедение», утоление «голода» (о «вампиризме» этого героя мы уже сказали в соответствующем разделе).

Но модель связи «Ставрогин – Верховенский» происходит не только из литературы, но и из жизни. Это интерпретация подлинных отношений Бакунина и Нечаева[85]. Об этом, в частности, писал философ, литературовед М.А. Лифшиц в работе «Проблема Достоевского (Разговор с чёртом)»: «обе фигуры [Николай Ставрогин и Пётр Верховенский] были дедуктивно вычислены в творческой лаборатории самого Достоевского. И тем не менее нельзя рассматривать

[85] «Нигилисты» же оказались и самыми верными последователями анархической идеи ниспровержения государства. И когда бежавший из России в 1869 году Нечаев явился в Женеву к анархисту Бакунину, тот принял его (в отличие от Герцена) с распростёртыми объятиями. Называл его своим «тигрёнком», «молодым дикарём». «Здесь со мной находится один из молодых фанатиков, которые не знают сомнений, которые не боятся ничего… верующие без Бога, герои без риторики» [244, с 9-10] – писал анархист в одном из писем. Нечаев и его «работа» оказались для Бакунина воплощением некого революционного идеала, 55-летний бунтарь снова был воодушевлён и полон надежд. Новая русская молодёжь, по всей видимости, так вдохновила престарелого анархиста, что в программных документах его «славянской секции в Цюрихе» (1872) была сплошная «нечаевщина»: «уничтожение государства, права собственности, личной и наследственной, и юридической, основанной на этой собственности. Славянская секция заявляет, что она исповедует материализм и атеизм, что будет бороться против всех родов богослужения <…> будет стараться уничтожить саму идею божества <…> [организация] имеет уважение к наукам точным, но “с негодованием отвергает правительство учёных как самое надменное и вредное” [то есть, отрицается «академия», «научная школа», «университет», столь ненавидимые русскими нигилистами – прим. А.Е.]» [182, с. 73]. И публика, на которую была направлена пропаганда Бакунина была точь-в-точь как у Нечаева – очень молодые и очень бедные, для кого идея разрушения несправедливого государства как раз и оказывалась привлекательной. А.П. Мальшинский утверждал, что сам Бакунин описывал свою аудиторию следующим образом: «Дети мещан или разорившегося мелкого дворянства, юноши, почти лишённые средств к существованию, в особенности же дети сельского духовенства, большинство которых погибает в адских трущобах наших семинарий, но из числа которых очень многие, притом самые умные и сильные, вырываются оттуда полные энергии и ненависти ко всему существующему строю» [182, с. 191]

Ставрогина и Верховенского вне отношения к Бакунину и Нечаеву» [170, с. 24]. Историк русского революционного террора О.В. Будницкий и вовсе назвал Нечаева «любимцем» Бакунина [102, с. 41], который был, пожалуй, главным покровителем нигилизма (как социально-политического, так и религиозного). Обратить внимание на эти две фигуры нужно и потому, что они, подобно героям Достоевского, оказались в ситуации, когда «последователь» пытается манипулировать «вождём», спекулируя на его слабостях и личных переживаниях. Ложь – это то, с помощью чего «демон-помощник» / «-искуситель» и манипулирует героем-имморалистом, прежде всего – «ведомым грешником». В момент окончательного разрыва Бакунин в письме от 2 июня 1870 года написал Нечаеву (своему «тигрёнку»): «веря в Вас безусловно, в то время как вы меня систематически надували, я оказался круглым дураком – это горько и стыдно для человека моей опытности и моих лет, – хуже этого, я испортил свое положение в отношении к русскому и интернациональному делу» [244, с. 20].

Поразительно и то, как точно один из первых отзывов Бакунина о Нечаеве (в письме 1869 года к Герцену) соответствует литературному Петру Верховенскому. Если опустить имена, то никаких отличий просто не остаётся: «Есть люди, утверждающие, что это – просто авантюрист; это неправда! Это фанатик, преданный, но в то же время очень опасный, сообщничество с которым может быть только гибелью для всех… Он очень опасен, так как ежедневно нарушает доверие и совершает измены, от которых тем труднее уберечься, что едва можно подозревать их возможность. Вместе с тем Нечаев – сила, потому – что это огромная энергия» [296, Примечания, с. 201-202].

Но анархические концепции Бакунина, с которыми в своих целях заигрывал Нечаев, остались мечтами. Фантазией остался и проект Верховенского «Иван-царевич», который в «Бесах» мог бы оказаться полной реализацией «готического сюжета» гибели ведомого грешника. То есть – приход к власти Ставрогина / Бакунина в результате кровавой смуты, а потом и гибель грешника через такую же революцию, но уже против него обращённую. Отсюда и мотив

«самозванства» (для готики типичный – тот же Манфред из «Замка Отранто») и образ Лжедмитрия. Ср. «Прочь, самозванец! <…> Гришка От-репь-ев а-на-фе-ма!» [1, с. 219]. Но Достоевский оставил лишь намёки на гипотетически возможное развитие событий: «Мы провозгласим: разрушение... [говорит Пётр Верховенский] <…> Мы пустим пожары... Мы пустим легенды... Тут каждая шелудивая “кучка” пригодится. Я вам в этих же самых кучках таких охотников отыщу, что на всякий выстрел пойдут да еще за честь благодарны останутся. Ну-с, и начнется смута! Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал... Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам... Ну-с, тут-то мы и пустим... Кого? — Кого? — Ивана-Царевича. <…> — Самозванца? — вдруг спросил он [Ставрогин], в глубоком удивлении смотря на исступленного. — Э! так вот наконец ваш план» [1, с. 325].

Нечто подобное подмечал и М. Лифшиц: Ставрогин / Бакунин – «суррогат непосредственно общественного, нравственного деяния, самозванец, замещающий свободу анархией, удивительной “склонностью к преступлению”, нерассчитанным “безмолвным” злом, преодолением здравого смысла. В жизни кучки этих бледных теней – Кириллова, Шатова и прочих он играет особую роль. Но в конце концов его делают игрушкой» [170, с. 28].

Бакунин / Ставрогин и Нечаев / Верховенский образовали весьма токсичную «идеологическую субстанцию» – «нечаевщину» (назовём её так, немного расширив старое понятие), в которой «русский нигилизм» со всем присущими ему «якобинством» (деспотичным революционным террором, устраняющим всё «лишнее», прежде всего – аристократию и связанные с ней символы культуры), «монашеской революционной самоотверженностью» (по петрашевцу Спешневу), «варварством» (как и в понимании Карамзина и Надеждина – иррациональность, жестокость и «дикость», то есть нецивилизованность – так и в плане отрицания традиций, академического образования, ценности искусства, философии и др.) соединился с «бабувизмом» (насильственным социальным равенством) и воинствующим, а к тому же и интернациональным,

«анархическим социализмом» (уничтожением государств и образованием общин).

Важно и то, что в Верховенском, а вместе с ним и в Ставрогине, есть «гены» и «петрашевца» Николая Спешнева. По крайней мере на него – богатого аристократа, красавца – указывал, в частности, философ Николай Бердяев как на образец, использованный Достоевским при создании Ставрогина [257, с. 102]. Спешнев оказался предтечей Нечаева и одним из первых русских приверженцев аскетической революционной самоотверженности, полной конспиративности и безжалостности к сторонникам действующей власти[86]. По Достоевскому же Нечаев отчасти и сам Петрашевский [279, с. 106]. Оба – «кружковцы», организаторы тайных обществ.

Так Верховенский и Ставрогин оказываются, по замыслу автора, практиками самых разных революционных тактик, ассоциирующихся с несколькими историческими персонами. И, как и в случае с Василием Свиткой / Константином Калиновским из «Кровавого пуфа» Крестовского, герои Достоевского охватывают в той или иной степени всю проблематику нигилистического мировоззрения и событий в истории революционного движения 1860-ых гг. и следующего рубежа десятилетий. Прежде всего – «кружковщина». Ср. «Верховенский успел слепить у нас “пятерку”, наподобие той, которая уже была у него заведена в Москве и еще, как оказалось теперь, в нашем уезде между офицерами [здесь же и тема антироссийской пропаганды

[86] Спешнев взялся планировать революционную организацию по «иезуитской модели» – с монашеской самоотверженностью, тщательной конспирацией и диктатурой [244, с. 6]. Это напоминало тактику итальянских карбонариев (революционное движение 1807-1832, стремившееся к республиканским преобразованиям) и «заговора равных», организованного социалистом-утопистом Гракхом Бабёфом в 1796 году в период Великой французской революции. Спешнев даже сочинил «Обязательную подписку» (договор, который должен был скрепить революционеров). В одном из пунктов сказано: «Я беру на себя обязанность увеличивать силы общества, приобретением обществу новых членов» [259, Ч.1, с. 18]. Конспиративная тактика впоследствии была взята на вооружение С.Г. Нечаевым в конце 1860-ых гг. Примечательно, что Спешнев – предтеча и Нечаева, и монашеской фанатичности русских революционеров – оказался одним из немногих петрашевцев, раскаявшихся во время следствия (всего таких было трое), и единственным, кто «добровольно раскрыл весьма важные обстоятельства дела» [323, с. 1]

среди русской армии][87]. Говорят, тоже была одна у него и в Х–ской губернии[88]» [1, с. 302]. Видим и результаты пропаганды среди студентов: «Я приехала заявить о страданиях несчастных студентов и о возбуждении их повсеместно к протесту...» [1, с. 310] – заявляет студентка-нигилистка, девица Виргинская. И здесь же тема «хождений в народ» (пропаганда среди простонародья): Толкаченко, «ходивший нарочно по кабакам (впрочем, не для одного изучения народного) и щеголявший между нами дурным платьем, смазными сапогами, прищуренно-хитрым видом и народными фразами с завитком» [1, с. 302] (подобно «оборотничеству» Свитки, о чём речь у нас пойдёт в следующей главе). Тут же и мания величия революционеров: Пётр Верховенский создаёт вокруг себя ауру таинственности – пытается казаться «эмиссаром» некого «Центрального комитета», связанного со всеми «кружками», «пятёрками» и, может быть, «десятками» и «сотнями» по России и Европе.

Заметны в Петре и Николае черты и «проклятого скитальца». Оба «больны» нуждой непрерывного движения, у обоих в привычке внезапные появления и такие же исчезновения. Они везде лишь визитёры, даже в своём родном губернском городе. Им и ограничивается масштаб революционной работы обоих, в отличие от того же Василия Свитки из «Кровавого пуфа», действующего почти по всей Империи. И характер поступков того же Верховенского чаще мелкий (если сравнивать со Свиткой). Пётр изображён именно «бесом», а не «демоном», в нём нет высокой трагической патетики, глубокого молчания. Он суетлив, странен, а его первое появление (точнее – приближение) напоминает стук копыт. Напомним: «Раздались скорые приближающиеся шаги, маленькие шаги, чрезвычайно частые; кто-то как будто катился» [1, с. 143]. Гораздо глубже

[87] Это копирует состав общества «петрашевцев». Участие в кружке офицеров (по делу «петрашевцев» приговорены были четверо) повторяло схему тайных обществ времён декабристов, когда восстание без поддержки армии просто не мыслилось.

[88] Аналогично у «петрашевцев». Подготовка «миссионеров» для организации ячеек в других городах и регионах – Москва, Ростов, Тамбов, Сибирь и др. [259, Ч1, с. 15] – свидетельствовала о намерении создать революционную сеть. Также и в нечаевской организации, распространившейся к 1869 году на ближайшие губернские города – Ярославль, Владимир, Нижний-Новгород и др. [184, с. 305].

Ставрогин, и справедливы существующие в литературоведении тезисы о связи его образа с «вампиром» (одним из главных воплощений готического «проклятого скитальца») [165, с. 5]. Есть параллели и с Мельмотом из романа Метьюрина. В подготовительных материалах у Достоевского есть место: «Губернаторша считает его за Мельмота» [279, с. 126].

Зависимость же Ставрогина, его «жажда крови» – испытание границ допустимого. Низвержение табу, законов и даже элементарных правил приличия. Это принцип жизни Ставрогина. Он великий грешник. В этом и выражается его нигилистическое (отрицающее) мировоззрение. Он хватает в клубе за нос одного из почтеннейших членов – Павла Павловича Гаганова, часто приговаривавшего «Нет-с, меня не проведут за нос!» [1, с. 88]; прилюдно целует в губы «в полную сласть» хорошенькую жену Липутина, находясь у него в гостях [1, с. 41] и др. поступки. Но самый страшный свой «подвиг» Ставрогин описал в «исповеди», которую передал на прочтение старцу Тихону (глава «У Тихона», исключённая из первого варианта романа по цензурным соображениям): совращение девочки-подростка Матрёши, и молчаливое приветствие её самоубийства.

А.Б. Криницын отмечал, что фигура Ставрогина создана под влиянием образа Родольфа из романа Эжена Сю «Парижские тайны» (1842): «аристократ ведущий жизнь в притонах, наделённый чудовищной физической силой» [166, с. 213]. Отметим, что в русской готической литературе есть нечто похожее на промежуточные звенья между злодеями из европейской классики «таинственного и ужасного» и героем Достоевского. Своего рода – великие преступники, испытатели границ дозволенного, серийные нарушители табу. Это колдун из «Страшной мести» Гоголя, и Дон Коррадо Де Геррера из романа Гнедича. При этом в современной Достоевскому литературе есть ещё один персонаж, в котором, с одной стороны, совмещены черты Родольфа, а с другой –

мировоззрение «отрицания». Этот герой – Мальдорор из произведения «Песни Мальдорора» (1869) Лотреамона[89].

Рассматривая проблему «от романтизма к нигилизму» культуролог Джеффри Бартон Рассел утверждал, что демонический Мальдорор является вершиной увлечения Дьяволом в литературе XIX века. Идеализация Дьявола оказалась звеном генезиса идеологии «нигилизма». Рассел не затрагивал проблематику русского антинигилистического романа, но выводы исследователя о Мальдороре [201, с. 379-380] схожи с антинигилистической рефлексией в творчестве Ф.М. Достоевского. Мальдорор, безусловно, является крайней степенью нигилизма – циничного отрицания законов государства, морали, презрение к традициям и культуре. Отсюда и лёгкость совершения тяжких преступлений, аморальность которых находится на одном уровне с «сатанизмом». Ставрогин и Мальдорор очень похожи. «Чудовище» Дюкасса почти сверхъестественно сильно физически; и Николай «отличался чрезвычайною физическою силой» [1, с. 35]. Мальдорор склонен к насилию, в том числе сексуального характера. Он насилует и убивает девочку-подростка [30, с. 347-348]. Ставрогин же совращает девочку Матрёшу и даёт ей покончить с собой. А монологическая форма авторского изложения у Дюкасса напоминает рукопись откровений Николая в главе «У Тихона». Говорить о влиянии «Песен…» на «Бесов», конечно, нельзя. Нет никаких данных (и вряд ли они появятся), что Достоевский был знаком с произведением Дюкасса. Но Мальдорор и Ставрогин – художественный продукт одного времени, и, по сути, одного и того же общества, французы также зациклились на революции и на бешеном отрицании прошлого (Франция конца 1860-ых гг. жила в ожидании коммунистического восстания, оно произошло в 1871 г.). И Дюкасс тоже создал своего героя из элементов обширного блока литературы [30, с. 42,43], включавшего и поэзию символистов «проклятого поколения», например –

[89] Изидор Дюкасс (1846-1870)

«Цветы зла» (1857) Шарля Бодлера, и французский бульварный роман, представленный теми же «Парижскими тайнами» Эжена Сю, и, безусловно, готическую литературу.

Глава 3

Мотивы и сюжеты

3.1. Мотивы «таинственного и ужасного» и социально-политический контекст

Социально-политическая трансформация персонажей готики неминуемо влечёт и реинтерпретацию связанных с ними мотивов. Возьмём, к примеру, приглашение в свой дом нечисти. Этот мотив, как правило, сопутствует модели проклятого скитальца (вампиру из одноимённого рассказа Полидори, Варфоломею из «Уединённого домика на Васильевском» и др.). Заменив «нечисть» на «нигилиста», мы получаем студента Кедрова в квартире семьи Емельяновых в «Тайнах современного Петербурга» кн. Мещерского, Петра Верховенского в доме генеральши Ставрогиной (и в других местах), Николая Ставрогина, квартирующего у матери Матрёши, Ардальона Полоярова в доме у Лубянских в «Панурговом стаде» и др. И результат появления этих «социальных демонов» столь же разрушительный, как и нечисти в готических произведениях. Таким образом, готический мотив оказывается адаптированным к социально-политическому контексту времени и получает публицистическое значение. Выражается мысль об опасности и недопустимости присутствия нигилистов в доме, а вместе с тем и нигилизма в обществе, и революционеров в стране.

Мотивная комбинаторика готической литературы довольно сложна. Но имея представление о её основных компонентах, становится ясной и вся логика поэтики «таинственного и ужасного». Центральным, сюжетообразующим, мотивом является «страшная тайна». Её носитель – имморалист-преступник. Стремление злодея во что бы то ни стало сохранить свои секреты (скрыть грехи, преступления, свою тёмную сущность) принуждает его к уединению, замкнутости, закрытости (это ещё три основных мотива). Это определяет и характер локации основного места действия, таинственного и зловещего. Им

может оказаться и старинный замок (как раз отражает мрачное мироощущение трагического властителя), и средневековый монастырь, и даже уединённый хутор, дом, особняк, тёмный лес и т.п. в зависимости от художественной задачи автора. Обособленность места действия предполагает и сложность его пространственной организации (лабиринты, извилистые коридоры, тайные лестницы, комнаты, переходы, подземелья, все возможные укрытия и т.д.), что метафорически отражает сложную психологию готического злодея. И уже в зависимости от модели преступника-имморалиста ему могут сопутствовать комбинации следующих типичных мотивов готики: преследование, заточение, погребение заживо, сумасшествие, скитальчество, предательство, клятвопреступление, введение в заблуждение, богоотступничество, «оборотничество», родовое (семейное) проклятие, смерть (убийство), тайный сговор, договор с нечистой силой, нечисть, испытывающая любовную страсть к человеку, убийство ради наследства или власти, нерассказанная история, самоубийство, подделанное завещание, предзнаменование грядущей катастрофы (страшных событий), явление мертвеца[90], пожар, крушение дома, опустение, нечестивое собрание, уныние и др.

Важно, что готические мотивы в антинигилистической прозе – не фрагментарны. Там есть целые системы и именно в той комбинаторике, какая характерна для классических произведений «таинственного и ужасного». Например, комбинация «преследование – убийство ради наследства или власти – подделанное завещание – явление мертвеца – возмездие – заточение (или добровольный аскетизм)» в романе «Замок Отранто» (1764) Уолпола повторяется в романе Лескова «На ножах» (1870). И в обоих случаях «призрак» (явление мертвеца как центральный мотив) оказывается предвестием грядущей катастрофы, крушения дома. А если мы внимательно рассмотрим комбинацию «богоотступничество – смерть (убийство) матери – нечисть, испытывающая

[90] Отметим, что этот мотив с его древними мифологическими, фольклорными истоками достаточно подробно проанализирован на примере романа «Бесы» в работе С.А. Орловой «Мифо-фольклорный контекст романа Ф.М. Достоевского "Бесы"» (2010)

любовную страсть к человеку» в романе «Монах» (1794) Льюиса и в повести «Уединённый домик на Васильевском» (1828) Титова и Пушкина и в «Упыре» (1841) А.К. Толстого, то увидим, что она в точности воспроизводится в «Тайнах современного Петербурга» (1876) В.П. Мещерского. И в каждом из этих произведений присутствует мотив приглашения в свой дом нечисти. Аналогично и с комбинацией «скитальчество – “оборотничество” – тайный сговор – предательство и клятвопреступление – введение в заблуждение – договор с нечистой силой», присутствующей и в романах «Мельмот Скиталец» (1820) Метьюрина и «Монах» Льюиса (см. образы Матильды, Кровавой монахини, Вечного жида), и в повестях «Страшная месть» (1831) Гоголя и «Ватек» (1782) Бекфорда. Эта комбинация мотивов воспроизводится в «Кровавом пуфе» (1869-1874) Всеволода Крестовского (см. образы Василия Свитки, Константина Хвалынцева). У Крестовского же мы встречаем и мотив пожара (горящего города / огня в городе), присутствующий и в «Монахе», и в «Мельмоте Скитальце».

Появление ожившего мертвеца в мире материалистов-атеистов

Мотив явления мертвеца в романе «На ножах» Лескова выполняет типичные для готической прозы функции: 1) предупреждение о неотвратимости возмездия; 2) непосредственное осуществление возмездия. В готике – это великан-призрак из «Замка Отранто» Уолпола, чудовище из романа «Франкенштейн, или новый Прометей» (1818) Мэри Шелли; в русских готических повестях – восставший из мёртвых рыцарь в «Страшной мести» Гоголя, призрак старухи в «Пиковой даме» (1834) Пушкина, и его же толпа мертвецов в «Гробовщике» (1830) (пусть и в травестийном изображении). У Лескова мотив явления мертвеца связан с образом Глафиры Васильевны Бодростиной (бывшей Акатовой) – жены Михаила Андреевича Бодростина, пожилого предводителя дворянства в одной из губерний. Убийство мужа ради

наследства, задуманное Глафирой, тоже широко распространённый в готической прозе мотив (см. «Замок Отранто», «Удольфские тайны» и др.).

Мертвецы начинают являться Глафире сразу после того, как замысел убить мужа приобрёл черты конкретного плана и стал заговором. Естественная решимость героини организовать убийство базируется на мировоззрении, сформировавшемся у неё во времена жизни в петербургской коммуне нигилистов, и значительный сегмент этой идеологии – «социальный дарвинизм». Ср. «А разве ты уже отменил свое решение прикладывать к практике теорию Дарвина? <…> Глотай других, или иначе тебя самого проглотят другие» [4, с. 87]. И в мир Глафиры-нигилистки, которая «не верила ни в Бога, ни в духовное начало человека» [4, с. 763], вторгается иррациональное. И подобно произведениям готической прозы, мистическое в романе Лескова стремится к восстановлению гармонии, разбалансированной нарушением табу – убийством (пусть даже хронологически ещё не совершённым, а лишь замысленным). «Вчера в сумерки твоя сестра Глафира Васильевна, гуляя по длинной аллее в задней части своего огромного парка в селе Бодростине, встретила лицом к лицу самого его же, Михаила Андреевича, шедшего к ней навстречу с закрытыми глазами и в его кирасирском мундире, которого он не надевал двадцать лет и у которого на этот раз спина была разрезана до самого воротника. Сестра твоя, при всей ее геройской смелости, сробела, закричала и упала в обморок на руки Висленева» [4, с. 230] – сообщает Андрей Подозеров в письме Григорию Акатову (брату Глафиры). «Сумерки», «аллея», «парк» – складываются в готический пейзаж[91]. Но явление мертвеца у Лескова имеет особенность, призрака видит не только преступница (будущая убийца), но и другие персонажи, среди них – глухонемая нездоровая умом девочка Вера (имя-символ). Её спросили, куда пошёл Михаил Андреевича, она ответила «повсюду». То есть, слился с

[91] И даже в «сентименталистский» пейзаж. Готика и сентиментализм хронологически и поэтически близки и порой являли синтез, см. романы Анны Радклиф, повести «Остров Борнгольм» и «Сиерра-Морена» Крамзина и др., где «чувственность» оттеняет доминирующее «таинственное и ужасное»

окружающим миром, природой. Призрак оповестил всех о предначертанной гибели Бодростина.

«Мистическое» быстро разрушает мировоззренческие основы нигилизма. «Демонесса» обращается к спиритизму. В Париже она посещает знаменитого Алана Кардека. «[Глафира] давно освоилась со всеми прибывающими медиумами, видящими, слышащими, пишущими, рисующими или говорящими, со всеми философами, убежденными в истине спиритской системы, но ничего необыкновенным путем не видящих, не слышащих и не говорящих» [4, с. 484]. И сама Глафира ничего не слышала, но развила в себе мистический страх. В ночь, когда происходит убийство старика Бодростина, героиня, находясь дома, не может избавиться от чувства тревоги, зловещего предчувствия – чьё-то незримое присутствие ощущает она рядом с собой: «кто-то куда-то зовет, кто-то о чем-то спрашивает, кто-то перешептывается на ее счет, и то вблизи тихо смеется, то где-то далеко заливается громким зловещим хохотом» [4, с. 763]. Типичный для готики мотив сумасшествия / экзальтированности / помутнения разума: «ей надоедало, что чуть только она хоть на минуту остается одна, как сейчас же начинает чувствовать у себя за спиной какое-то беззвучное шмыганье, какое-то сильное и плавное движение каких-то теней» [4 с. 763]. Глафира видит монаха на пороге своей комнаты, это происходит примерно в тоже время, когда убили Бодростина. «Помолиться о душе» – объясняет монах цель своего прибытия, «при этом ужасно кривляя лицом» [4 с. 718]. Но героине кажется, что это не монах, а убийца, и что был это покойный Водопьянов, недавно погубленный вместо Бодростина (по ошибке) Висленевым. Мотив явления мертвеца начинает доминировать. Глафира видит мертвецов повсюду. И когда сектанты-крестьяне вносят в дом труп Бодростина, она боится мертвеца, как живого, будто он вот-вот заговорит и разоблачит её. Мертвец будто знал, кто стоит за всем этим, но хранил страшную тайну: «Руки мертвеца окостенели обе в напряженном положении; точно он на кого-то указывал <…> труп имел правый глаз остолбенелый, с открытыми веками, а левый – прищуренный, точно подсматривающий и подкарауливающий» [4, с. 720]. И страх Глафиры не был

суеверным, это было ощущение «почти сознательной и неотразимой естественной опасности» [4, с. 763].

Сцена вноса в дом мёртвого Бодростина схожа со сценой возвращения после смертного сна демонического графа Б*** в повести «Косморама» кн. Владимира Одоевского: «на конце тёмного коридора я увидел толпу людей: эта толпа приближалась… в оцепенении я прижался к стене <…> Это был он! Он! Я видел, как толпа частию вела, частию несла его; я видел его бледное лицо, я видел его впалые глаза, с которых ещё не сбежал сон смертный <…> крики радости, изумления, ужаса <…> прерывистые рассказы о том, как он поднялся из гроба <…> это было не видение, но действительность! Мёртвый возвращался нарушить счастье живых» [58, с. 267]. В данном случае явление мертвеца у Одоевского и Лескова выполняет функцию возмездия. Оба «покойных» прошли через насильственную смерть.

Кульминацией романа становится момент, когда труп Бодростина заставляет Глафиру сознаться: «Это не я! Это он!» – кричит героиня, указывая на Горданова, и падает без чувств, когда «мертвец пред глазами всех собравшихся в церкви людей раскинул наотмашь руки» (развязался платок, державший вместе окоченевшие руки). «На ней [Глафире] оправдывались слова Альберта Великого, что на свете нет человека, совсем недоступного страху сверхъестественного» [4, с. 763]. Явлением мертвеца Лесков объединил в романе мир реального (материального) и мистического (сверхъестественного).

Иную реализацию явления мертвеца мы встречаем в повести «Фатальная жертва» Дьякова. В грязном и пахучем жилище Трутнева (кружкового лидера в швейцарской русской библиотеке революционеров-эмигрантов) висит «красное знамя» – лоскут красной тряпки, болтающийся с потолка. Это был обрывок знамени, под которым рабочие-социалисты, «товарищи», пировали во времена Парижской коммуны 1871 года на баррикадах, «у семи быков». И когда «версальцы» (новое правительство Франции, расположившееся в Версале) вошли в Париж и начали расправляться с «коммунистами» от баррикады к баррикаде, всех товарищей Трутнева убили. И вот тогда один из убитых воскрес

и явился к нему, чтобы вручить кусок красного знамени как достойному и верному хранителю революционных традиций [8, с. 92]. Ср. у Нечаева в прокламации «Русским студентам» (1970): «Следуйте слову первого революционного агитатора Христа: “Не мечите бисера перед свиньями!”. Не пробуйте больше будить словом истины этот доживающий свой век дряхлый мир. Гибель его неизбежна! Будем содействовать ей» [316, с. 173]. Таким образом, в атеистическом мировоззрении нигилистов, как и у героя Дьякова, обнаруживалась совершенно христианская парадигма – мотивы мученичества, воскрешения, священной материи (своего рода плащаницы). И «мертвец-коммунист» не вершитель возмездия или носитель страшного предзнаменования, он восстанавливает справедливость – воздаёт заслуженное, но не в форме наказания, а поощрения.

Образ Христа не давал покоя и другим революционерам, например, народовольцам. В письме к Александру III, сразу после убийства его отца, террористы написали (кроме всего прочего): «крестная смерть Спасителя не спасла развратившийся античный мир от торжества реформирующего христианства» [259, Ч.1, с. 174]. Так они проводили мысль о необходимости переустройства России на социалистических началах. А во времена якобинского террора во Франции в 1792-1793 гг. возник целый культ революционных «мучеников свободы», перенявший христианскую традицию. В число мучеников попали Марат, Лепельтье, Шалье и др. [133, с. 97]. Так ни в XVIII, ни в XIX вв. революционерам не удавалось преодолеть христианское мышление с его основными концепциями – воскрешение, спасение, мученичество, царствие небесное (ставшее благоприятной основой для «светлого будущего») и др.

«Нечестивое сборище» (шабаш) и собрание нигилистов-революционеров[92]

Для изображения швейцарских кружков в «Фатальной жертве» (1876) Дьяков использовал модель ведьмовского шабаша (готический мотив нечестивого сборища). Сюжет и комбинация мотивов произведения Дьякова схожи с «Киевскими ведьмами» (1833) О.М. Сомова. Кружок в «Фатальной жертве» описан таким образом, чтобы вызвать у читателя те же эмоции, какие возникли у главного героя «Киевских ведьм» когда он впервые увидел сборище на Лысой горе: «Что там увидел наш удалой казак, того, верно, кроме его ни одному православному христианину не доводилось видеть; да и не приведи бог! И страх, и смех пронимали его попеременно: так ужасно, так уродливо было сборище на Лысой горе!» [74, с. 82].

В повести Дьякова мы видим точное воспроизведение структуры шабаша. Собравшийся кружок русской библиотеки – место уединённое, его пространство – тесное и замкнутое. Сам город, обозначенный как «***», находится в швейцарских горах. Здесь мы замечаем и мотивы тайного общества (по крайней мере, такая атмосфера создаётся «кружковцами») и изолированности – типичные для готической прозы. В центре «шабаша» – сидит «идол». Ср. «Ими [русскими деятелями революционно-нигилистического движения – прим. А.Е.] были заняты все троны идольские, все диктаторские места. Им поклонялись <…> им приносили жертвы, их доводили до беззаветного пресыщения, до потери речи, до таинственного мычания и вращения белков. Эти раскормленные боги кружка резко выделялись из толпы. В присутствии поклонников и поклонниц они не сидели, а лежали, мрачно поводили глазами» [8, с. 58], «Всклоченные, неряшливо запущенные, поросшие дремучей растительностью, закопчённые табачным дымом» [8, с. 58]. «Пещерные» черты внешности «идола»

[92] В этом параграфе использован материал нашей статьи «Повесть “Фатальная жертва” А.А. Дьякова (А. Незлобина) и мотив “нечестивого собрания”» // Litera. 2020. № 3. С. 34–40

соответствуют типичному для нигилизма антиэстетизму / антиаристократизму. В приведённом фрагменте наблюдается целый комплекс мотивов, связанных с ведьмовским шабашем, с сатанинской чёрной мессой. Это и жертвоприношение, и поклонение лжебогу, и таинственные неразборчивые колдовские речи («таинственное мычание»). Вокруг «кружковского идола» происходит действо разномастной толпы: «поддёвки, блузы, красные рубахи, косматые гривы, в которых обитали представители всех царств природы, траурные девицы в очках, лоскутья книжек, газет рукописей – всё это мелькало, гомонило, чадило…» [8, с. 56]. «Кружковые пророки», «густые волны табачного дыма», «чудовищные зубы изумительной белизны» – акцентирует Дьяков внимание на деталях.

Теперь обратимся к повести Сомова как русскому образцу готико-романтического изображения шабаша: «На самой верхушке горы было гладкое место, черное как уголь и голое как безволосая голова старого деда. От этого и гора прозвана была Лысою. Посреди площадки стояли подмостки <…> На них сидел пребольшой медведь с двойною обезьяньею мордой, козлиными рогами, змеиным хвостом, ежовою щетиной по всему телу, с руками остова и кошачьими когтями на пальцах. Вокруг него, поодаль от площадки кипел целый базар ведьм, колдунов, упырей, оборотней, леших, водяных, домовых и всяких чуд невиданных и неслыханных <…> дряхлые ведьмы верхом на метлах, лопатах и ухватах чинно и важно, как знатные паньи, танцевали польской с седыми, безобразными колдунами, из которых иной от старости гнулся в дугу, у другого нос перегибался через губы и цеплялся за подбородок, у третьего по краям рта торчали остальные два клыка» [74, с. 83] (те же детали, что и в повести Дьякова).

Изображая именно «нечестивое сборище», Дьяков объединил большинство тем антинигилистической полемики в рамках одного произведения, и в уродливых формах изобразил проявление идеологии нигилизма. «Вам бы, медамочки, на выставку скотоводства… медаль дадут» – оценивает «идол» молодых грузинских аристократок, увлёкшихся идеями «кружка»…» [8, с. 57]. Ср. со словами Евгения Базарова об Одинцовой: «богатое тело» и *«хоть сейчас в анатомический театр»*. Таким образом, «человеческое» срастается с

«животным» и появляется что-то среднее, что-то чудовищное. А о кружковских мужчинах, отвергших предрассудки брака и способствующих решению «женского вопроса», Дьяков пишет, что они жили «преуспевая в благонадёжности и предоставляя жёнам разрешать вопрос с кем угодно» [8, с. 58]. Но социальный дарвинизм в «Фатальной жертве» выражается и в том, как «идолы» относятся к представителям низшей иерархии «кружка», к беззаветным «полезным идиотам» – жертвенным демократам-отщепенцам. «Их революция привлекает как единственный источник питания. Их-то больше всего и эксплуатируют, из них-то и готовят “фатальные жертвы”, которые шествуют в народ, в тюрьму, на скамью подсудимых, на каторгу» [8, с. 60]; «Эти так и говорят о себе ”Мы – удобрение, мы – навоз!”» [8, с. 60]. И снова мы видим подмену «человеческого» чем-то чуждым, в данном случае – человек представляется как пища (а это уже аспект человеческого жертвоприношения, т.е. «сатанизм»). Это близко радикально-политическому взгляду на человека как на материал для революционной борьбы, а также преследованию изменников: «несогласных они величали шпионами и заносили в особую книжечку» [8, с. 59].

Но главный аспект жизни зарубежных нигилистических коммун и кружков, на котором Дьяков акцентирует внимание – трудовая и половая эксплуатация женщины под видом «освобождения». Вокруг этой темы и выстраивается сюжет «Фатальной жертвы». И вместе с мотивом нечестивого сборища присутствует и мотив непрошенного гостя в нечестивом сборище, и он же, кстати, является сюжетообразующим и в повести «Киевские ведьмы». Казак Фёдор Блиславка узнаёт, что его жена Катруся и её мать старуха Ланцюжиха – ведьмы. В одну из ночей герою удаётся попасть на Лысую гору. Фёдор следует туда за своей женой. Но там его замечают и предают смерти: Катруся высасывает кровь мужа. А в «Фатальной жертве» в нечестивое сборище нигилистов вслед за своим женихом Петром Дерновым входит Ольга Бровская. И ей не рады, она замечает это во взглядах «кружковских барышень», она непрошенный гость. Пётр давно уже отошёл от «кружковщины» и занимает в одном из провинциальных университетов место доцента. Дернов хорошо знает «кружковского идола»

Трутнева (подразумевается Бакунин), которому соответствует типичная характеристика «божка», «деспота»: «Отрицая науку и мораль, он завоёвывал себе право тунеядства. Проповедуя общий труд, он не хотел учиться труду, а примазывался в нахлебники к состоятельным хлыщам и ”бабам”, строчил на их счёт программы да брошюрочки и этими же брошюрочками их убивал» [8, с. 71-72]. При этом Трутнев осознаёт, что толкал на гибель наивных нигилистов-революционеров, губил их души, но смелости закончить свою жизнь самоубийством ему не хватает, но он об этом подумывает (ср. вампиры – ожившие самоубийцы). Жилище Трутнева, его «идольское капище» – «грязно, мрачно и пахуче» [8, с. 92]. Типичные демонические знаки, если по Н.Н. Старыгиной [219].

Когда на Ольгу Бровскую обращает внимание богатый щёголь Склянцев, один из тех, которые захаживают в кружок за «нигилисточками» (тема свободных половых отношений между мужчиной и женщиной), Трутнев говорит Склянцеву, что может «добыть» для него Ольгу, но за 5000 франков (якобы на «общее дело»). В итоге «развивающих» бесед «идол» обращает девушку в нигилистическую веру, заражает её кружковскими идеями. Помолвка с Дерновым разрывается. Молодой человек чувствует вину, его попытка похвастаться знакомством с «прогрессивными кругами» закончилась потерей невесты. Трутнев, довершая свой замысел, внушает Ольге: «Эксплуатируйте свою красоту. Вы скажете: это разврат… Вздор! Самое честное самопожертвование в пользу дела… Гражданский подвиг, геройство…» [8, с. 117]. Появляется сюжет «ведомого грешника».

Напомним, что в аналогичную ситуацию попадает и Глафира Акатова в романе Лескова «На ножах»: её подложили под богатого Бодростина, чтобы пустить добытые деньги тоже на «общее дело».

Ольга Бровская соглашается воспользоваться своим, по выражению Трутнева, «природным капиталом». «Есть дурак, влюбился в вас. Вот и пользуйтесь на общее благо» [8, с. 146] – убедил «идол». Но после этого для Ольги кружковая жизнь становится невыносимой, она осознаёт ошибку, впадает

в отчаяние и поступает так, как поступали многие девицы, оказавшиеся в её положении: заканчивает жизнь самоубийством – стреляется. А самоубийство – распространённый мотив в антинигилистической литературе. Самые явные примеры – Матрёша и Николай Ставрогин из «Бесов».

Мотив нечестивого сборища и четы ведьмовского шабаша есть практически во всех антинигилистических произведениях, где изображаются «сходки» нигилистов-революционеров, -эмигрантов, польских заговорщиков и т.п. Это и «Наши» из «Бесов», это и собрания польско-литовских подпольщиков в романе «Панургово стадо», аналогично и в романе «Две силы»: подземные сходки повстанцев (тайные посвящения в палачи в склепах и катакомбах Варшавы) и само польское войско, спрятанное в дремучих лесах, недалеко от старого родового замка графов Мажрецких (хрестоматийное место действия в готической прозе).

«Оборотничество» и агитационно-пропагандистская работа польско-литовских агентов[93]

Мотив «оборотничества» – перевоплощение, смена лица, трансформация облика – типичен для готической прозы и произведений с сильной рецепцией «таинственного и ужасного». Вспомним, как колдун из повести «Страшная месть» Гоголя перевоплощался на свадьбе в молодого казака. Или хрестоматийный пример из готической классики – романа «Монах» Льюиса, где Сатана приказывает «мелкому, но ловкому» бесу принять облик прекрасной Мадонны и проникнуть в монастырь под видом монаха, чтобы совратить и погубить «святого» Амбросио [47, с. 339]. По такому же принципу действует и Василий Свитка в дилогии «Кровавый пуф» Крестовского – перевоплощается,

[93] В этом параграфе использованы материалы нашей статьи «Дилогия В.В. Крестовского «Кровавый пуф» (Константин Калиновский как «проклятый скиталец»)» // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 2021. No 4. С. 99–107

чтобы «совращать»: агитировать, переманивать, вводить в заблуждение, манипулировать. Ср. «У этого человека есть несколько имен, между прочим и имя Свитки; но кто он такой в сущности и как его подлинное имя – это мне известно столько же, сколько тебе» [3, с. 557] – рассказывает Константин Хвалынцев, одна из жертв Свитки.

Но «оборотничество» революционеров было не только «литературным», а вполне реальным методом конспирации, проповедуемым самыми беспринципными практиками революционной борьбы. В «Катехизисе» (1869) С.Г. Нечаева написано: «С целью беспощадного разрушения революционер может и даже часто должен жить в обществе, притворяясь совсем не тем, что он есть. Революционер должен проникать повсюду»; «С государственными честолюбцами и либералами можно конспирировать по их программам, делая вид, что слепо следуешь за ними, а между тем прибрать их в руки, овладеть их тайниками, скомпрометировать их донельзя, так чтобы возврат для них был невозможен, и их руками мутить государство» [232, с. 37].

Литературный Свитка, «родившийся» в тот же год, что и текст Нечаева с его постулатами, придерживается тех же взглядов и методов в своей борьбе против Российской Империи. При этом самое близкое, когда Крестовский мог серьёзно ознакомиться с пунктами «Катехизиса революционера» и деятельностью «Народной расправы», это 1871 год, тогда в Санкт-Петербурге и рассматривалось дело «нечаевцев». Но, судя по всему, и без материалов судебного процесса российская общественность имела достаточно ясное представление о методах революционеров-нигилистов, что и отразилось в «Кровавом пуфе».

«Проклятый скиталец» Крестовского известен и под именем Францишека Пожондковського, а в итоге он оказывается самим Константином Калиновским, личностью исторически подлинной. Калиновский, польско-литовский повстанец, один из лидеров польского восстания 1863-1864 года, тоже имел несколько имён. Его называли и Кастусем, сам же он обычно представлялся

Викентием, а в период Польского восстания 1863-1864 гг. действовал как Константин (Констант*ы*н) [128, с. 82-83].

Крестовский постоянно акцентирует внимание читателя на перевоплощениях Свитки / Калиновского. Сравним с «обротничеством» колдуна из «Страшной мести» Гоголя: «Пан Данило стал вглядываться и не заметил уже на нем красного жупана; вместо того показались на нем широкие шаровары, какие носят турки; за поясом пистолеты; на голове какая-то чудная шапка, исписанная вся не русскою и не польскою грамотою. Глянул в лицо – и лицо стало переменяться: нос вытянулся и повиснул над губами; рот в минуту раздался до ушей; зуб выглянул изо рта, нагнулся на сторону» [22, с. 257].

Переодеваясь, Свитка тоже меняет не просто внешность, а сословную принадлежность и даже национальность. Так он входит в доверие к другим персонажам. «Василий Свитка, из хохлов» [3, с. 87] – представляется он гимназисту Шишкину, будущей жертве своих интриг. При этом сам «проклятый скиталец» происходит из Литвы: «[Свитка] сделался как-то слащавее, сентиментальнее, словно этот воздух и природа умаслили и размягчили его душу. О всем литовском он говорил и вспоминал не иначе как с похвалой и неким сладостным умилением. Чувство родины…» [3, с. 298]. В Славнобубенске (Казань) Свитка предстаёт в обличии мещанина: «…в костюме совершенно безвыразительном, обыденно-сероватом, но вполне приличном <…> ничем не отличался от тысячи городских костюмов, встречаемых на каждом шагу»; «по делам зятя» [3, с. 86] – объясняет «проклятый скиталец» своё нахождение в городе. Но никакого зятя у него нет, Калиновскому не более двадцати пяти лет. Профессиональная принадлежность тоже неопределима. Он выдаёт себя и за студента, и за торговца (представителя неких предприятий). А в деревне Жегуля у Волги «скиталец» предстаёт перед селянами в образе крестьянина и оказывается неплохим артистом: «Свитка достал из котомки гармонику и заиграл на ней развеселую песню» [3, с. 106].

Свитка и его помощник Шишкин распространяют среди селян «золотые грамоты» – подложный Манифест об освобождении, утверждающий волю полную и права на землю абсолютные (подробнее об этом ниже).

В Петербурге же на фоне страшных майских пожаров 1862 года Свитка внешне напоминает студента, либо представителя мелкой аристократии: «против обыкновения, щеголял теперь в не в чамарке, а в обыкновенном пиджаке» [3, с. 277]. А в Литве в доме пана Котырло герой Крестовского уже председательствует среди панства и отрекомендовывает себя так: «позвольте мне рекомендовать себя пред вами: я послан от Петербургского Центра с некоторыми поручениями, с которыми буду иметь честь познакомить вас» [3, с. 339]. Но в лесах Польши, в родовом замке графов Маржецких (вначале восстания), «проклятый скиталец» появляется в партикулярном костюме: «Я в качестве гражданского делегата, на случай движения в Литву, так как я собственно принадлежу к организации Литовского Отдела» [3 с. 506]. «Оборотничество» присуще и остальным польско-литовским агентам и вооружённым повстанцам «Кровавого пуфа» – Пшецыньскому, Подвиляньскому, ксендзу Робаку и др.

Вербовка как договор с нечистой силой

«Оборотничество» Василия Свитки связано со свойственными готической прозе мотивами лжи (введения в заблуждение), тайного сговора, и, прежде всего – договора с нечистой силой, что сближает героя Крестовского с «демоном-искусителем» (ср. Матильда из «Монаха» Льюиса, Басаврюк из «Вечера на кануне Ивана Купалы» Гоголя, таинственный незнакомец в «Страшном гадании» Бестужева-Марлинского и др.).

«Договор с нечистой силой» у Крестовского – это попадание того или иного персонажа в путы интриг, устроенных революционерами, относящимися к человеку просто как к материалу. Одним из главных приёмов Свитки является лесть. «Имел удовольствие слышать вас на публичном чтении, <…> Ваше

дарование... это, знаете, ведь надо особое искусство уметь читать... Вы им вполне обладаете» [3, с. 86-87] – говорит искуситель доверчивому бывшему гимназисту Ивану Шишкину, выгнанному из учебного заведения из-за шалости, спровоцированной польскими подстрекателями. На публичном вечере его подтолкнули рассказать хулительное стихотворение «Орёл», высмеивающее государственный герб. Так была подготовлена встреча юноши с «демоном-искусителем». «Да вы уже представлены: вас знают там [в организации]. Разве без этого решились бы выбрать вас?» [3, с. 89] – отвечает Свитка на просьбу Шишкина представить его другим членам тайного общества. И Крестовский подчёркивает: «Этот ответ польстил самолюбию экс-гимназиста». Когда сознание мальчика окутывается романтикой тайн и заговоров, образами благородных революционеров, сражающихся за свободу, он заявляет «демону-искусителю»: «Я ваш – и душой и телом!» [3, с. 89]. Договор с нечистой силой состоялся, душа продана. Напомним, что тот же приём «романтизации» Свитка использует и для вербовки Константина Хвалынцева[94].

Этот способ агитации не был выдуман Крестовским. Поэтика таинственного действительно использовалась агитаторами для вербовки молодых сторонников. Создавалась атмосфера заговора, риска, героизма. Это давало мальчишкам заряд энтузиазма, делало их инициативными. Молодые революционеры охотнее шили на преступления, совершали теракты [122, с. 243].

[94] Аналогично было и со студентами. Герцен, укрепившийся в убеждении, что революция не за горами и напечатавший в 1861 году в «Колоколе» целую серию материалов о событиях в вузах страны (См. «Гонение на университеты», «Киевский университет и Н.И. Пирогов», «Генерал Филипсон попечителем Петербургского университета», «За что Путятин?», «Петербургский университет закрыт!», «Исполин просыпается!», «Преображенская рота и студенты», «Оскорбление бедности и подлая месть» и др.), проговорился в публикации «Исполин просыпается!» о том, что прежде оставалось в тени декларируемых революционером целей и задач: «В народ! к народу! – вот ваше место, изгнанники науки, покажите этим Бистромам, что из вас выйдут не подьячие, а воины, но не безродные наёмники, а воины народа русского!» [267, с. 175]. То есть, нужно было замкнуть молодые жизни на служении революционной мечте (мечте Герцена, Огарёва, Бакунина, Чернышевского и проч.), в этом смысл этих герценовских строк

Первым подвигом Шишкина (в итоге и приведшим его к гибели – к каторге) становится подстрекание мужиков поволжских деревень к бунту: «Станем мужичкам православным золотые грамоты казать» [3, с. 90] – говорит Свитка своему ученику о предстоящей пропагандистской работе. Здесь Крестовский затрагивает и тему начинающихся «хождений в народ». Пропагандисты убеждают простонародье, что воля (Манифест от 19 февраля) дана абсолютная, но помещики это скрывают, поэтому нужно подниматься. И волю дал не царь, а Наполеон: «Напольён с тем только и мировую подписал [речь о Крымской войне] с нашим государем, чтобы мужичкам беспременно волю дать, а коли не дашь, говорит, так будем опять воевать, и всё ваше царство завоюем» [3, с. 107]. Внушалось, что даже «освобождение» не от русского Императора. Крестовский показывал стремление «поджигателей» дискредитировать российское государство полностью.

Заметим, что исторически пропаганда такого рода действительно велась. В ходе дела «ишутинцев» в 1866 году было выяснено, что русские революционеры при поддержке польских пытались поднять восстание на Волге, но не в 1861 году (как в романе Крестовского), а в 1864-1865 гг. Вести агитацию в этом регионе было удобно благодаря хорошему пароходному сообщению. В то же время распространялся и ложный Манифест. За эту пропаганду даже был расстрелян в Казани в 1865 году офицер Максим Черняк [259, Ч.1, с. 86; 259, Ч.2, с. 63, 66]. А что касается Наполеона III и его якобы влияния на намерение Александра II освободить крестьян, то такие слухи действительно ходили, и, прежде всего, не среди простонародья, а помещиков. П.Н. Милюков писал: «Слова манифеста 19 марта 1856 г., изданного по поводу заключения парижского мира [по итогам Крымской войны], о законах, равно для всех справедливых, всем равно покровительствующих, возбудили тревогу в дворянстве: ходили даже слухи, что в секретном договоре с Францией государь обязался освободить крестьян» [185, с. 702]. Приём же «подделывания» под простонародный говор и привычки, продемонстрированный Крестовским, был отработан ещё в 1861 году Чернышевским в прокламации «К барским крестьянам». На протяжении всего

текста встречаются такие слова и выражения, как «супротив», «по-ихнему», «по-иностранному», «нонешние порядки», «нонче», «покудово» и т.д. Там же Чернышевский занимается идеализацией Запада и конкретных геополитических противников Российской империи: Великобритании, Франции. О лжи, поразившей общество и ставшей принципом достижения целей, рассуждали многие современники «нигилизма». В частности, профессор Московского университета, доктор богословия Иванцов-Платонов писал: «у нас так сильно распространяется ложь в последнее время, ложь, извращающая все здоровые стремления, подтачивающая все живые силы общественного организма, – ложь, отрицающая веру, закон, порядок, семейную, общественную и государственную жизнь» [232, с. 3-4].

В Петербурге Свитка «подогревает» взволновавшееся студенчество[95]: «А молодцы матрикулисты! ей-Богу молодцы! <…> Собрали сходку и торжественно изорвали свои матрикулы... Это факт утешительный!» [3, с. 145]. И сетует, когда молодые люди разбегаются при виде войск: «Ах, трусы, трусы! – злобно и презрительно ворчал себе сквозь зубы; – и тут постоять за себя не могут!.. А для довершения эффекта хорошо, кабы разик горошком хватили, – подумал он; последствия, даст Бог, были бы добрые... поднялось бы скорей» [3, с. 132]. Разжигателям революции хотелось, чтобы демонстрация закончилась расстрелом толпы, что стало бы поводом для мобилизации массового протеста.

Характерно, что Свитка, подобно демоническим персонажам готики, не хочет пачкать руки сам, его задача – завладеть «душой». Поэтому на петербургском пожаре его возмущают подозрения в причастности поляков к

[95] Студенческие кружки и коммуны становились настоящими рассадниками революционной пропаганды, а в некоторых городах, например, в Киеве и Одессе, даже служили школами для агитаторов. Контингент был самым подходящим для социалистической пропаганды. Ведь «общежития» образовывались вынужденно, с целью сбережения и без того скудных средств к существованию. Создавались общие кассы, столовые, нанимались квартиры. А.П. Мальшинский писал: «Прежде всего они [учреждения взаимопомощи] вызываются крайне бедственным положением большинства воспитанников высших учебных заведений, поставленных в необходимость жить группами, кружками, для соблюдения экономии расходов» [182, с. 222]

поджогам: «<…> у них пока еще, слава Богу, есть другие средства борьбы; а на это дело и из своих, из русских, найдется достаточно героев» [3, с. 277].

Примерами использования мотива договора с нечистой силой также являются и линии взаимоотношений «наших» и Петра Верховенского в «Бесах», Глафиры и Горданова, Ольги Бровской и Трутнева в «Фатальной жертве» и др.

Нерассказанная история и «погребённые заживо»[96]

Для эффекта документальности, историчности авторы готической прозы включали в свои произведения цитаты и обрывки из писем, историографий, данные древних документов (часто мнимых) и т.п. А для усиления интриги речи готических персонажей наполнялись недомолвками, намёками, многозначными и таинственными фразами. Но «нерассказанная история» предполагает буквальное оставление за рамками повествования событий, ставших причиной развития того или иного сюжета. Мы встречаем этот мотив в повести Карамзина «Остров Борнгольм»: «Мы сели под деревом, и старец рассказал мне ужаснейшую историю – историю, которой вы теперь не услышите, друзья мои; она остаётся до другого времени» [33, с. 118]. Этим эпизодом повесть завершается. Герой-повествователь узнаёт «тайну страшную!» гревзендского незнакомца, но содержание оказывается за рамками повествования. Литературоведению известно, что речь идёт об «инцесте», любовной связи между братом и сестрой [105, с. 90].

Повесть Дьякова «Из записок социал-демократа» тоже заканчивается «нерассказанной историей». Это произведение в принципе связано с контекстами и проблематикой Н.М. Карамзина. Великий русский сентименталист даже упоминается в произведении Дьякова: «По середине возвышались два огромные камня, образовавшие ворота. Под одним из них

[96] В этом параграфе использованы материалы нашей статьи: «Мотивы прозы Н.М. Карамзина в повести А.А. Дьякова “Из записок социал-демократа”» // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2021. Том 80. №2. С 47-52

когда-то сидел Карамзин» [7, с. 48] – описывается Рейнский водопад в Швейцарии, который Николай Михайлович упоминает в своих «Письмах русского путешественника». Именно там Вера Чужаева, героиня повести Дьякова, решается на откровенный разговор со своим другом Жерновым (он и есть «социал-демократ»): «Теперь ты подумай, мой милый, должна ли я быть твоею женой, – говорила мне Вера, рассказав свою историю, грустную и страшную историю» [7, с. 53]. Аналогия с финалом «Острова Борнгольма» – очевидна. Читателю даются лишь намеки на прошлое Веры: «Я любила… Я так хотела… Я много страдала… Должна была оставить Россию» [7, с. 54].

Но Дьяков оставил подсказки, позволяющие понять, что причиной бегства Веры из России в Швейцарию стала внебрачная беременность. Жернов наблюдает в кружке эмигрантов-революционеров две сцены, которые, по всей видимости, являются проекцией произошедшего с Верой в прошлом, хоть и не связаны конкретно с её судьбой. Первое, на что обращает внимание герой, это неприличное поведение девочки-нигилистки в кружке революционеров: «Одна из женщин была поразительно молода, сущий ребёнок; она усерднее всех рисовалась цинизмом, поднимала подол, чтобы юбками вытереть стол, залитый пивом, и нахально улыбалась, обводя глазами своих собеседников и разбрасывая им на колени свои детские ноги» [7, с. 31]. Тут мы наблюдаем не только типичный для русского нигилизма «антиаристократизм» и «антиэстетизм» в поведении, но и встречаем мотив «развращённого ребёнка», распространённый в антинигилистической литературе. Например – Матрёша из «Бесов» Ф.М. Достоевского, которая, поддавшись соблазну, бросилась покрывать поцелуями Ставрогина [2, с. 16]. Мотив «развращённого ребёнка» в антинигилистической полемике сопутствует теме свободных, ничем не ограниченных отношений между мужчиной и женщиной, отношений «натуральных», «без предрассудков».

Вторая сцена, свидетелем которой становится Жернов – «суд» над кружковцем Фингаловым, развратившим гражданку Лебедеву. «Я требую, чтобы Фингалов со мной повенчался» [7, с. 33] – взывает Лебедева к «вождям» кружка. «Я… я беременна; требую этого для ребёнка», «Я увлеклась господином

Фингаловым во имя общей работы, во имя тех идей, которыми все мы прельщаемся, на которых все мы обманываемся». Но революционеры осмеивают Лебедеву. В кружке отрицается институт брака, он считается предрассудком. А кроме этого, выясняется, что у Фингалова в России есть жена и трое детей, поэтому он не может сочетаться с Лебедевой законным браком. Дьяков проводит мысль, что на нигилистических идеях рушатся семьи: мужья уходят на «общее дело» от жён и маленьких детей, уходят и жёны из семей (например, Врагина из повести Дьякова «В народ!»). Как и для Лебедевой, связь Веры Чужаевой с «кружковщиной» оборачивается сломанной жизнью: она в скитальчестве, на чужбине, в одиночестве. Чужаева оказывается в одном ряду с такими героинями антинигилистической прозы, как Нюта Лубянская из «Панургова стада», Глафира Акатова из романа «На ножах», Ольга Бровская из повести «Фатальная жертва» и др.

Положение Чужаевой в Швейцарии сопровождено мотивами, соответствующими «таинственному и ужасному»: изгнание, заточение, страшная тайна. Если у Карамзина в «Острове Борнгольме» герой-повествователь обнаруживает запертую в подземелье Лилу, дочь старого хозяина замка, то у Дьякова герой-повествователь находит Веру Чужаеву, вынужденную затворницу, привезенную матерью-старухой на чужбину. Как мы видим, в обоих случаях вершителем судьбы выступает родитель. Пожилая мать героини изображена в тонах готической «Пиковой дамы» Пушкина: «Старуха глядела сурово, даже зло. Из бесчисленных морщин, покрывавших во всех направлениях лицо ее, с какою-то холодною, неподвижною жестокостью глядели сухие, выцветшие глаза <…> на тонких вдавленных губах бродила не улыбка, а скорее судорога <…> Одета она была в черное платье с талией, и как-то особенно неприглядно глядела ее костлявая тощая фигура» [7, с. 24-25]. Но в отличие от большинства сюжетов антинигилистической прозы, приход нигилиста в дом Чужаевых не оборачивается гибелью для семьи. Ко времени визита Жернов уже начал дистанцироваться от кружков русских революционеров. А тайна Веры и вовсе отворотила его от «товарищей» и их

сомнительных идеалов. Таким образом, пройдя через разобщённый и «перевёрнутый» мир – «мир нигилизма», интерпретированный в ключе «таинственного и ужасного» – герои приходят к браку, христианскому идеалу единения между мужчиной и женщиной.

Мотивы заточения, погребения заживо, столь типичные для готической прозы и для прозы антинигилистической, в основе своей имеют архетип могилы, и связанные с ней древние страхи. Погребёнными заживо (т.е. сокрытыми под землёй и забытыми) оказались и Антония и Агнесса в романе «Монах», и Лила в «Острове Борнгольме», и проклятые халифы с эмирами в «Ватеке» и мн. др. Зачастую с этим мотивом связана и ситуация спрятанной жены (тем более спрятанной в подвале, «подземелье»). У Николая Ставрогина в «Бесах» есть две страшные тайны (центральный готический мотив, сопутствующий этому герою). Первая – совращение девочки-подроста Матрёши и молчаливое одобрение её самоубийства; второе – спрятанная умалишённая жена (Хромоножка). Последнее повторяет роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» (1847): Рочестер и его сокрытая в подвале сумасшедшая супруга. И у Достоевского, и у Бронте присутствует и мотив пожара, а конкретнее – горящего дома, в котором спрятанная жена и находится. При этом, «Джейн Эйр», как и «Бесы», не готический роман, а лишь активно эксплуатирующий поэтику и приёмы литературы тайн и ужасов.

Уместен здесь и ещё один пример. Рассуждая в «Двух силах» о нравах польско-литовской аристократии, стремящейся к освобождению от России, Крестовский упомянул одну личность: «Князь Огский, ковенский помещик, снискал себе большую известность своими деспотическими тиранствами: сек попов, становых, заседателей, исправников, убивал неоднократно людей, крестьян своих в наказание в землю закапывал» [3, с. 351].

Мотив погребения заживо распространился не только в антинигилистической литературе, но и в нигилистической, революционной. Обратим внимание, в каких мрачных красках, истинно готических и даже сентиментальных, А.В. Долгушин изобразил мучения политических узников

Новобелгородской тюрьмы в своей брошюре под названием «Заживо погребённые», напечатанной «Землёй и волей» в тайной петербургской типографии в 1878 году. Читаем: «остановимся хоть у этой двери. За нею, в полумраке (окна вполовину замазаны чёрной краской) на досках, покрытых тощим войлоком, ты видишь бледное, исхудалое существо, протомившееся уже несколько лет в строгом одиночном заключении [точь-в-точь Лила в «Острове Борнгольме» – прим. А.Е.]»; «в июньские сумерки, где-то вдали, за тюремной стеной, раздалась крестьянская песня. Эта песня нашла себе отклик в изболевшей душе заживопогребённого человека. Он на минуту забылся, и – совершил тяжкое преступление: запел. На кладбище, в гробу прозвучал живой голос!..» [282, с. 61]. И там же дух средневековья, с ужасами бесчеловечных пыток, напоминающих подвалы неаполитанского замка короля Ферранте (о котором мы рассказывали выше): «А знаете ли вы, что такое карцеры в центральной тюрьме? Это клетки, отгороженные в ретирадном месте [возле туалетов – прим. А.Е.], но в абсолютной тьме и по величине своей напоминающие, без преувеличения, могилу. Впрочем, даже для мертвеца среднего роста такая могила была бы, пожалуй, тесна: живые могут поместиться согнувшись. Отсидевший в этой вонючей, тесной клетке при выходе обыкновенно едва держится на ногах от головокружения» [282, с. 65].

Таинственность, кровожадная толпа и мнимое могущество революционеров

Мотив страшной тайны как сюжетообразующий мы внимательнейшим образом рассматриваем в следующем параграфе, посвящённом готической сюжетной схеме и её реализации в произведениях антинигилистической литературы. Но кроме «страшной тайны» в антинигилистической прозе есть и «таинственность» как таковая, работающая на создание сюжетной интриги и

интереса к персонажу, а вместе с тем оказывающаяся зачастую средством манипуляции, используемым самими героями.

Вспомним, «проклятого скитальца» «Кровавого пуфа». «Загадочный Свитка» – говорит о нём Хвалынцев. Этот польско-литовский агент посылает бывшему гимназисту Шишкину «секретное письмо», оставляет «тайные знаки»: начертанный на земле крест. И в сознании наивного юноши формируется образ тайного общества, и его «секретность» призвана сообщить неопытному уму о могуществе и серьёзности намерений революционеров. По той же схеме действует и Пётр Верховенский в «Бесах». Многозначительные намёки, недосказанность в речах и закрытость делают героя Достоевского «гигантом» в глазах других персонажей, он предстаёт могущественным посланником «Центра», членом некой мощной революционной сети (которой в действительности просто нет). И эта напускная загадочность – отнюдь не субъективный авторский взгляд на революционеров, а их метод. В «Народной расправе» С.Г. Нечаева написано: «каждый член организации должен был быть центром кружка второго разряда, а над всеми членами господствовал таинственный, на самом деле не существовавший комитет, с которым члены сносились при посредстве его агента» [296, с. 202].

Но и у Свитки, и у Верховенского за «деланной» таинственностью есть мрачные секреты, распространяться о которых они не желают, так как это может оттолкнуть и немногих собранных последователей, «полезных идиотов». Секреты Свитки – это трупы, которые он оставляет за собой, вынося смертные приговоры «изменникам» и «врагам» польского освобождения (всё та же тема террора и преследования отступников внутри революционных кружков и организаций), Свитка готовит войну на западе России и революцию, грозящую классовыми чистками – устранением аристократии, в том числе в Польше и Литве (герой Крестовского – социалист-радикал – он ненавидит «белых» [3, с. 409-410]). Тайный же «груз» Верховенского – связь с криминалом (каторжник Федька), грабежи, поджоги, хладнокровные убийства (хромоножка, Лебядкин, Шатов и др.), подлоги (сфальсифицированная предсмертная записка Кирилова).

Таков его метод достижения целей. При этом он пытается придать обыкновенной «уголовщине» социально-политическое значение. Ср. «Поджог! Шпигулинские! – вопили в толпе <…> Шпигулинские, шпигулинские, некому больше!» [1, с. 392]. Так «террор» чуть не был приписан рабочим шпигулинской фабрики, что могло закончится их столкновением с полицией и армией (этого «бесы» и добивались).

Интерес же Верховенского к каторжнику Федьке легко объясняется с помощью всё того же Нечаева, писавшего в своём «Катехизисе» следующее: «сближаясь с народом, мы прежде всего должны соединиться с теми элементами, которые со времени основания московской государственной силы не переставали протестовать не на словах, а на деле <…> с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России» [296, с. 203]. А вот из нечаевской статьи «Постановка революционного вопроса»: «Разбой, одна из почтеннейших форм русской народной жизни <…> Разбойник это герой, защитник, мститель народный <…> Кто не понимает разбоя, тот ничего не поймёт в русской народной истории. Кто не сочувствует ему <…> тот принадлежит к лагерю врагов – Государственников» [315, с. 36]. Не удивительно, что в будущем ряды революционеров сильно укрепились «уголовным элементом», а так называемые «экспроприации» – фактически грабежи (но с целью изыскания средств на «революционное дело») – стали нормальной практикой [122, с. 11, 44]. Правда, не всегда это гарантировало, что деньги дойдут до «революционной кассы». Средства часто оставались в карманах «экспроприаторов», некоторые даже бежали с награбленным в Европу, покупали недвижимость и даже заводили мелкий бизнес. Например, одна «революционная чета» открыла в Париже целый магазин [122, с. 220-221].

Стараний Верховенского и его секретного помощника уголовника Федьки оказалось вполне достаточно, чтобы пробудить стихийную народную жестокость. Простонародье, разъярённое поджогами в Заречье и убийством Лебядкина с хромоножкой, расправляется с Лизой. Для них социально-политический контекст чужд, они убеждены, что Ставрогин просто избавился от

своей «тайной жены». Ср. «Это ставрогинская!». И с другой стороны: «Мало что убьют, глядеть придут!» – реагирует на появление Лизы толпа. «<…> над ее головой, сзади, поднялась и опустилась чья-то рука; Лиза упала. Кажется, Лиза поднялась, но опять упала от другого удара. Вдруг толпа расступилась, и образовался небольшой пустой круг около лежавшей Лизы, а окровавленный, обезумевший Маврикий Николаевич стоял над нею, крича, плача и ломая руки» [1, с. 413]. По всей видимости, в руках «стихийных палачей» были камни. Именно камень – главное оружие кровожадной толпы. Этот мотив широко распространён в готике и безумства черни там подробно описаны (см. «Монах» Льюиса, «Ватек» Бекфорда, «Дон Коррадо…» Гнедича и др.). Достоевскому удалось очень точно ухватить, насколько податливо манипуляциям плохо образованное и во многом малоумное простонародье. А. Гейфман, исследуя эпоху русского терроризма, а это, прежде всего, начало XX века, писала: «лидеры общественного движения принимаются за агитацию, упрощая, делая общедоступными все свои основные принципы и цели, равно как и методы их достижения <…> мораль течения тоже упрощается, урезывается до примитивного и чуть ли не инстинктивного восприятия толпы, которая, как известно, отнюдь не рафинирована нравственно и, наоборот, на удивление восприимчива к различным формам жестокости» [122, с. 11].

Приглашение в свой дом нигилиста как приглашение «нечисти»[97]

Мотив приглашения в свой дом нечисти, распространённый в готике, а корнями уходящий в фольклор, трансформировался в антинигилистической прозе в «приглашение нигилиста». И поэтика «таинственного и ужасного» была адаптирована к актуальному социально-политическому контексту. Примеров

[97] При подготовке этого параграфа использованы материалы нашей статьи «“Тайны современного Петербурга” В.П. Мещерского и “Уединенный домик на Васильевском” В. П. Титова и А. С. Пушкина» // Litera. 2020. № 1. С. 124-134

много: Верховенский со Ставрогиным в «Бесах», Ардальон Полояров в «Панурговом стаде», Глафира, Горданов и Висленев в романе «На ножах» и др. Но подробно мы рассмотрим роман кн. В.П. Мещерского «Тайны современного Петербурга: Записки магистра Степана Боба. Нигилисты» (1875).

В главе 5, являющейся, по сути, «сюжетом в сюжете» – рассказом внутри романа – даётся следующая экспозиция: в бедной квартире жила вдова с двумя детьми – сыном Володей и дочерью Пашей. Володе (единственному мужчине в доме) становится известно, что за его сестрой ухаживает Гранцев (аристократ и человек морально низкий). Володя же испытывает к аристократам болезненную ненависть, классовую неприязнь. Это заставляет его совершить поступок, который становится причиной разрушения «старой» семьи и создания «новой». Володя приводит в квартиру нигилиста Кедрова (студента-разночинца) и знакомит с Пашей, по сути – сводит их. В результате «дружбы» и «прогрессивного развития» Паша Емельянова беременеет. Но заключать брак Кедров не собирается. Живёт с ней «натурально», по выражению нигилистов. (Здесь у Мещерского тема отрицания института семьи пересекается с проблематикой подмены понятий в «женском вопросе», когда под идеями эмансипации скрывается обыкновенное развращение: аналогичная ситуация с Нютой Лубянской в «Панурговом стаде» и с Глафирой Акатовой в романе «На ножах»). Таким образом, Володя, Кедров и Паша образовывают нечто вроде «коммуны». А старая мать, придерживающаяся традиционного представления о семейном укладе, не может смириться с «новыми порядкам» и умирает, ведь её жизнь превратилась в кошмар.

Характерология, комбинация мотивов и сюжетная схема этого «рассказа» почти в точности воспроизводят готическую повесть «Уединённый домик на Васильевском» (1828) В.П. Титова и А.С. Пушкина, где Павел приводит в дом Веры, своей «сестры», как он её называл, и её матери-вдовы настоящего демона

– Варфоломея. И это тоже заканчивается смертью матери[98]. Но у Мещерского не мистическая печать зла и сверхъявственные силы становятся причиной разрушения семьи, а преступное легкомыслие и цинизм детей-нигилистов. В «Тайнах современного Петербурга» образ «тёмной силы» связан как и с мотивом приглашения в свой дом нечисти, так и нечистью, испытывающей любовную страсть к человеку. Это древние мотивы, которые мы находим, в частности, в славянском фольклоре, например – «змей» («горыныч», «тугарин»), который не только предстаёт в образе змееподобного чудовища, нападающего на города и деревни, но и может превращаться в человека (мотив «оборотничества»), он приходит в дом купеческого сына Ивана и очаровывает его жену [229, с. 220].

Мотив злой силы, одержимой любовной страстью к человеку, оказывается исторически близким мотиву приглашения в свой дом нечисти. Этот комплекс довольно часто встречается в готической литературе: «Влюблённый дьявол» (1772) Ж. Казота, «Монах» М. Льюиса (1796), «Мельмот скиталец» (1820) Метьюрина и др. Оба этих мотива в комбинации с «вкушением крови» стали сопутствовать и образу вампира. Типична ситуация, когда вампир не может попасть в дом жертвы, пока его туда не пригласят. В таблице, приводимой Т.А. Михайловой и М.П. Одесским в их книге «Граф Дракула. Опыт описания», сопоставлены мотивы «Кармиллы» (1871-1872) Ш. Ле Фаню, «Вампира» (1819) Дж. Полидори, «Варни Вампира» (1847), «Дракулы» (1897) Б. Стокера, и видно, что мотив приглашения в свой дом нечисти – один из ключевых. У Стокера: «Вампир не может войти ни в один дом, пока кто-нибудь из домочадцев не позовет его...»; у Фаню: «Вампиресса Кармилла должна быть приглашена в семью, которую она выбрала как объект охоты» [187, с. 153-154].

[98] О сильном влиянии повести Титова и Пушкина на роман Мещерского см. в параграфе 3.2, «Убийство матери собственными детьми в семействе Емельяновых»

«Адское пламя» и терроризм

У Крестовского в «Панурговом стаде» петербургские пожары мая 1862-го – наивысшая точка конфликта между «старым» и «новым», кульминация нигилистического отрицания России. Но результат поджога – бедствие простого народа, он был ввергнут в «ад». И описание пожара у Крестовского во многом повторяет сцены из готического романа «Мельмот скиталец» (1820) Ч. Метьюрина, где описывается полыхающая тюрьма испанской инквизиции и Великий лондонский пожар 1666 года, устроенный, по слухам, «пописстами» – английскими католиками, ненавидящими англиканскую церковь и британского монарха. Петербургские пожары стали первым прообразом ожидаемой революции. Начались они в ночь на 16 число. В первые дни очаги возникали и тут же тушились, но с 21 мая огненная стихия стала неудержимой и охватила практически весь центр столицы: Невский проспект, Гороховую улицу, Ямскую, Большую Охту и другие. Максимальную силу огонь набрал в Духов день 28 мая. Это был крупнейший террористический акт в России XIX века. Был нанесён огромный экономический ущерб, сгорел Апраксин двор – крупнейший рынок в стране, занимавший 14 га, а с ним и Щукин двор, многие ремесленные заведения [299, с. 600]. Точное количество финансово и физически пострадавших людей – неизвестно. Торговцы, ремесленники и все слои общества были в ужасе[99]. О группах поджигателей свидетельствует новостная периодика того времени. Но поймать удалось лишь некоторых исполнителей из простонародья, а не организаторов. Террористы действовали осторожно. Учитывая множество легко воспламеняемых материалов и деревянных объектов, произвести поджог труда не составило[100].

[99] В городе срочно формировались волонтёрские пожарные команды, в полицию шли добровольцы, чтобы противодействовать поджигателям [299, с. 600], [300, с. 601-602]

[100] Существует четыре основные версии произошедшего: 1) поджигала революционно настроенная молодёжь (это был удар по столице, следующий шаг после распространения всякого рода «летучих листков» с призывами к поджогам и, в первую очередь, после «якобинской» прокламации «Молодая Россия» Зайчневского, призывавшей к уничтожению всех сторонников существующего государственного строя); 2) польские

В литературе «таинственного и ужасного» пожар, как правило, связан с мотивами падения дома и опустения. В готике огонь символизирует очищение – исчезают локации, где вершилось зло. Сгорает обитель святой Клары в «Монахе» Льюиса, рушится дом ведьмы в «Лафертовской маковнице» Антония Погорельского, охватывает пламя и «уединённый домик на Васильевском» в повести Титова и Пушкина, пустеет Лысая гора в «Киевских ведьмах» Сомова, сгорает заживо «ведомый грешник» Петрусь в «Вечере на кануне Ивана Купалы» Гоголя. В антинигилистической же прозе доминирует иное, социально-политическое, значение огня – революция, террор, гибель страны.

Петербургские пожары майских дней 1862 года, описанные в дилогии Крестовского «Кровавый пуф», были «овеществлённой метафорой» конца света: «Духов день» [3, с. 270], «огонь адского пожара» [3, с. 277], «С каждой минутой красновато-черный столб дыма все выше и дальше протягивался по небу <…>

националисты: в 1863 году была обнаружена соответствующая программа усиления смуты в России, составленная Людвигом Мерославским (старым знакомым Бакунина, если не приятелем) [158, с. 246], который с февраля 1863-го являлся так называемым «диктатором» Польского восстания (смута в России считалась важнейшим фактором успеха восстания); 3) уголовные элементы с целью грабежей; 4) провокация полиции для дискредитации движения «демократов-разночинцев». На этой версии, выдвинутой Герценом («Зажигателей вне полиции не нашли – а в полиции не искали... Не попробовать ли??» [275, с. 262]), стояла и русская политическая эмиграция, и некоторые революционеры внутри России, например, князь-анархист П.А. Кропоткин. Но вряд ли можно относиться без скепсиса к их предвзятому мнению. При этом сам Герцен при первой же долетевшей до его английского берега вести о пожарах подумал именно о революционерах. В заметке «Зарево» (1862) в Колоколе он написал: «И что довело людей до этого средства – и кто эти люди?», а перед этим: «что это за огненная чаша страданий идёт мимо нас? Огонь ли это безумного разрушенья, кара ли, очищающая пламенем?.. Да разве не довольно было несчастий и кар?..» [265, с. 122]. И это вполне согласуется с неприязнью Герценом терроризма, о чём он высказался и относительно прокламации «Молодая Россия», и в публикациях, посвящённых попытки Каракозова застрелить Александра II. Терроризм он увидел и в пожарах. Но это было его первое впечатление. Позже он стал искать другую причину. По всей видимости, сильное впечатление на него произвело то, что он и сам невольно оказался на стороне террористов, хоть и представлял себе революцию совершенно другой. Теперь же клеймом «поджигателя» метили и его. Поэтому в петербургских пожарах сгорела не только торговая инфраструктура столицы, но и тиражи герценовского «Колокола». Общественность стала отворачиваться от этой газеты. До 1862 года «Колокол» распространялся количеством в 2,5 – 3 тыс. экземпляров [158, с. 250] (по другим данным – 2 – 2,5 тыс. [182, с. 136]), а после пожаров тираж упал до 500 и ниже, вскоре издание умерло

страшные языки густого и тусклого пламени, казалось, облизывали небо <…> неслись, подхваченные кружащимся вихрем, крупные искры, уголья, головни, листы бумаги, лоскутья каких-то тканей, оборвыши всяческого хлама... Стаи голубей бесновались со стаями ласточек, воробьев и галок <…> ныряли в самое пламя, пропадали в облаках дыма... <…> вырывались из огня, и то там, то здесь падали мертвые и дымящиеся птицы. Целый дождь искр, угольев, пеплу и горящих головней сыпался с неба на крыши, на мостовые, на головы прохожих. И это небо, с его солнцем, с этим огненным дождем и мятущимися стаями птиц представлялось испуганным глазам народа в грозно-страшном, ужасающем величии» [3, с. 271].

Петербургский пожар у Крестовского схож с изображением огня в романе Метьюрина «Мельмот скиталец», там же есть и тема терроризма. Ср. «Неужто ты не видишь, как пламя охватывает этот проклятый город <…> и подожгли его полупаписты, полуарминиане, словом, проклятый народ. Пожар! Пожар!» [54, с. 47]. «Стоило ей только проснуться, как ее тут же начинала преследовать мысль, как ей поскорее, сию же минуту, убежать от огня; – Судный день, – вскричала она. – Судный день! Небо и то в огне!» [54, с. 48] – вспоминает обезумевшая женщина, потерявшая в лондонском пожаре детей и мужа. Сцена же пожара в тюрьме инквизиции наполнена апокалиптической символикой: «Вся эта картина походила на грубо намалеванное изображение Страшного суда. Казалось, что это господь нисходит к нам в ярком свете, заливающим небо <…> Высоко, высоко над нами огромными клубами вырывался огонь и взвивался ввысь к занявшемуся заревом небу» [54, с. 238].

У Метьюрина на пожар является «Сам король Испании» [54, с. 239], у Крестовского – император Александр II: «У Чернышева моста он на минуту остановил коня и огляделся. Впереди было море огня, позади море огня <…> Сквозь кажущееся спокойствие, в этом бледном лице проглядывала скорбь глубокая, проглядывала великая мука души. Несколько крупных слез тихо скатилось по лицу» [3, с. 279].

В романе «Взбаламученное море» Писемского тоже повествуется о петербургском пожаре 1862 года, но автор воздерживается от подробных описаний стихии и говорить о рецепции Метьюрина в данном случае невозможно: «<…> пассажиры указали ему на видневшееся облако дыма, окрашенное во многих местах красноватым цветом пламени» [62, с. 269]. Сообщается и о выдвинувшемся на пожар императоре: «Бакланов сам невольно приостановился. Это шел государь» [62, с. 271]. Есть во «Взбаламученном море» указание и на то, что жгут поляки, студенты и подговорённые (распропагандированные) элементы из простонародья. Ср. у Крестовского Свитка отвечает на подозрения, что «жгут поляки»: «Что же касается до поляков, то у них пока еще, слава Богу, есть другие средства борьбы; а на это дело и из своих, из русских, найдется достаточно героев» [3, с.277]. Пожар мы видим и в «Бесах» Достоевского: «Пожар! Всё Заречье горит!» [1, с. 392] (в антинигилистической прозе пожар – это всегда отсылка к петербургским пожарам весны 1862 года). В повести «В народ!» Дьякова сгорает от рук фанатика-нигилиста деревня, где «квартировала» коммуна прибывших в Россию русских эмигрантов-революционеров. Боясь доноса, революционеры бежали, сжигая свои бумаги и книги. От деревни, где была развёрнута революционная пропаганда осталось только огромное кострище и плачущие над кое-какими спасёнными пожитками «бабы и ребятишки». У Дьякова это метафора революции: кураж и самоутверждение одних и горе других.

Объективные данные говорят о том, что российская и, прежде всего, петербургская общественность в общей массе не сомневалась, что столицу поджигали весной 1862 года именно революционеры (поляки за этим стояли или действовали сами русские – принципиального значения, в данном случае, не имеет) [158, с. 247]. Известно воспоминание И.С. Тургенева: «я вернулся в Петербург, в самый день известных пожаров Апраксинского двора, – слово «нигилист» уже было подхвачено тысячами голосов, и первое восклицание,

вырвавшееся из уст первого знакомого, встреченного мной на Невском, было: Посмотрите, что ваши нигилисты[101] делают! Жгут Петербург!» [338, с. 87].

В будущем же, в эпоху русского терроризма, расцвет которой пришёлся на начало XX века, «вывернутая» мораль революционеров нашла воплощение уже не только в поджогах, но и в систематической организации взрывов. Ярко иллюстрирует логику террористов совершённое в 1904 году убийство министра внутренних дел В.К. Плеве. Теракт осуществил эсер-бомбист Егор Сазонов. И когда ему, раненному, в тюремной больнице сообщили, что во время его теракта погибла и пятилетняя девочка (из прохожих), единственное, что взволновало боевика – не выдал ли он в бреду контузии имена своих подельников, и не стал ли из-за этого «предателем» [260, с. 191-193]. Страшная же смерть девочки ничуть его в тот момент не тронула.

3.2. «Готическая» сюжетная схема и её антинигилистическая реализация[102]

Сюжетное действие готической прозы направлено на раскрытие страшной тайны, разоблачение злодея и, как правило, свершения возмездия над ним. Такие же цели преследовала и литература антинигилистическая, но позицию «имморалиста-преступника» занимал «нигилист» / «революционер» /

[101] С романом «Отцы и дети» (1862) распространилось не просто представление о нигилистах, а настоящий социально-политический термин, который подхватили и печать, и улица. Очень быстро с «нигилистами» стали связывать и «революцию», и «революционный террор». Большинство понимало, что поджог – типичное орудие революционера. Было известно, что французские бунтари давно практиковали у себя подобные методы борьбы с государством. Это происходило во все революционные периоды во Франции – от Великой революции (1789-1799), когда поджигали и церковные, и армейские, и административные здания, до дней Парижской коммуны 1871 года

[102] При подготовке этого параграфа был использован материал нашей статьи «Русский антинигилистический роман 1860-1870 гг. и “готический сюжет”» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. № 12. С. 18-22

«антироссийский заговорщик». Задача проникновения в тайну, стоящая перед персонажем с сюжетной функцией «ключа», образует следующую сюжетную схему, каноническую для жанра готической прозы:

«Ключ – Зам*о*к – Дверь – Сокрытое» [141, с. 21]

Где «Зам*о*к» – это «имморалист-преступник», «Дверь» – страшная тайна, «Сокрытое» – жертва (результат преступления / нарушения табу, повлекшего череду ужасных событий). Таким образом, задача персонажа с сюжетной функцией «ключа» – подобраться к «Замк*у*» (сориентировавшись в локации, выстроенной по принципу уединённого запутанного места) и открыть «Дверь» (осознано или случайно раскрыть страшную тайну) и увидеть «Сокрытое». Эта сюжетная схема находила и находит применение в произведениях жанра готики вне зависимости от особенностей авторского замысла; каждое из названных звеньев присутствовать будет. И прежде чем перейти к вопросу реализации этой схемы в русской антинигилистической прозе, приведём несколько примеров из готической литературы, чтобы проиллюстрировать сам механизм:

В фабуле «Замка Отранто» (1764) Уолпола персонажем с сюжетной функцией «замк*а*» (носитель страшной тайны) является Манфред, жестокий князь земли Отранто (классический образ своенравного несправедливого правителя, итальянского тирана). Манфред скрывает правду о своей преступной и самозваной власти (это и есть «дверь»). Много лет назад Рикардо (предок Манфреда) отравил рыцаря Альфонсо – истинного князя Отранто (это и есть «сокрытое» – жертва) – и подделал завещание. Род Манфреда был проклят. Им предрекли править замком Отранто ровно до тех пор, пока его настоящий владелец не увеличится настолько, что ему станет тесно в здании. В тёмные пределы замка и попадают персонажи, выполняющие сюжетную функцию «ключей» – юноша Теодоро (из крестьянского сословия) и Изабелла, невеста Конрада (сына и наследника Манфреда). Конрад трагически гибнет накануне свадьбы, на него неизвестно откуда обрушился гигантский шлем невидимого

существа – великана. После случившегося князь Манфред пытается сам жениться на Изабелле (в её жилах течёт кровь законных владельцев земель, присвоенных им). Девушка прячется от преследователя в подземельях и коридорах замка. Постепенно скрытые мотивы и страшные тайны Манфреда раскрываются. Кульминацией становится случайное убийство собственной дочери. Князь впадает в отчаяние и разоблачает свой преступный род. А призрачный великан в доспехах рыцаря Альфонсо разрушает здание замка. Крестьянин Теодоро оказывается прямым потомком Альфонсо и законным правителем княжества [141. с. 21-22].

Теперь взглянем на фабулу в текстах русской готики. Возьмём два произведения, написанных с разницей в полвека: «Остров Борнгольм» (1794) Карамзина и повесть «Упырь» (1841) А.К. Толстого. В повести Карамзина герой-повествователь («Ключ») попадает в старый замок на мрачном острове Борногольме. Его хозяин, старик («Зам*о*к») – воплощение средневековой суровости. Между его детьми была греховная любовная связь, инцест [105, с. 90] (но эти события сокрыты от читателя; мотив нерассказанной истории). Сын был изгнан, а дочь, Лила, заперта в подземелье. Нарушение детьми табу и жестокая реакция отца, обрекшего свою дочь на медленную смерть – составляют «страшную тайну» («Дверь»). Ночью герой-повествователь находит в подземелье обессиленную девушку («Сокрытое»). А в «Упыре», если отбросить все перипетии и параллельные сюжеты, схема получается следующая: Руневский («Ключ»; эта же функция у Рыбаренко в параллельном сюжете повести) оказывается на даче (уединённое таинственное место) бригадирши Сугробиной («имморалист-преступник» плюс кооперация с персонажем Теляевым, «демоном-помощником»). Сугробина и Теляев – вампиры / упыри (А.К. Толстой вложил в уста Рыбаренко целое обоснование, почему в России вампиров необходимо называть именно упырями [78, с. 408]). Сугробина и Теляев стремятся умертвить Дашу, внучку Сугробиной; «бабушка внучкину высосет кровь» [78, с. 423], это и есть «страшная тайна» («Дверь»). К этому времени упыри уже убили мать Даши настало время и дочки («Сокрытое», жертвы).

Учитывая, что в антинигилистической прозе есть и характерология готики, и целые комбинации мотивов закономерно, что и «готический сюжет» нашёл реализацию. Ведь «антинигилистическая» сюжетная схема предполагает и «преступника-имморалиста», и «ключа», и «жертву». Об этом говорили многие исследователи, но связи с готикой не замечали. Ср. Г.А. Склейнис: «В центре сюжетного действия, как правило, – обманутый нигилистами герой, <…> Вариации таких типов представлены во «Взбаламученном море» А.Ф. Писемского (Бакланов), «Мареве» В.П. Клюшникова (Инна Горобец), «Некуда» Н.С. Лескова (Розанов и Лиза Бахарева), дилогии В.В. Крестовского «Кровавый пуф» (Хвалынцев) и др. <…> ведущая сюжетная линия, как правило авантюрная, осложняется параллельной периферийной. Действие в вышеперечисленных романах разворачивается чаще всего как в столице, так и в провинции. <…> Результатом сюжетного действия оказывается, как правило, прозрение жертвы и развенчание нигилистических интриг» [212, с. 28]. Аналогично и у Ю.С. Сорокина: «Чаще всего героем произведения, вокруг которого сосредоточивается непосредственный романический интерес повествования, является лицо (мужского или, еще чаще, женского пола), которое соблазняет “злая сила” и вовлекает в орбиту демократического движения. <…> Во “Взбаламученном море” этот тип является в лице Валериана Сабакеева, <…> в “Некуда” – это Лиза Бахарева; в “Мареве” – Инна Горобец; в романах Маркевича – это Марина (“Марина из Алого Рога”), Владимир Буйносов (в “Бездне”); в “Бесах” Достоевского – Шатов (здесь наделенный даже явно символической фамилией); в “Злом духе” Авсеенко – помещик-народник Извоев; в дилогии Вс. Крестовского этот тип представлен сразу двумя персонажами, особами мужского и женского пола, – Хвалынцевым и Лубенской. Таким образом, антинигилистический роман – это прежде всего роман о жертве» [217, с. 100].

Анализ сюжетики произведений антинигилистической прозы показывает, что готическая сюжетная схема «Ключ – Зам*о*к – Дверь – Сокрытое» реализацию находит. Ср. в романе «Панургово стадо» Крестовского: линия «Андрей Устинов и Майор Лубянский (“ключи”) – Ардальон Полояров (“имморалист-преступник»

/ “зам*о*к”) – Нюта Лубянская (“жертва” / “сокрытое”)». У Мещерского же в «Тайнах современного Петербурга» «готическая» сюжетная схема реализуется в рамках «рассказа внутри романа» главы 5: «Степан Боб (“ключ”) – “коммунка” нигилистов: Володя, Кедров и Паша (“преступники-имморалисты”) – мать семейства Емельяновых (“жертва»)». В романе «Бесы» у Достоевского мы видим целых две линии, где реализуется готическая схема: «Антон Лаврентьевич Г-в (“ключ”) – “пятёрка” и Пётр Верховенский (“преступники-имморалисты”) – Шатов (“жертва”)»; «Тихон (“ключ”) – Николай Ставрогин (“преступник-имморалист”) – Матрёша (“жертва”)». А в романе «На ножах» Лескова основная сюжетная линия (уже в заключительной части произведения, после убийства старика Бодростина) становится практически детективной (см. о «детективном» и «готическом» ниже по тексту): «Форов, отец Евангел, Подозеров, девочка Вера (“ключи”) – Горданов, Висленев, Глафира (“преступники-имморалисты”) – Бодростин (“жертва”)».

Отметим, что сюжетная схема готической прозы применяется, как правило, не на уровне основной сюжетной линии антинигилистических произведений, а на «параллельных», даже «периферийных». Готический сюжет служит разоблачению нигилизма и базирующейся на нём «кружково-революционной» и «коммунной» практики. Достигается максимальное обострение конфликта между «нигилистом» и нормами морали (в традиционной системе табу).

Важно и то, что сюжет раскрытия страшной тайны ассоциировался во второй половине XIX века не только с произведениями «таинственного и ужасного», но и с «детективом», произошедшим от «готики» [105, с. 126, 134]. И в этой связи принципиально важны романы Анны Радклиф, где ужасающим и таинственным происшествиям, как правило, даётся вполне рациональное объяснение. Этот периферийный у Радклиф мотив стал не только сюжетообразующим в детективе, но и определил его кульминационную часть – сцену раскрытия обстоятельств произошедшего, а также – разоблачение преступника. Но между готической литературой и одним из её многочисленных литературных потомков существует принципиальная разница. В монографии

В.Э. Вацуро она объяснена следующим образом: «По удачному определению Г. Цахариас-Лангханса, в последнем [в детективе] читателю предлагается не тайна (Geheimnis), а загадка (Ratsel) с возможностью разгадки путем опытных или логических операций. В отличие от “загадки”, ”тайна” в принципе не поддается полной дешифровке, не может быть разгадана до конца, ибо содержит в себе нечто от сверхъестественного, мистического, непознаваемого – или, во всяком случае, полагает себя таковой» [105, с. 181].

Важно уяснить, что детектив сосредоточен на рациональном (см. «Убийство на улице Морг» (1841) Э. По), «готика» же на иррациональном. В ней предпринимается попытка художественного постижения иррациональных явлений бытия, воспринимаемых через страх (персонажа и / или читателя) и осмысляемых через постижение причин их возникновения [137, с. 138], находящихся в религиозно-мистической и моральной парадигмах. Поэтому классическая «готика» – высокий жанр, оперирующий «крупными» понятиями [179, с. 31]: «добро», «зло», «свет», «тьма», «Бог», «Дьявол», «созидание», «разрушение» и т.п. В отличие от «массовой литературы ужасов» (см. так называемые «грошовые ужасы», англ. «Penny Dreadful», продававшиеся на рубеже XIX-XX вв. в Великобритании), где доминирует не «смысловое», а «внешнее» – кровавые сцены насилия, физические уродства, «смакование» жестокостей и страданий и т.п. «Детективный» сюжет ориентирован на «криминал» – уголовные преступления, а в основе «готического» – нарушение табу, вывод из равновесия определённого порядка, установленного «высшими силами», пусть даже незримыми и не всегда буквально фигурирующими в произведениях, как, например, в «Удольфских тайнах» А. Радклиф, повести «Кто же он?» (1831) Н.А. Мельгунова и др. Но даже если происходящее имеет «земные», совершенно реальные корни, значение событиям в готике всё равно придаётся мистическое; за рациональным может быть сокрыт таинственный промысел.

Убийство Михаила Бодростина

В романе Лескова «На ножах» представлен синтез «детективного» и «готического».

Если первый этап развития образа Глафиры Бодростиной в романе «На ножах» можно условно назвать «периодом Нюты Лубянской» (о чём мы сказали в главе выше), а второй – «периодом демонессы Глафиры», одолеваемой видениями мертвецов, то третий этап начинается после убийства Михаила Андреевича. С этого момента сюжет приобретает черты детектива: расследование, улики, допросы, разгадка обстоятельств произошедшего. Мотив явления мертвеца присутствует, но доминирующим становится «страшная тайна», сопровождаемая мотивом возмездия. А сюжет реализуется с помощью готической схемы: «Ключ – Зам*о*к – Дверь – Сокрытое».

Сцена убийства Бодростина выведена за рамки повествования для обострения интриги. Встаёт детективный вопрос: как это произошло, и кто именно убил старика – крестьяне-сектанты, Висленев или Горданов? Вокруг этого и строится заключительное действие романа. В ночь убийства рядом с Бодростиным находятся двое – Горданов и Всиленев. Все трое уходят с дороги в чащу, чтобы не попасться разъярённым «бабам», сектантам-крестьянам, вызывавшим на поляне «живой огонь» (чтобы справиться с «коровьей смертью»). Висленев вдруг прижигает руку Бодростина сигарой, раздаётся крик, и на этом всё, никаких подробностей. Только дрожки «неслись Бог весть куда, по ямам и рытвинам, но на них теперь было не три, а два седока; назад скакали, стоя и держась за кучера, только Горданов и Висленев. Бодростина уже не было» [4, с. 717].

Позицию «замк*а*» («преступника-имморалиста») в развернувшимся сюжете занимают трое (своего рода «коллективный нигилист»): Глафира, Горданов, Висленев. Они носители страшной тайны убийства Бодростина, их мотивация – деньги (наследство), это и есть «дверь», а за нею «сокрытое» – конкретная жертва. Напомним, что в Глафире есть черты «демона-искусителя». И если

Горданова она соблазняет, прежде всего, деньгами, то Висленева – своей красотой. Ему внушается надежда на возможность брака: «она [Глафира] давно дала Висленеву обещание, что, овдовев, пойдет замуж не за Горданова, а за него, и он этим дорожил» [4, с. 755]. Как и у Горданова, опирающегося на «социальный дарвинизм», у Висленева тоже есть социальная теория, в соответствии с которой смерть Бодростина – благо: «То дворянин, то этакий поганый реалистик с презрением к народным стремлениям... Я не мог переносить этого его отвратительного отношения к народным интересам... До того дошел, что мужикам живого огня не позволял добыть и... и... и издевался над их просьбами! Это самый этакий гадостный, мелкий реалистик... а я, конечно, стоял на стороне народа...» [4, с. 755] – объясняет Висленев свои мотивы, правда, будучи уже в помутнении рассудка (мотив сумасшествия).

Примечательно, что сказанное Висленевым вполне соответствовало нереализованным планам «ишутинцев», которые намеревались убивать персон, особо ненавистных крестьянам [102, с. 34]. В этом случае «готические» сюжет и комбинация мотивов тоже кооперируются с «социально-политическим», являя именно «антинигилистический» художественный текст, наполненный соответствующими реминисценциями из жизни страны. Также и использование сумасшедшего Висленева Глафирой оказалось своего рода «проекцией» будущей революционной и террористической практики в России. Множество боевиков и исполнителей были психически неуравновешенными. А. Гейфман писала по этому поводу: «Внутренняя дисгармония и неспособность её преодолеть, что во многих случаях приводило к настоящему сумасшествию, часто заставляли отчаявшихся и эмоционально ущербных людей искать способы радикального решения своих проблем. Они оправдывали такие решения изящно сформулированными идеологическими построениями и разглагольствованиями о непоколебимой верности революции, партии или своим товарищам» [122, с. 232-233].

Лесков «закручивает» интригу расследования, чтобы добиться максимального эффекта от сцены разоблачения убийц. А раскрытие страшной

тайны по законам готического сюжета стремится к возмездию (которое, правда, не всегда выглядит достаточным). Лесков расставляет следующие улики (мистические знаки грядущей расплаты; мотив страшного предзнаменования): Горданов зажимает в руке носовой платок с кровавыми пятнами, скрывает рану на ладони; у трупа Бодростина находят маленькую трёхгранную рану в левом боку, прокол от удара испанским кинжалом «стилетом»; Сид Тимофеевич, один из экзальтированных персонажей, завидев убийц твердит: «он вам покажет!» [4, с. 730]. И в момент, когда мертвец Бодростин раскидывает руки в гробу, а Глафира кричит: «Это не я! Это он!» [4, с. 767], к Горданову приближается глухонемая девочка Вера (имя-символ), и убийце становится страшно: «терял самообладание, заметив, что глухонемая смотрит на него как-то не только особенно, но даже, неуместно пристально, и вдруг начинает к нему приступать» [4, с. 768]. В руках у девочки хлыст, принадлежащий Глафире и потерянный в ночь убийства. Вера достаёт из ручки потаённый испанский стилет и указывает на Горданова. Секрет трёхгранной ранки в боку покойника открывается. Глафира проговаривается, что хлыст принадлежал ей. Горданова и Бодростину арестовывают.

Вера, «девочка-праведник», выполняет у Лескова функцию «кары небесной». В готической прозе эта функция, как правило, отводится существу со сверхъестественными возможностями или мистическому явлению (см. пламя в «Вечере накануне Ивана Купалы» Гоголя, пророк Магомет в «Ватаке» Бекфорда, Дьявол в «Монахе» Льюиса и др.). Глухо-немая Вера оказывается главным «ключом» готического сюжета «На ножах», страшную тайну она постигла раньше других, но не могла её поведать.

Характер возмездия, настигшего «имморалистов-преступников», тоже символичный. Горданов умирает в тюремной камере от гангрены, «антонова огня»: на руке загнила рана, полученная во время «уничтожения» старого аристократа Бодростина. Висленева отправляют в дом для душевно больных. А беспринципная «демонесса» Глафира теряет всяческую надежду на свободу в богатстве и оказывается в плену у своего нового мужа – «чухонца» Ропшина,

секретаря Бодростина. «Чухонец» знает про завещание, подделанное в пользу Глафиры, но хранит тайну и спасает героиню от тюрьмы. Таким образом, Лесков реализует идею о несостоятельности нигилистических убеждений перед «высшей справедливостью», способной являть себя в ужасающих сверхъявственных формах (появление живых мертвецов) и вершить суровое возмездие.

Убийство Шатова и самоубийство Матрёши

Готический сюжет уже попадал в фокус исследователей творчества Ф.М. Достоевского. Необходимо выделить работы Э.А. Евтушенко [136] и А.Н. Кошечко [163]. Специального акцента на линии «готика – антинигилизм» в них нет, но есть тезисы по теме «готического сюжета». Евтушенко в диссертации «Мистический сюжет в творчестве Ф.М. Достоевского» (2002) в главе «Бесы как реинтерпретация готического романа» утверждает, что роман «Бесы» – «наиболее яркий готический роман русской классики» [136, с. 165]. Утверждение спорное и анализ поэтической структуры «Бесов» указывает лишь на влияние «готики» – отдельные персонажи, комбинации мотивов, сюжетная схема на уровне периферийных линий. И убедительной аргументации в защиту утверждения, что «Бесы» – готический роман, мы у Евтушенко не видим. И вряд ли такая аргументация возможна. Кошечко же в работе «Поэтика художественного пространства романов Ф.М. Достоевского 1860-х годов: "Преступление и наказание", "Идиот"» (2003) выделяет три области влияния готики: характерология, пространственно-временная организация и сюжетостроение [163, с. 182], с чем сложно не согласиться. Таким образом, мысль о связи «готического сюжета» с романами Достоевского в литературоведении есть. И это открывает возможности для детализации вопроса.

Самым же масштабным исследованием сюжетики романов Достоевского за последние годы является монография А.Б. Криницына «Сюжетология романов

Достоевского» (2017). Исследователь показал, что в «Бесах» «антинигилистический» слой – это «злободневно-политический план» [166, с. 417], совпадающий по своей характерологии и системе мотивов с романом «Взбаламученное море» Писемского. Развивая эту логику, согласимся, что ключевым действующим лицом данного сюжетного уровня является Пётр Верховенский. Но на уровне осмысления нигилистической идеологии (её ужасающих возможностей) – главный персонаж, безусловно – Николай Ставрогин. О сюжетной функции этих героев Криницын писал: «в романе образуются два сюжетных ядра – вокруг “хищного типа” Ставрогина и демонического революционера Петра Верховенского» [166, с. 411]. И именно на уровне событий, связанных со Ставрогиным и Верховенским, происходит реализация «готического сюжета»: «Ключ – Зам*о*к – Дверь – Сокрытое». Это линия убийства Шатова и история гибели Матрёши (глава «У Тихона»). Рассмотрим:

«Устранение» Шатова[103] неразрывно связано с темой преследования изменников внутри революционных кружков и организаций. Это один из

[103] Распространение революционной пропаганды в России конца 1860-ых и на протяжении всех 1870-ых гг. было сопряжено со «шпиономанией» внутри революционных групп. Поиск «внутреннего врага» стал характерной чертой так называемого «освободительного движения», что вполне соответствовало программам Ишутина и Нечаева. Пожалуй, к самым жутким эпизодам можно отнести произошедшее с революционером Н.Е. Гориновичем (об этом случае упоминал и А.А. Дьяков в своей статье «Нигилизм и литературное развитие»). Гориновича посчитали предателем (именно посчитали, доказательств не было, только домыслы [122, с. 384]), сдавшим революционных агитаторов, в последствии проходивших по «Делу 193-ёх» (дело о революционной пропаганде в России – те самые «хождения в народ» [260, с. 32]). Приговоры пропагандистам были оглашены только в 1878 году, но уже в июне 1876-го члены революционного кружка решили убить «предателя». На железнодорожной станции в Одессе Гориновича стали жестоко избивать, а точнее – забивать до смерти (всё по той же схеме, что и со студентом Ивановым – нападение толпой в ночное время). Руководил расправой Лев Дейч. Изувеченному облили лицо кислотой, чтобы труп точно никто не опознал. Но революционер выжил. Он остался слепым, и до конца жизни ходил с чёрной шторкой на лице, скрывавшей страшные ожоги. Многие случаи расправ над «шпионами», «отступниками» и проч. с гордостью внесены в «Календарь русской революции» (1907, издан в полном виде в 1917) В.Л. Бурцева. У этого человека, кстати, была репутация «Шерлока Холмса» по количеству вычисленных «предателей». И в своей книге он отдаёт дань уважения предшественникам, «трудягам» революционного сыска и трибунала 1870-1880 гг. Например: убийство шпиона Тавлеева в Одессе (1876); шпиона Шарашкина в Санкт-Петербурге (1877); шпиона Акима Никонова в Ростове-на-Дону (1878); покушение на

известных социально-политических аспектов деятельности нигилистов-революционеров. И поскольку социально-политический спектр в «Бесах» связан, прежде всего, с Петром Верховенским, именно он и оказывается руководителем и организатором убийства Шатова. Выполняя функцию «демона-искусителя», Верховенский внушает созданной им «пятёрке» («имморалисты-преступники» плюс модель «ведомого грешника»), что убить Шатова – необходимо, так как он «предатель», готовый совершить донос (так появляется «жертва»). Верховенский эксплуатирует страх «наших» пред арестом, это сопровождается типичным для готической прозы мотивом преследования. Жертву заманивают (мотив введения в заблуждение) в тёмный грот, ночью. Тихое уединённое место в старом парке с тайниками; в гроте спрятана типография (тут мы видим и типичный готический пейзаж, и мотив уединённости места действия, и мотив сложности / запутанности пространственной организации). Верховенский скрепляет «пятёрку» кровью и «страшной тайной». Но соучастниками овладевает страх кары, для большинства ноша тайны оказывается не по силам. Петр Верховенский подобно «проклятому скитальцу» покидает город. «Наших» настигает уголовная ответственность. Сюжетную функцию «ключа» (выяснение подробностей произошедшего) выполняет герой-повествователь / хроникёр Антон Лаврентьевич. Получается следующая схема: «Хроникёр, Антон Лаврентьевич Г-в («ключ») проникает в секреты Верховенского («зам*о*к», хранитель «страшной тайны») и членов его «пятёрки» («имморалисты-преступники», «ведомые грешники»), и тайна («дверь») открывается, и скрывала она не только убийство Шатова, но и поджог в Заречье, убийство Лебядкиных и др. деяния.

убийство шпиона Гофштофа (1879); Убийство шпиона Н.В. Рейнштейна в «мамонтовских номерах» в Москве, убийц не нашли (1879); убийство по распоряжению «Исполнительного комитета» предателя Жаркова за выдачу типографии «Чёрного передела» (1880); неудачное покушение на жизнь шпиона Забрамского (1880); убийство шпиона Прима на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге (1882); убийство предателя Шрамского в польском Згерже членами партии «Пролетариат»; убийство в Харькове по приговору «Народной воли» шпиона Шкрябы (1884)

История гибели Матрёши связана с темой испытания границ допустимого когда нигилист снимает с себя все ограничения морали и двигается путём постоянного перешагивания через табу. Николай Ставрогин («имморалист-преступник», носитель страшной тайны) даёт на прочтение отцу Тихону (персонажу с сюжетной функцией «ключа»), старцу, живущему в отшельничестве (мотив уединённости места действия), рукопись исповеди (типичная для готики форма повествования – рукописи, письма, дневники; см. роман «Мельмот скиталец» и др.). И «страшной тайной» Ставрогина оказывается развращение девочки-подростка Матрёши и молчаливое приветствие её самоубийства. Матрёша заболевает, впадает в бред: она посчитала, что предала Христа, поддавшись соблазну, искушению. Говорила, что «Бога убила». Способом самоубийства выбрала повешение. Смерть Иуды. Также завершил свой путь и Николай Ставрогин. Таким образом, «готическая» сюжетная схема реализована в полной мере: «Ключ» (персонаж-проводник) – Тихон; «Зам*о*к» («имморалист-преступник») – Ставрогин; «Дверь» («страшная тайна») – развращение и гибель ребёнка; «Сокрытое» (жертва) – Матрёша.

Убийство ребёнка, его осквернение / развращение в идеологической и поэтической системе «Бесов» связано не только с темой «уголовщины», но и «сатанизма» (о чём было сказано в главе выше) – осознанного искажения красоты, попрания святости, нарушения душевной чистоты и всего того, что в христианстве символизирует «ребёнок», а чаще – «младенец», ассоциирующийся с новорождённым спасителем, воплощением безгрешности (аналогично в романе «На ножах» Лескова – образ ясновидящей девочки Веры).

Развращение «нигилистами» детей – одна из тем антинигилистической литературы. Это «тёмная сторона» проповедования свободных отношений между мужчиной и женщиной (ср. Нюта Лубянская из «Панургово стада», Глафира Акатова из романа «На ножах» и др.). Именно на развращённом ребёнке заостряется внимание у Дьякова в повести «Из записок социал-демократа» (1879), напомним: «Одна из женщин была поразительно молода, сущий ребёнок; она усерднее всех рисовалась цинизмом, поднимала подол, чтобы юбками

вытереть стол, залитый пивом, и нахально улыбалась, обводя глазами своих собеседников и разбрасывая им на колени свои детские ноги» [7, с. 31]. В душу Матрёши тоже проник разврат: «Наконец вдруг случилась такая странность, которую я никогда не забуду, и которая привела меня в удивление: девочка обхватила меня за шею руками и начала вдруг ужасно целовать сама. Лицо ее выражало совершенное восхищение» [2, с. 16].

Нюта Лубянская во власти «чудовища»

Готический сюжет получает реализацию лишь в самом конце жизненного пути Лубянской, по сути – организует сцены страшной развязки. Ужас в жизни героини начинается, когда её соблазнитель Ардальон Полояров решает похитить у неё младенца и сдать в воспитательный дом (решился «сожрать человечину» в соответствии с социальным дарвинизмом). И здесь мы видим типичные мотивы литературы «таинственного и ужасного».

Прежде всего – заточение. Обессиленная родами Лубянская прикована к постели и заперта с ребёнком в своей комнате в коммуне нигилистов, как и монахиня Агнеса (роман «Монах»), заточённая в подземный склеп, и родившая там среди трупов ребёнка – «плод греха». Заметим, что «коммуна нигилистов» часто сравнивалась, хоть и в ироничном смысле, с «монастырской братией». Ср. «Обеда в коммуне не стряпали, а вся *братия* ходила питать себя поблизости в одну кухмистерскую, которую содержала некоторая дама или девица, принадлежавшая тоже к лику "новых людей"» [3, с. 208].

Ночью к Лубянской приходит Полояров («имморалист-преступник», «зам*о*к»), подобно фольклорному чудищу (см. хапун, гарпия, Грила, Гилло – «существо, похищавшее и пожиравшее новорожденных» – [116, с. 271] и др.), он пытается отобрать младенца. Преступное намерение Ардальона (сдать ребёнка в приют, чтобы избавить себя от опасности быть привлечённым к ответственности) – «страшная тайна» («дверь»). Девушка сопротивляется из

последних сил. Образ Ардальона приобретает демонические черты, он безжалостный тиран (модель «трагического властителя»), он эмоционально глухое чудовище (ср. «оживший мертвец», «оборотень», «вампир»). И в итоге нигилист побеждает – ребёнок похищен у спящей матери. Нюта, не обнаружив подле себя младенца, впадает в горячку, а позже и умирает («сокрытое», жертва). Обстоятельства случившегося выясняет Пётр Лубянский («ключ»), погружаясь в тайну гибели своей дочери.

«Готическая» сюжетная схема реализована полностью: Пётр Лубянский («ключ») – Ардальон («зам*о*к») – намерение избавиться от младенца как от угрозы («дверь») – Нюта («сокрытое»)). Таким образом, объединив темы антинигилистической полемики с «готическим» сюжетом и комбинацией мотивов «таинственного и ужасного», Крестовский продемонстрировал смену парадигмы «свободы» на «тиранию» в обществе, созданном нигилистами-революционерами.

Самоубийство Ольги Бровской, «заточение» Веры Чужаевой и кровавая расплата Константина Хвалынцева[104]

Выше мы уже обсудили зависимость повестей Дьякова от поэтики «таинственного и ужасного». В частности, указали на связь повести «Фатальная жертва» (1876) с «Киевскими ведьмами» (1833) Сомова, а «Из записок социал-демократа» (1875) – с «Островом Борнгольмом» (1794) Карамзина. Но кроме эксплуатации мотивов готики, в повестях Дьякова особым образом реализуется и её сюжетная схема. А типичный мотив кровавой расплаты оформляет кульминацию предательского пути Хвалынцева из «Кровавого пуфа» (1869, 1874) Крестовского и «ведомой грешницы» Боровский из «Фатальной жертвы».

[104] При подготовке этого параграфа мы использовали материал наших статей: «Повесть “Фатальная жертва” А.А. Дьякова (А. Незлобина) и мотив “нечестивого собрания”» // Litera. 2020. № 3. С. 34–40; «Мотивы прозы Н.М. Карамзина в повести А.А. Дьякова “Из записок социал-демократа”» // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2021. Том 80. №2. С 47-52

В повести «Из записок…» герой-повествователь Жернов, подобно герою Карамзина в «Острове Борнгольме», проникает в «страшную тайну» хозяина таинственного запутанного места. Оба выполняют сюжетную функцию «ключа». Но на Борнгольме мы видим средневековый замок, а в швейцарском городе (городке в горах) – дом, в котором живёт уединённая семья русских эмигрантов (мать и дочь). У Карамзина хранитель страшной тайны (инцест детей – сестры и брата) – старик-отец, хозяин замка. А у Дьякова – старуха-мать, спрятавшая дочку на чужбине. На острове в заточении – Лила, а в швейцарском городке – Вера.

Страшная тайна («дверь») семьи Чужаевых, вероятно – внебрачная беременность Веры от некого нигилиста, выведенного за рамки повествования (об этом мы говорили, обсуждая мотив нерассказанной истории). В данном случае героиня соответствует модели «ведомого грешника». Вера прошла тот же путь разочарования в нигилизме, что и Ольга Бровская («Фатальная жертва»), Нюта Любянская («Панургово стадо»), Глафира Акатова («На ножах») и др. А вместе с тем Вера, как и карамзинская Лила, является «жертвой», а также – «грешницей». Но в «Острове Борнгольме» преступный имморализм брата и сестры не интерпретируется как «злодейство» (такова концепция сентиментализма: чувство свято, поскольку оно искренне). Негативную трактовку получают именно действия сурового отца, заточившего дочь. У Дьякова же старуха-мать не обладает беспощадностью хозяина замка острова Борнгольм. И она благоволит «спасителю» Жернову, который может «извлечь» Веру из «заточения», женившись на ней. И молодой человек действительно спасает девушку. Поэтому кроме самой реализации готической сюжетной схемы мы видим ещё и особую её интерпретацию:

Жернов («ключ») – старуха-мать («зам*о*к», но не «преступник-имморалист») – причины, заставившие покинуть Россию («дверь» – «страшная тайна», сокрытая от читателя «нерассказанной историей») – Вера («жертва» и «ведомая грешница», виновница своих злоключений) – некий нигилист, не фигурирующий в сюжете («демон-искуситель», «имморалист-преступник»).

В «Фатальной жертве» же, как и в повести Сомова «Киевские ведьмы», готический сюжет реализуется, когда возникает ситуация непрошенного гостя в нечестивом собрании. Если у Сомова казак Фёдор Блиславка («ключ») проникает в мир сатанинского шабаша, требующего человеческих жертвоприношений («сокрытое»), и открывает страшную тайну («дверь») своей тёщи старухи Ланцюжихи («зам*о*к») и гибнет, то Бровская попадает в «шабаш» кружковцев-революционеров, нигилистов. Её приводит туда жених Дёрнов. На него в последствии и ложится сюжетная функция «ключа». Он постепенно проникает в замысел «кружковского идола» Трутнева («имморалист-преступник»), который опутал идеологией нигилизма – отрицанием семьи, брака, идеей свободных отношений между мужчиной и женщиной – Ольгу («ведомая грешнца») и толкнул её на продажу самой себя, своего тела. Ср. «Есть дурак, влюбился в вас. Вот и пользуйтесь на общее благо» [8, с. 146] (по сути – отправил на идеологически обоснованную проституцию) («дверь», «страшная тайна»), в результате чего героиня покончила с собой («сокрытое», жертва). Таким образом, объединив антинигилистическую полемику с мотивами нечестивого собрания и непрошенного гостя в «шабаше», Дьяков показал беспринципность нигилистов, скрывающуюся за показной принципиальностью. Ср. «Полагаю, что с такими людьми осторожность необходима» [8, с. 88] – предупреждает Дернов свою невесту перед её уходом в «кружок». А организацией этого сюжета послужила типичная готическая схема: Дёрнов («ключ») – Трутнев («зам*о*к») – намерение продать Ольгу Бровскую («дверь») – самоубийство Бровской («жертва» и «ведомая грешница»).

Кровавая расплата настигает и «ведомого грешника» Константина Хвалынцева из «Кровавого пуфа». Но в данном случае готический сюжет интерпретируется особым образом. Герой Крестовского наделён не только сюжетной функцией «преступника-имморалиста» (хоть и ослабленной, Хвалынцев – не злодей), но и функцией «ключа». Сбитый на путь предательства он проходит тропой секретных встреч, таинственных знаков, хитроумных интриг и всё глубже погружается в страшный мир польско-литовского заговора.

Крестовский использует «ведомого грешника» в качестве «сюжетного проводника», чтобы показать читателю тёмный мир зловещего, «Ржонда» («народного правительства»), описанного в духе мрачного тайного общества, связанного и с криминальными элементами. В катакомбах Варшавы проходят католические мессы, на которых польских патриотов благословляют на кровавые расправы. Ср. «Ксендзы и монахи приводят их к присяге на верность Ржонду, снабжают оружием и благословляют особо избранных на тайные убийства» [3, с.470]. Всё это – типичные мотивы и приёмы литературы «таинственного и ужасного».

Постепенно Хвалынцев открывает секреты повстанцев – подлоги, ложь, провокации, тиранические политические проекты по будущему распределению власти и т.п. Но измена, на которую пошёл Хвалынцев, поддавшись манипуляции со стороны «проклятого скитальца» Василия Свитки, не принесла никому зла. И прозрев, Константин пытается вырваться из пут повстанческой организации, но как и любого «преступника» его ожидает кровавая расплата. Герой получает удар от малолетнего «кинжальщика», но не смертельный. В Хвалынцеве по замыслу Крестовского противоборствовали «две силы» (аналогично названию второго романа дилогии), поэтому в герое и совместились функции «имморалиста-преступника» (предателя), «жертвы» и «ключа» к тайнам.

Отметим, что малолетство используемых революционерами «палачей» – отнюдь не выдумка Крестовского, а отражение практики, позже ставшей типичным явлением. На закате Российской империи многие теракты против чиновников были совершены лицами, которым не было и 21 года. Самому старшему в одной из боевых групп социал-демократов было 22 года, младшим по 14 и 15 лет. Анна Гейфман приводит интересную статистику: «Примерно 22% всех террористов-эсеров были от 15 до 19 лет, а 45% - от 20 до 24. В Белостоке в 1905 году был создан боевой отряд школьников – членов Партии социалистов-революционеров. Шестнадцатилетние подростки примыкали и к максималистам,

а среди анархистов несовершеннолетние, некоторым из которых было не больше 14, встречались ещё чаще» [122, с. 240-241].

Убийство матери собственными детьми в семействе Емельяновых[105]

Реализация готической сюжетной схемы в «Тайнах современного Петербурга» (1876) князя Мещерского очень схожа с её же реализацией в «Уединённом домике на Васильевском» (1828) В.П. Титова и А.С. Пушкина. Сюжет этой повести, комбинация мотивов и даже характерология воспроизводятся и интерпретируются в главе 5 романа Мещерского. Прежде всего, это мотив приглашения в свой дом нечисти и нечисти, влюбившейся в человека. Но в «Тайнах современного Петербурга» мотивы «таинственного и ужасного» трансформировались и адаптировались в соответствии с культурным и социально-политическим контекстами второй половины XIX века. И в представлении писателя-антинигилиста «нечисть» трансформировалась в «нигилиста» («нечисть социальную»).

Владимир Петрович Мещерский рос в семье, хорошо знавшей сюжет «Уединённого домика на Васильевском». История о чёрте, влюбившемся в дочку вдовы, была рассказана Пушкиным (в 1827, либо 1828 гг. [154, с. 492]) в салоне Е.А. Карамзиной – бабушки Владимира Петровича – и в присутствии Е.Н. Карамзиной – матери Владимира Петровича. Вероятно, там же был и отец Владимира Петровича – П.И. Мещерский, хороший знакомый Пушкина. На том же вечере присутствовал и В.П. Титов, на которого рассказ Александра Сергеевича произвёл сильнейше впечатление: «Апокалипсическое число 666, игроки-черти, метавшие на карту сотнями душ, с рогами, зачесанными под высокие парики» – вспоминал он потом [281, с. 158]. С разрешения Пушкина и

[105] При подготовке этого параграфа использован материал нашей статьи «“Тайны современного Петербурга” В.П. Мещерского и “Уединенный домик на Васильевском” В. П. Титова и А. С. Пушкина» // Litera. 2020. № 1. С. 124-134

после его правок «Уединённый домик на Васильевском», написанный Титовым, был опубликован в альманахе «Северные цветы» (на 1829 год) А.А. Дельвига. Отметим, что В.П. Мещерский – внук по материнской линии Н.М. Карамзина, автора повестей «Остров Борнгольм», «Сиерра-Морена», «Дремучий лес», как известно – первых русских повестей, соответствующих поэтике западноевропейской готической литературы.

Через год после публикации в «Северных цветах» «Уединённого домика…» Пушкин написал повесть «Гробовщик» (1830), где эффектно (но в пародийной «травестийной» форме) использовал распространённые в готике мотивы: явление мертвеца, возмездие, ночное столкновение со сверхъестественным, страшный сон и др. Примечательно, что в 1833 году Пушкин создал «Пиковую даму», где представлена комбинация тех же мотивов (включая безумие и пагубное стремление к богатству и могуществу). Известно, что на Пушкина повлиял роман Чарльза Метьюрина «Мельмот Скиталец». В строках «Евгения Онегина» Александр Сергеевич сводит вместе известные образы – «задумчивый Вампир», «Мельмот, бродяга мрачный», «Вечный жид» [69, с. 53]. «Вечный жид» – персонаж романа «Монах» Льюиса, а «задумчивый Вампир» – образ, созданный Байроном.

Отметим, что обстоятельства появления готического рассказа «Вампир» (1819) в журнале «New Monthly Magazine» схожи с историей публикации «Уединённого домика на Васильевском». «Вампир» (изначально приписываемый Байрону) родился из рассказанной на ночь страшной истории. Это произошло в июне 1816 г. у Женевского озера на вилле Диодати, где гостила компания друзей – лорд Байрон, поэт Перси Шелли и его спутница (будущая супруга) Мэри Годвин (Шелли), а также Джон Полидори, секретарь и врач Байрона. Друзья договорились, что каждый сочинит страшную историю. Байрон рассказал «Вампира». Полидори переложил рассказ на бумагу, по-своему обработал, а позже опубликовал [105, с. 497]. Там же, на вилле Диодати, Мэри Годвин (Шелли) поведала историю, ставшую планом культового готического романа «Франкенштейн, или новый Прометей» (1818). Таким образом, вампир и

чудовище Франкенштейна, придуманные путешествующими людьми, во многом «имморалистами», оказались одними из главных «проклятых скитальцев» литературы тайн и ужасов. Следом за ними родился и любимый Пушкиным Мельмот (1820), от которого и произошёл демон Варфоломей («влюблённый чёрт») из «Уединённого домике на Васильевском». И тоже «проклятый скиталец».

Сопоставим сюжет повести «Уединённый домик на Васильевском» с интересующей нас главой 5 романа «Тайны Современного Петербурга», чтобы увидеть адаптацию «таинственного и ужасного» к актуальному «социально-политическому»:

«Ключом» у Мещерского оказывается Магистр юридического права Степан Боб, главный герой романа. Этот персонаж задаётся целью изучить современное петербургское общество и найти причины несчастий и злоключений людей. Боб видит, как Петербург разлагается в моральном, интеллектуальном и духовно-религиозном смыслах (типичные готические мотивы упадка, медленной смерти мира и т.п.). Поиски приводят Боба на цокольный этаж одного из жилых домов, в бедную (тесную и тёмную) квартиру (мотив уединённости / изолированности места; своего рода «микромир» с особой историей и со своими внутренними «злыми» и «добрыми» силами). Там Боб встречает необычное семейство Емельяновых, что-то вроде маленькой коммуны нигилистов: девушка (17-летняя Паша) и её брат (Володя), у Паши младенец. У них периодически бывает и четвёртый член «семьи» – студент Кедров. Он отец ребёнка, но при этом законным мужем девушки не является, называет себя её «товарищем» (тема отрицания брака и института семьи). Володя и Кедров считают себя «новыми людьми», нигилистами, а юная наивная Паша, мировоззрение которой ограничено семейным кругом общения, во всём своих «товарищей» поддерживает. Бобу становится интересно, как же могла получиться такая необычная «семья»? И что же случилось с матерью семейства Емельяновых? Простодушная Паша берётся рассказать. Форма рассказа (сюжетного целого) внутри романа – типична для произведений готической прозы («Монах» Льюиса,

«Мельмот Скиталец» Метьюрина, «Упырь» А.К. Толстого и др.). Рассказ Паши оказывается «страшной историей», вместившей все звенья «готического» сюжета.

Выясняется, что изначально семья была другой. В бедной квартире жила вдова с двумя детьми – Володей и Пашей. Если сравнивать характерологию с «Уединённым домиком…», то у Титова и Пушкина мы видим следующее: в домике жили вдова и её дочь Вера. К ним приходил родственник Павел, молодой чиновник. Вера называла Павла «братом», и отношения у них были, как у брата с сестрой. В «Уединённом домике…» Павел выполняет сюжетную функцию «ключа».

А если сравнить комбинацию основных мотивов, то в романе Мещерского Володя приводит в дом нигилиста Кедрова, что оказывается гибельным решением («приглашение в свой дом нечисти»). А в «Уединённом домике на Васильевском» Павел дружит с молодым человеком по имени Варфоломей (демон, собиратель душ). Тот тратит деньги на разврат и кутёж, в котором участвует и Павел. Варфоломею становится известно, что у его приятеля на Васильевском острове есть «сестра». Демон настаивает на встрече с ней. Павел не хочет приглашать, но чувствует себя должником и ведёт демона в дом к родным.

В романе Мещерского у Паши Емельяновой и нигилиста Кедрова появляется ребёнок. Но брак они не заключают. Кедров говорит, что им жить пока не на что, и необходимо время, чтобы он мог прославиться и стать богатым человеком. Молодые люди решают жить «по-простому», вне узаконенного супружества, брака. Бросить Пашу Кедров не может, он испытывает к ней любовную страсть. Но вместе с тем у Кедрова есть отношения с графиней Лизой Ребровой, аристократической девушкой, исповедующей нигилизм. Она для Кедрова «парусок» в жизнь, а Паша – «балласт». Об этом нигилист заявляет открыто, без «предрассудков». В «Уединённом домике…» мы тоже видим «графиню» – демоническая Графиня И. С ней Варфоломей и знакомит Павла и отваживает его от домика на Васильевском, а сам очаровывает Веру и её мать.

«Мать» оказывается жертвой («сокрытым») в обоих произведениях.

Глава семейства Емельяновых была человеком старых взглядов, «того времени» – как выразилась Паша. Женщина не смогла выдержать «новых порядков» и смириться, что дочь живёт с мужчиной вне брака, имея от него ребёнка, и тяжело заболевает. Кульминацией страданий становится столкновение с атеизмом детей, «богоборчеством». Мать просит позвать священника, чтобы в последний раз причаститься и умереть с миром. Но Володя не разрешает привести батюшку. Женщина умирает без отпущения грехов. Паша, Володя и Кедров – оказываются в сюжетной позиции «замк*а*» («имморалисты-преступники», носители страшной тайны). Ср. «Они, вероятно, все трое вместе убили эту мать, и она [Паша] не подозревает даже этого» [5, с. 114] – делает вывод Боб после услышанного. «Убийство» матери, осознаваемое Володей, но не наивной Пашей – страшная тайна («Дверь»).

И аналогичную ситуацию мы видим в «Уединённом домике…». Мать Веры оказывается на смертном одре. Дочь пытается послать за священником, но Варфоломей мешает. Мать умирает без последнего причастия. Таким образом, в обоих произведениях готическая сюжетная схема получает полную реализацию, но с учётом специфики художественного замысла разных авторов:

«Уединённый домик на Васильевском»: сюжетную функцию «ключа» выполняет Павел, он узнаёт, что его приятель Варфоломей («зам*о*к») – демон / собиратель душ. Его страшная тайна («дверь») – намерение захватить / похитить (забрать в свой тёмный мир) девушку Веру. Демон её полюбил. «Сокрытым», жертвой, оказывается вдова-мать, сама Вера, а позже и Павел, умерший вскоре после случившихся таинственных и страшных событий.

Глава 5 романа «Тайны современного Петербурга»: Степан Боб («ключ») проникает в «коммуну» нигилистов Володи, Паши и Кедрова («имморалисты-преступники» / «зам*о*к») и открывает страшную тайну («дверь») – убийство матери собственными детьми («сокрытое», «жертва»).

Цитирование пушкинского сюжета имеет особое значение для антинигилистической литературы: выражает преемственность поколений в

русском литературном процессе XIX в. (когда преемственность Пушкина в «нигилистической» или «революционной» литературе 1860-1870 гг. отрицалась в силу утилитарного подхода к искусству и презрения к «изящному»). Трансформировав романтический пушкинский замысел в реалистическом романе, Мещерский адаптировал понятия «нечисть», «нечистая сила» к социально-политическому контексту своего времени и выразил особую историософскую идею, связанную с эсхатологической и профетической линиями антинигилизма. И в «Тайнах современного Петербурга» под образом «старой матери» подразумевается сама Россия. И «общий дом» погибает не от апокалиптического пламени, а от цинизма и легкомыслия «новых людей», выстроивших своё мировоззрение в соответствии с догмами нигилизма – радикального отрицания всего традиционно русского.

Заключение

Рассмотрев проблему «жанрового синкретизма», мы увидели, что антинигилистические романы и повести – особая форма социально-политической полемики. Авторы сосредоточились на анализе тёмных сторон революционного движения 1860-1880 гг. и транслировали своё особое видение мира – мрачное, пессимистичное, с катастрофой в будущем. В соответствии с этим мироощущением и подбирались (интуитивно или осознанно) наиболее подходящие художественные формы (модели персонажей, комбинации мотивов, сюжетные схемы и проч.) для организации актуального новостного, бытового и культурного материала, связанного с проблематикой нигилизма. В антинигилистической прозе можно обнаружить одновременное влияние самых разных жанров, известных писателям третьей четверти XIX века. Но влияние готической литературы было одним из доминирующих. Поэтика готики вполне отвечала задачам «эмоционального-волевого воздействия» антинигилистических произведений. А именно – желанию устрашать. Вместе с тем антинигилистическая проза была вполне готова к восприятию «таинственного и ужасного». К третьей четверти XIX века готика уже глубоко интегрировалась в русскую литературу. И каждый из рассмотренных нами авторов антинигилистической прозы знал готическую литературу и оказался в той или иной степени под её влиянием.

Следы «чёрного» романа есть как и в художественных произведениях, так и в публицистических, включая и литературу революционеров (напр. прокламация «Свобода» (1862), статья Герцена «Исполин просыпается!» (1861), «Заживо погребённые» Долгушина (1878) и др.). В советский период исследователи (А.И. Белецкий, Ю.С. Сорокин, А.И. Батюто, А.Г. Цейтлин и др.) заметили в антинигилистической прозе элементы вполне соотносимые с готикой, а именно с системой её мотивов, но не указали конкретно на влияние литературы «таинственного и ужасного».

Разграничив воздействие исторического романа и романа готического на антинигилистическую прозу, мы заключили, что разговор об элементах первого уже содержит в себе вопрос о влиянии готики. Исторический роман первой трети XIX века был сформирован как раз на базе литературы «таинственного и ужасного». Это прослеживается и в русской исторической прозе – в «Ледяном доме» (1835) И.И. Лажечникова, «Князе Курбском» (1843) Б.М. Фёдорова, «Дмитрии Самозванце» (1830) и «Мазепе» (1933) Ф.В. Булгарина. Поэтому существующие в литературоведении тезисы о связи антинигилистической прозы с историческим романом также справедливы и в отношении связи с готикой. Мы имеем дело, по сути, с одними и теми же характерологией и комбинацией мотивов. Безусловно, картины мира обоих схожим (христианская космология, дихотомия Бога и Дьявола, «светлого» и «тёмного», «историзм» – ориентация на контекст конкретной эпохи – романтическое восприятие средневековья, «антиквареизм» – использование средневековой атрибутики, также есть мистические явления, фантастические существа демонического спектра и связанные с ними сюжетные схемы и др. признаки). Но отличия между произведениями обоих жанров заключаются в том, что авторская задача в готике – заинтриговать и ужаснуть читателя, погрузить в мир тьмы, где зло доминирует, а страшная тайна, вокруг которой выстроен сюжет, скрывает грех, нарушенное табу, повлекшее вереницу кошмарных событий (поэтому готика во многом дидактична). Задача же исторического романа – реконструкторская, т.е. реставрация конкретной исторической действительности. И в этом смысле изображение подлинных событий 1860-1870 гг. в антинигилистической прозе преимущественно связано с традицией исторического романа. А создание атмосферы страха, безвыходности, беспомощности, повсеместного «гниения» жизни, наполнение художественного пространства профетическими и эсхатологическими мотивами – в большей степени опирается на готику. Торжество греха и ощущение грядущей катастрофы соответствует антиреволюционным настроениям русской патриотической интеллигенции 1860-1870 гг.

Обсудив темы тирании и революции в произведениях двух жанров, мы увидели, что жестокое навязывания своей воли – будь то государственная деспотия или революционная тирания – центральная тема и в готической, и в русской антинигилистической прозе. В литературе «таинственного и ужасного» акторами насилия оказываются герои-имморалисты – трагические властители, ведомые грешники, проклятые скитальцы, нарушающие законы государства и общечеловеческие табу, и в этом смысле бросающие вызов мирозданию, самому Богу. А в антинигилистической литературе – это политические радикалы: маленькие безжалостные диктаторы, стремящиеся принудить Россию к революции. Писатели-антинигилисты увидели в нигилистах-революционерах тиранов, а революция ассоциировалась исключительно с террором.

Расцвет «готики» – 1790-ые гг. – хронологически выпал как раз на период Великой французской революции – 1789-1799 гг. Произошедшее во Франции потрясло все монархии Европы. И в готике стали появляться не просто реминисценции, но и прямые отсылки к событиям тех лет (см. «Монах» (1794) М. Льюиса, «Мельмот скиталец» (1820) Ч. Метьюрина, «Дон Коррадо Де Гереро, или духа мщения варварства гишпанцев» (1803) Н.И. Гнедича, «Пророчество Казота» (1806) Жана-Франсуа де Лагарпа и др.). И тождество «революция – тирания», «революционер – деспот», позже осуществлявшееся в русском антинигилистическом романе 1860-1880 гг. в ключе «таинственного и ужасного», было лишь продолжением концепций, наметившихся в 1790-ые гг.

В жизни многих сторонников французской революции произошёл мировоззренческий переход к консерватизму. Например, у Жана-Франсуа де Лагарпа, автора готического «Пророчества Казота». Так же было и у ключевых авторов антинигилистического романа (Достоевский, Крестовский, Дьяков и др.): переход от «революционного» к «антиреволюционному».

В альманахе «Аглая» (1794-1795) Карамзина, где появилась первая русская готическая проза, уже была задана модель, в которой «готика» («тайны и ужасы») – «Остров Борнгольм» (1794), «Сиерра-Моррена» (1795), «Дремучий лес» (1795) – соединена с идеями «революция – тирания», «революция –

предвестие гибели европейской цивилизации» – письма «Мелодор к Филалету» и «Филалет к Мелодору» (1795). Эта модель впоследствии и была развёрнута в антинигилистической прозе. Письма Филалета и Меладора наполнены отчаянием и страхом. Революция мыслится как нашествие дикарей. И от этой концепции русская патриотическая интеллигенция уже не отступала. С «варварством» сблизил «нигилизм» и критик Н.И. Надеждин в своём памфлете 1829 года «Сонмище нигилистов (Сцена из литературного балагана)». «Нигилизм» и «революция» представлялись как явления «дохристианские», «языческие», отсюда и эсхатологическая мысль о приближающейся гибели европейской цивилизации. «Антихристианство», а по сути – «перевёрнутый мир» (аналогично «перевёрнутой церкви», «шабашу»), было мотивом, сопутствующим изображению кружков нигилистов (повести «Кружковщины», «Бесы», «На ножах», «Две силы» и др.)

Монтегю Саммерс, один из самых авторитетных исследователей готики, употребил понятие «нигилисты» (единожды в своей книге «The Gothic quest: A history of the Gothic novel» (Готический квест / поиск: История готического романа) (1938)) в связи с тайными обществами, зловещими заговорами и революцией, обсуждая готический роман Карла Гроссе «Гений. Таинственные приключения дона Карлоса де Гранде» (1794). И «Кровавый пуф» Крестовского на уровне сюжетной линии Константина Хвалынцева с произведением Гроссе схож.

Важно и то, что классическая готическая проза – оппозиционна Просвещению. Гораций Уолпол, возрождая в «Замке Отранто» дух средневековья и дискутируя с Вальтером, выстраивал оппозицию просветительскому роману. Готическая проза – иррациональна, разум в её художественном мире не правит. Поэтому Уолпол и обратился к «готическому» («варварскому») прошлому, пытаясь реконструировать мистическое мироощущение средневекового человека. В этом смысле оппозиция готического романа просветительскому – аналогична оппозиции антинигилистического романа нигилистическому, базирующемуся на жёстком материализме

(единственно истинной картине мира, с точки зрения её приверженцев). И это с учётом того, что нигилисты, распространяя естественно-научные знания, считали себя просветителями.

В 1860-1870 гг. в патриотической печати (К.В. Трубников «Источники смуты и опоры крамолы» (1880), А.П. Мальшинский «Обзор социально-революционного движения в России» (1880), публицистика М.Н. Каткова и др.). нигилисты сопоставлялись именно с якобинцами, силой, произведшей на тот момент самое ужасающее впечатление во всей истории европейских революций. В русских нигилистах увидели таких же радикальных социальных «уравнителей» (эгалитаристов), разрушителей культуры, ненавистников искусств, ассоциировавшихся с хорошим вкусом, аристократичностью и проч. Революция была невозможна без тотального отрицания всех культурных и политических основ, на которых стоял старый порядок.

М.Н. Катков сформулировал концепцию «управляемого нигилизма», которая стала доминирующей в ключевых произведениях антинигилистической прозы. И мы видим, что практиками «управляемого нигилизма» в антинигилистической прозе оказались и агенты польских повстанческих организаций («Кровавый пуф» Крестовского), и герои, замыслившие уголовное преступление с целью наживы («На ножах» Лескова), и революционеры-мошенники («Бесы» Достоевского), и тунеядствующие вожди кружков, живущие на деньги распропагандированной молодёжи («Кружковщина» Дьякова) и др. Тема «управляемого нигилизма» раскрывается с помощью модели «ведомого грешника», активно применявшейся в готической прозе: взаимодействие между, условно, «демоном-искусителем» и «имморалистом», подталкиваемым к гибели. (Трутнев и Ольга Бровская в «Фатальной жертве» Дьякова, Свитка и Хвалынцев в «Кровавом пуфе», Верховенский и Ставрогин в «Бесах», Бодростина и Горданов с Висленевым в романе «На ножах» и т.д.)

Рассмотрев проблему генезиса литературного нигилиста и готической прозы, мы увидели, что принцип «социального дарвинизма» (безусловная доминанта мировоззрения нигилиста 1860-1870 гг.) стал ключевой в

антинигилистической рефлексии. Писатели увидели ужас бесчеловечности в попытках перенести законы естественного отбора на отношения между людьми. Дилеммы, связанные с «социальным дарвинизмом», аналогичны вопросам готической литературы. Во-первых, это «титанизм» (право на бунт против Бога и «перекраивание мира»). «Великое отрицание», «самомнение», «жестокость» соединены в нигилисте с «революционностью» – «титанической» борьбой с царём и Богом (религией) – а вместе с тем связаны с преступностью – как и в высоком трагическом смысле (преступать закон, рискуя свободой и жизнью ради лучшего будущего для грядущих поколений), так и в низком – уголовном.

Во-вторых, это «вампиризм» (право на «поглощение жизни» для продолжения своего собственного существования – в буквальном или социально-политическом смыслах). Есть два мотива, сопутствующих и вампирам (типичным «проклятым скитальцам» готической прозы), и политическим радикалам антинигилистической литературы: приглашение в свой дом нечисти и нечисть, влюблённая в человека (или наоборот).

В-третьих, «оборотничество» («тёмная сторона» естества, или скрытые «злые» намерения). Антагонисты нигилистической прозы не только меняют «маски», скрывают свои подлинные намерения, но и чаще всего оказываются неспособными противостоять «злому» / деструктивному / «опасному» внутри себя (Василий Свитка, Ставрогин, Ардальон Полояров).

Таким образом, характер большинства антагонистов антинигилистической прозы формируется практически неизмененным «синкретичным» комплексом из идеологий, развившихся задолго до появления литературного нигилизма. «Готические» титанизм, вапиризм, оборотничество объединились с романтическим бунтарским индивидуализмом и типично реалистической уголовной преступностью. Антинигилистической литературой был перенят и комплекс приёмов устрашения / демонизации (для формирования особого представления о нигилисте как носителе деструктивных для государства и личности воззрений).

Проанализировав произведения антинигилистической прозы на предмет эсхатологической символизации художественных пространств и «демонизации» нигилистов, мы поняли, что нигилист – это «актор» разрушения мира, главный субъект действия, по сути – «социальный демон». Отсюда и эсхатологическая символика – наполнение художественного пространства антинигилистических произведений знаками приближающегося конца света – революции. Аналогично и в готике, но в религиозном ключе, а не социально-политическом. Преступник-имморалист, в котором персонифицирована «злая сила», каждым своим поступком, нарушающим табу, свидетельствует о грядущей глобальной катастрофе. Мир, поражённый грехом, рухнет. Это идея и готики, и антинигилистического романа.

Предчувствие революции в антинигилистической прозе схоже с тем, чего добиваются авторы готики – реконструкции мистического ощущения средневекового человека, когда всё вокруг наполнено тайным смыслом, и за всем этим стоят силы, недоступные человеческому пониманию. Пророчества звучат на страницах антинигилистических текстов, приоткрывая завесу таинственного пугающего будущего, событиям которого ещё только предстоит получить исторический ход. Также и у Лагарпа в готическом «Прочестве Казота» (1806) профетизм связан исключительно с темой ужасов революции. В обоих жанрах по сути описывается сам процесс движения к глобальной катастрофе. Но в литературе тайн и ужасов речь идёт о человеческом бытие вообще, а у русских антинигилистов «конец света» локализирован в границах России. Ожидается пламя революции, после которого русский мир прекратит своё существование. В готике и в антинигилистической прозе «силы тьмы» обычно торжествуют, многие преступники-имморалисты остаются ненаказанными. По крайней мере, читатель может лишь размышлять, настигнет злодея возмездие или нет, или это уже в какой-то степени произошло.

В произведениях антинигилистической прозы и готики идёт война между «грешниками» и «праведниками». И «простота» противопоставления антагонистов и протагонистов в данном случае является следованием

христианскому канону борьбы между «миром тьмы» и «миром света», «градом земным» и «градом небесным». Социальным же «демонам» антинигилистической литературы – личностям из сфер студенчества, разночинной интеллигенции, чиновничества (преимущественно мелкого), а также духовенства, например – священник-атеист отец Валентинский из «Тайн современного Петербурга» – присущи вполне традиционные демонические черты.

Если в христианской трактовке «демон» отождествляется с «бесом» и рассматривается как «подручный Сатаны», то «нигилист» является «посланником» и «служителем» Революции. В христианстве и фольклоре демоны мыслятся как враги человеческого рода, противники святой троицы и ангелов, а кроме этого – ненавистники брака, стремящиеся всячески его разрушить. Это соответствует отрицанию нигилистами брака как социального института. Демонам приписывается и возможность проникновения в ход человеческих мыслей и вкладывания в ум внушений, а кроме этого – частая смена лиц, маскировка / переодевания, что близко «оборотничеству». Это вполне соответствует пропагандисткой деятельности революционеров. Ассоциирование нечистоты, грязи с силами зала, тьмой, сатанинским – типично для религиозно-мифологической картины мира. И в образах нигилистов мы видим нарочитую небрежность, «антиэстетизм», связанный с «антиаристократизмом». В них же доминируют тёмные цвета в одежде, есть животные черты.

В ключе фольклорных представлений о «демоническом» образы нигилистов достаточно подробно проанализировала Н.Н. Старыгина [219] (но о влиянии готической литературы она не говорила). Но большинство демонических признаков, подмеченных Старыгиной в нигилистах, соответствуют и типичным моделям готического «имморалиста-преступника», а именно – трагическому властителю, ведомому грешнику, проклятому скитальцу, повлиявшим на формирование антагонистов антинигилистической прозы.

Современники нигилизма связывали его распространение и с ослабеванием христианской веры. «Эсхатологическое» и «демоническое» в готике и

антинигилистической прозе связано с «богоборчеством» и в обоих жанрах оно усугублено и до открытого служения «тьме» – до культивирования греха, преступности, как и в ключе религиозной, традиционной морали (табу), так и в уголовном смысле. И мы сталкиваемся с «перевёрнутой церковью», с миром вне Бога, вне Христа («уродование» религиозной атрибутики, искажение обрядов, замена «светлого», «чистого» и т.д. на «тёмное», «грязное», подмена красоты уродством). Поэтому Дьяков в «Фатальной жертве» и провёл параллель между кружком нигилистов-революционеров и ведьмовским шабашем и делал это по образцу «Киевских ведьм» О.М. Сомова. И «осквернение» здесь – доминирующий мотив. В антинигилистической прозе он интерпретирован в социально-политическом ключе (в Бесах: «мерзкие фотографии» порнографического содержания, подсунутые книгоноше в мешок с «Евангелиями», мышь, пущенная Верховенским в икону Богородицы, «материалистическая месса» как аналог «чёрной мессы», но в травестийном изображении – сочинения Фохта, Молешотта и Бюхнера, расставленные вместо икон; в «Двух силах»: окутанные тайной «кинжальщики», скрывающиеся в древних катакомбах, где монахи приводят их к присяге и благословляют на тайные убийства).

«Перевёрнутой церковью» совершенно другого рода, нежели «сатанизм», является «сектантство». В романе «На ножах» Лескова среди интеллигенции расползается спиритизм, а среди простого народа – причудливые псевдохристианские, а то и почти языческие, культы. Нигилисты своей «атеистической проповедью» отворачивали простой народ от Христа, но народ, как мы видим это у Лескова, не принимал естественно-научную картину мира, а пробуждал в себе самые мрачные и опасные суеверия.

Описав принцип обыгрывания контраста «смешного» и «страшного», «высокого» и «низкого» в нигилистах, мы заключили, что этот приём вполне отвечал другой задаче «эмоционального-волевого воздействия» антинигилистических произведений. А именно – желанию насмешить. Единство этих противоположностей связано с принципами, заложенными ещё Горацием

Уолполом, создателем готического романа. Это художественный приём, направленный на усиление негативного впечатления – ужаса – от действий антагонистов. Неожиданно для читателя они оказываются способны на злодеяния, которые из-за общего комического фона невозможно и предположить. Так комизм в антинигилистической прозе соседствует с «уголовщиной», с ужасом от действий людей, настроенных вульгарно материалистически, и готовых воплощать в общественной жизни принципы дарвинизма – естественную (и по неразумности своей – беспринципную) борьбу за существование.

Обсудив применение моделей персонажей «готики» в антинигилистической прозе, мы увидели, что место нигилиста в системе персонажей антинигилистического произведения аналогично месту готического злодея в произведениях «таинственного и ужасного». Это положение антагониста в группе «имморалист-преступник – персонаж, приникающий в его тайны – жертва преступника». Система «злодей – жертва» в связи со всеми признаками литературы тайн и ужасов повлекла и воспроизведение в антинигилистической прозе трёх основных моделей готического имморалиста – трагический властитель, ведомый грешник и проклятый скиталец. И они оказались готовыми моделями для формирования персонажей-антагонистов антинигилистической прозы. Модель «трагического властителя» подошла для раскрытия тоталитарной / диктаторской сущности нигилистического мировоззрения (Василий Свитка, Ардальон Полояров, Глафира Бодростина и др.). Модель «ведомого грешника» в антинигилистическом романе воспроизводится в образах, распропагандированных / спровоцированных Константина Хвалынцева, Иосафа Висленева и Горданова, «наших» из романа «Бесы», Бровской и Чужаевой из повестей Дьякова. Что касается модели «проклятого скитальца», то в русском антинигилистическом романе она используется для придания антагонисту одержимости (революцией) и почти сверхъестественных черт: невероятная физическая сила, дар внушения, быстрые транспространственные перемещения («прыжки») и др. (тот же Василий Свитка, Ставрогин, Верховенский и др.)

Николай Ставрогина связан с героем Метьюрина, а также оказался сильно схожим с демоническим Мальдорором Изидора Дюкасса.

В антинигилистической прозе есть соответствия и с системой персонажей-протагонистов готики: «гость» (некто пришлый), «хроникёр» и «исповедник» (оба выполняют в сюжете функцию «ключа к тайне»), а также «жертва». «Ключ к тайне» – это персонаж, проникающий в мир страшных секретов героя-злодея. В романе «Бесы» – это Антон Лаврентьевич Г-в (модель «хроникёра»), а в главе «У Тихона» – сам старец Тихон (и «исповедник»). В «Тайнах современного Петербурга» князя Мещерского – магистр юридического права Степан Боб («хроникёр» и «гость») и др. Как и в готической прозе, в антинигилистической есть «жертва», преследуемая «имморалистом-преступником» (Нюта Лубянская, Шатов, старик Бодростин, мать семейства Емельяновых, Ольга Бровская и др. «Жертва» и «ключ» – работают на максимальную реализацию образа «имморалиста-преступника», сущность которого должна раскрыться, а основы его идеологии – обрушиться, по крайней мере в представлении читателя. Есть в антинигилистической прозе соответствия и по готическим персонажам второго плана: «суетливый спутник» при персонаже-жертве или при «персонаже-ключе», а также «демон-помощник» и «демон-искуситель» при имморалисте-преступнике. Модели «демона-помощника» и «демона-искусителя» воспроизводятся, например, в Петре Верховенском в «Бесах» (линия взаимоотношений с Николаем Ставрогиным), в «кружковском идоле» Трутневе в «Фатальной жертве», Василии Свитке и тайных польских агентах, орудующих на территории России в дилогии «Кровавый пуф».

Сопоставив комбинации мотивов литературы «таинственного и ужасного» и антинигилистической прозы, мы увидели, что социально-политическая трансформация персонажей готики неминуемо влечёт и реинтерпретацию связанных с ними мотивов. Таким образом, готический мотив в антинигилистическом произведении оказался адаптированным к социально-политическому контексту времени и получил публицистическое значение.

Готические мотивы в антинигилистической прозе – не фрагментарны. Там есть целые системы и именно в той комбинаторике, какая характерна для классических произведений «таинственного и ужасного». Например, комбинация «преследование – убийство ради наследства или власти – подделанное завещание – явление мертвеца – возмездие – заточение (или добровольный аскетизм)» в романе «Замок Отранто» (1764) Уолпола повторяется в романе Лескова «На ножах» (1870). И в обоих случаях «призрак» (явление мертвеца как центральный мотив) оказывается предвестием грядущей катастрофы, крушения дома. А рассмотрев комбинацию «богоотступничество – смерть (убийство) матери – нечисть, испытывающая любовную страсть к человеку» в романе «Монах» (1794) Льюиса и в повести «Уединённый домик на Васильевском» (1828) Титова и Пушкина, а также в «Упыре» (1841) А.К. Толстого, мы увидели, что она в точности воспроизводится в «Тайнах современного Петербурга» (1876) В.П. Мещерского. И в каждом из этих произведений присутствует мотив приглашения в свой дом нечисти. Аналогично и с комбинацией «скитальчество – “оборотничество” – тайный сговор – предательство и клятвопреступление – введение в заблуждение – договор с нечистой силой», присутствующей и в романах «Мельмот Скиталец» (1820) Метьюрина и «Монах» Льюиса (см. образы Матильды, Кровавой монахини, Вечного жида), и в повестях «Страшная месть» (1831) Гоголя и «Ватек» (1782) Бекфорда. Эта комбинация мотивов воспроизводится в «Кровавом пуфе» (1869-1874) Всеволода Крестовского (см. образы Василия Свитки, Константина Хвалынцева). У Крестовского же мы встречаем и мотив пожара (горящего города / огня в городе), присутствующий и в «Монахе», и в «Мельмоте Скитальце». И описание пожара в «Панурговом стаде» во многом повторяет сцены из готического романа Метьюрина, где описывается полыхающая тюрьма испанской инквизиции и Великий лондонский пожар 1666 года, устроенный, по слухам, «пописстами» – английскими католиками, ненавидящими англиканскую церковь и британского монарха.

Сопоставив «готическую» сюжетную схему с антинигилистической, мы увидели, что сюжетное действие готической прозы направлено на раскрытие страшной тайны, разоблачение злодея и, как правило, свершения возмездия над ним. Такие же цели преследовала и литература антинигилистическая, но позицию «имморалиста-преступника» занимал «нигилист» / «революционер» / «заговорщик». Задача проникновения в тайну, стоящая перед персонажем с сюжетной функцией «ключа», образует следующую сюжетную схему, каноническую для жанра готической прозы: «Ключ – Зам*о*к – Дверь – Сокрытое». Где «Зам*о*к» – это «имморалист-преступник», «Дверь» – страшная тайна, «Сокрытое» – жертва (результат преступления / нарушения табу, повлекшего череду ужасных событий). Таким образом, задача персонажа с сюжетной функцией «ключа» – подобраться к «Замк*у*» (сориентировавшись в локации, выстроенной по принципу уединённого запутанного места) и открыть «Дверь» (осознано или случайно раскрыть страшную тайну) и увидеть «Сокрытое».

Сюжетная схема готической прозы находит воплощение не на уровне основной сюжетной линии антинигилистических произведений, а на уровне «параллельных», даже – «периферийных». Например, в романе «Панургово стадо» Крестовского: линия «Андрей Устинов и Майор Лубянский («ключи») – Ардальон Полояров («имморалист-преступник» / «зам*о*к») – Нюта Лубянская («жертва» / «сокрытое»)». У Мещерского же в «Тайнах современного Петербурга» «готическая» сюжетная схема реализуется в рамках «рассказа внутри романа», главе 5: «Степан Боб («ключ») – «коммунка» нигилистов: Володя, Кедров и Паша («преступники-имморалисты») – мать семейства Емельяновых («жертва»)». В романе «Бесы» у Достоевского мы видим целых две линии, где реализуется готическая схема: «Антон Лаврентьевич Г-в («ключ») – «пятёрка» и Пётр Верховенский («преступники-имморалисты») – Шатов («жертва»)»; «Тихон («ключ») – Николай Ставрогин («преступник-имморалист») – Матрёша («жертва»)». А в романе «На ножах» Лескова (уже в заключительной части произведения, после убийства старика Бодростина):

«Форов, отец Евангел, Подозеров, девочка Вера («ключи») – Горданов, Висленев, Глафира («преступники-имморалисты») – Бодростин («жертва»)».

Результатом исследования стало и выявление историко-генетической связи между романом В.П. Мещерского «Тайны современного Петербурга» (1875) и готико-романтической повестью В.П. Титова и А.С. Пушкина «Уединённый домик на Васильевском» (1828). Также обнаружено воспроизведение системы мотивов повестей Н.М. Карамзина («Остров Борнгольм», «Сиерра-Морена», «Бедная Лиза») в повести «Из записок социал-демократа» (1879) А.А. Дьякова и воспроизведение мотивов «Киевских ведьм» (1833) О.М. Сомова в «Фатальной жертве» (1876) А.А. Дьякова.

Таким образом, мы добились **поставленной цели** исследования – выявили и описали связи русского антинигилистического романа / повести 1860-1870 гг. с готической прозой (зарубежной и отечественной) второй половины XVIII – первой половины XIX в.

Перспективой дальнейшего изучения темы может стать, с одной стороны, расширение материала: целесообразно выявление других жанров русской литературы второй половины XIX века, в которых отразилось влияние готической прозы (это позволит сформировать объективное представление о значении готики для русского литературного процесса XIX – нач. XX в.). С другой стороны – необходимо дополнительное исследование антинигилистического романа с целью выявления влияний иных предромантических и романтических форм.

Список литературы

1. Художественные произведения

1.1. Тексты предмета исследования

1. Достоевский Ф.М. Бесы // Достоевский Ф.М. Полное академическое собрание сочинений: в 30-ти томах. Л.: Наука. Т. 10. 521 с.
2. Достоевский Ф.М. У Тихона // Достоевский Ф.М. Полное академическое собрание сочинений: в 30-ти томах. Л.: Наука, 1972-1990. Т. 11. С. 5-30.
3. Крестовский В.В. Кровавый пуф // Собрание сочинений Всеволода Владимировича Крестовского в 8 томах. СПб., 1904. Т. 3. 622 с.
4. Лесков Н.С. На ножах // Лесков Н.С. Полное собрание сочинений: в 30-ти томах. М.: Терра-Кн. клуб, 2004. Т. 9. 944 с.
5. Мещерский В.П. Тайны современного Петербурга: Записки магистра Степана Боба. Нигилисты. СПб.: Тип. Г. Благосветлова, 1878. 515 с.
6. Незлобин А. <Дьяков А.А.>. В народ! // Кружковщина. "Наши лучшие люди - гордость нации". Рассказы А. Незлобина. Одесса.: изд. Н. Цитовича, 1879. Вып. 2. С. 154-337.
7. Незлобин А. <Дьяков А.А.>. Из записок социал-демократа // Кружковщина. Наши лучшие люди - гордость нации. Рассказы А. Незлобина. Одесса.: изд. Н. Цитовича, 1879. Вып. 1. С. 1–55.
8. Незлобин А. <Дьяков А.А.>. Фатальная жертва // Кружковщина. “Наши лучшие люди – гордость нации”: Рассказы А. Незлобина. Одесса: П. Цитович, 1879. Вып. 1. С. 56–153.

1.2. Русская «антинигилистическая» и «нигилистическая» проза, отечественные и зарубежные произведения «готики» и другие художественные тексты:

9. Авенариус В.П. Бродящие силы: Современная идиллия. Поветрие. Санкт-Петербург: тип. М.В.Д., 1867. 452 с.

10. Авсеенко В.Г. Злой дух. Типография В. Авсеенко, 1890. Т 1–4. 443с.

11. Авсеенко В.Г. Скрежет зубовный. Санкт-Петербург: тип. В.В. Комарова, 1885. Т 1. 325 с. Т 2. 342 с.

12. Арнольди Н.А. Василиса. <Без указания места издания> 1909 [из коллекции Н.А. Рубакина; место хранения – РГБ]. 376 с.

13. Ахшарумов Н.Д. Мудреное дело: Из летописей русской словесности. Петербург: тип. Н. Тиблена и К°, 1864. 314 с.

14. Бажин Н.Ф. Степан Рулев // Повести и рассказы Н.Ф. Бажина (Холодова). Санкт-Петербург: Н.А. Шигин, 1874. С. 291–385.

15. Бекфорд У. Ватек // Уолпол. Казот. Бекфорд. Фантастические повести. Изд. подгот. В.М. Жирмунский, Н. А. Сигал. Л.: Наука, 1967. С. 163–230.

16. Благовещенский Н.А. На погосте. Невинный забавы [отрывки из романа «Перед рассветом»] // Повести и рассказы Н.А. Благовещенского. Санкт-Петербург: К.Н. Плотников, 1873. 504 с.

17. Благовещенский Н.А. Перед рассветом // Русское слово, 1865. № 1,2,4; 1866. №1.

18. Боборыкин П.Д. Жертва вечерняя. Санкт-Петербург: Н.А. Шигин, 1872. 370 с.

19. Гирс Д.К. Старая и юная Россия // Отечественные записки, No 3-4, 1868.

20. Гоголь Н.В. Вечер накануне Ивана Купала // Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений: В 14 т. М.: Изд-во АН СССР, 1937- 1952. Т.1. С. 137–151.

21. Гоголь Н.В. Вий // Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений: В 14 т. М.: Изд-во АН СССР, 1937- 1952. Т.2. С. 175–218.

22. Гоголь Н.В. Страшная месть // Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений: В 14 т. М.: Изд-во АН СССР, 1937- 1952. Т.1. С. 244–282.

23. Головин К.Ф. Вне колеи. М.: Унив. тип. (М. Катков), 1882. 714с.

24. Гнедич Н.И. Дон Коррадо де Геррера, или дух мщения варварства гишпанцев [в двух частях]. Москва: Тип. Платона Бекетова, 1803. 412 с.

25. Гончаров И. А. Обрыв // Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. СПб.: Наука, 2004. Т 7. 771 с.

26. Достоевский Ф.М. Идиот // Достоевский Ф.М. Полное академическое собрание сочинений: в 30-ти томах. Л.: Наука, 1972-1990. Т 8. 511с.

27. Достоевский Ф.М. Преступление и наказание // Достоевский Ф.М. Полное академическое собрание сочинений: в 30-ти томах. Л.: Наука, 1972-1990. Т 6. 423 с.

28. Достоевский Ф.М. Хозяйка // Достоевский Ф.М. Полное академическое собрание сочинений: в 30-ти томах. Л.: Наука, 1972-1990. Т 1. С. 264–320.

29. Дурова Н.А. Гудишки [в 4-х частях]. СПб.: тип. Штаба Отд. корпуса вн. стражи, 1839. Ч.1-4.

30. Дюкасс И. Песни Мальдорора // Поэзия французского символизма. Лотреамон. Песни Мальдорора. Под ред. Г.К. Косикова. М.: Изд-во МГУ, 1993. С. 284–421.

31. Загоскин М.Н. Белое приведение // Белое приведение: Русская готика. Сост. послеслов. и прим. А.А. Карпов. СПб.: Азбука-классика, 2007. С. 293–302.

32. Казот Ж. Влюблённый дьявол // Уолпол. Казот. Бекфорд. Фантастические повести. Изд. подгот. В.М. Жирмунский, Н. А. Сигал. Л.: Наука, 1967. С. 105–161.

33. Карамзин Н.М. Остров Борнгольм // Аглая. М.: Университетская типография Ридигера и Клаудия. 1794. С. 92–118.

34. Карамзин Н.М. Серра-Морена // Аглая. М.: Университетская типография Ридигера и Клаудия. 1795. С. 7–19.

35. Карамзин Н.М. Дремучий лес // Аглая. М.: Университетская типография Ридигера и Клаудия. 1795. С. 102–120.

36. Карамзин Н.М. Мелодор к Филалету // Аглая. М.: Университетская типография Ридигера и Клаудия. 1795. С. 63–77.

37. Карамзин Н.М. Филалет к Мелодору // Аглая. М.: Университетская типография Ридигера и Клаудия. 1795. С. 73–94.

38. Клюшников В.П. Марево. М.: Унив. тип. (Катков и К°), 1865. 366 с.

39. Клюшников В.П. Перелом. М.: Унив. тип. (Катков и К°), 1865. 247 с.

40. Крестовский В.В. Тьма египетская. СПб.: тип. т-ва "Обществ. польза", 1889. 405 с.

41. Крестовский В.В. Тамара Бендавид. СПб.: тип. т-ва "Обществ. польза", 1890. 504 с.

42. Крестовский В.В. Торжество Ваала // Собрание сочинений Всеволода Владимировича Крестовского: в 8 томах. СПб.: Обществ. польза, 1899-1900. Т 8. 489 с.

43. Кущевский И.А. Николай Негорев или Благополучный россиянин. СПб.: А.Ф. Базунов, 1872. 300 с.

44. Лесков Н.С. Некуда // Н.С. Лесков. Полное собрание сочинений: В 30 т. М.: ТЕРРА, 1997. Т 4. 776 с.

45. Лесков Н.С. Обойдённые // Н.С. Лесков. Полное собрание сочинений: В 30 т. М.: ТЕРРА, 1997. Т 5. С. 50-317.

46. Льюис М.Г. Монах или Пагубныя следствия пылких страстей / Сочинение славной г. Радклиф; Переведено с французского И. Павленков И. Росляков. СПб.: Императорская Академия наук, 1802.

47. Льюис М.Г. Монах. М.: Науч.-изд. центр Ладомир, 1993. 340с.

48. Маркевич Б.М. Марина из Алого Рога. М.: Унив. тип., 1873. 218с.

49. Маркевич Б.М. Бездна: Правдивая история. М.: Унив. тип., 1883-1884. Ч 1–4.

50. Маркевич Б.М. Перелом: Правдивая история. СПб.: Новое время, 1881. 648 с.

51. Маркевич Б.М. Четверть века назад: Правдивая история. Москва: тип. М.Н. Лаврова и К°, 1879. 447 с.

52. Марлинский А. <Бестужев А.А.> Страшное гадание // Белое приведение: Русская готика. Сост. послеслов. и прим. А.А. Карпов. СПб.: Азбука-классика, 2007. С. 91–128.

53. Мельгунов Н.А. Кто же он? // Белое приведение: Русская готика. Сост. послеслов. и прим. А.А. Карпов. СПб.: Азбука-классика, 2007. С. 129–168.

54. Метьюрин, Ч.Р. Мельмот скиталец. Изд. подгот. М.П. Алексеев, А.М. Шадрин. М.: Наука, 1983. 704 с.

55. Мордовцев Д.Л. Новые люди: Повесть из жизни шестидесятых годов. Санкт-Петербург: тип. Н.А. Лебедева, 1886. 314 с.

56. Мордовцев Д.Л. Знамения времени. Санкт-Петербург: М.Д. Орехов, 1900. 396 с.

57. Незлобин А. <Дьяков А.А.>. “Weltschmerzer” // Кружковщина. Наши лучшие люди – гордость нации. Рассказы А. Незлобина. Одесса.: изд. Н. Цитовича, 1879. Вып. 3. С. 340-444.

58. Одоевский В.Ф. Косморама // Белое приведение: Русская готика. Сост. послеслов. и прим. А.А. Карпов. СПб.: Азбука-классика, 2007. С. 23–292.

59. Омулевский И.В. Шаг за шагом: Светлов, его взгляды, характер и деятельность. Санкт-Петербург: О.Н. Попова, 1896. 480 с.

60. Осипович-Новодворский А.О. Эпизод из жизни ни павы, ни вороны. СПб.: Наука, 2005. 539 с.

61. Писемский А.Ф. В водовороте // Писемский А. Ф. Собрание сочинений: В 9 т. Правда, 1959. Т 6. 463 с.

62. Писемский А.Ф. Взбаламученное море. Москва: университетская типография (Катков и Ко.), 1863. 289 с.

63. Писемский А.Ф. Люди сороковых годов // Писемский А. Ф. Собрание сочинений: В 9 т. Правда, 1959. Т 4. 311 с.; Т 5. 484 с.

64. Погорельский А. <Перовский А.А.> Лафертовская маковница // Белое приведение: Русская готика. Сост. послеслов. и прим. А.А. Карпов. СПб.: Азбука-классика, 2007. С. 5–32.

65. Полидори Д.У. Вампир. Сост. и перевод с англ. П. Киреевский. Москва.: тип. Селивановского, 1828. 104 с.

66. Помяловский Н.Г. Мещанское счастье. Санкт-Петербург: Просвещение, 1906. 127 с.

67. Помяловский Н.Г. Молотов. Санкт-Петербург; Москва: Освобождение, С.И. Питтель, 1914. 215 с.

68. Пушкин А.С. Гробовщик [Повести покойного Ивана Петровича Белкина] // А.С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах. Л.: Наука, 1978. Т. 6. С. 81–87.

69. Пушкин А.С. Евгений Онегин // А.С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах. Л.: Наука, 1978. Т. 5. С. 5–184.

70. Пушкин А.С. Пиковая дама // А.С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах. Л.: Наука, 1978. Т. 6. С. 210–237.

71. Радклиф А. Удольфские тайны. М.: Терра, 1996. 576 с.

72. Ростопчина Е.П. Поединок // Русская романтическая повесть писателей 20–40-х годов XIX века. Сост. вступ. ст. и примеч. В.И. Сахарова. М.: Пресса, 1992. С. 395–349.

73. Сенковский О.И. Любовь и смерть // Белое приведение: Русская готика. Сост. послеслов. и прим. А.А. Карпов. СПб.: Азбука-классика, 2007. С. 316–360.

74. Сомов О.М. Киевские ведьмы // Белое приведение: Русская готика Сост. послеслов. и прим. А.А. Карпов. СПб.: Азбука-классика, 2007. С. 73-90.

75. Слепцов В.А. Трудное время // Сочинения В.А. Слепцова, исправленные и дополненные: Т. 1-2. Санкт-Петербург: С.В. Звонарев, 1866. 2 т. 315с.

76. Стокер Б. Дракула. Изд. подготовили Т.А. Михайлова, М.П. Одесский. М.: Ладомир: Наука, 2020. 889 с.

77. Титов В.П. Уединённый домик на Васильевском // Белое приведение: Русская готика. Сост. послеслов. и прим. А.А. Карпов. СПб.: Азбука-классика, 2007. С. 33-60.

78. Толстой А.К. Упырь // Белое приведение: Русская готика. Сост. послеслов. и прим. А.А. Карпов. СПб.: Азбука-классика, 2007. С. 408–488.

79. Тургенев И.С. Дым // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. М.: Наука, 1981. Т.7. С. 247–407.

80. Тургенев И.С. Новь // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. М.: Наука, 1982. Т. 9. С. 133–389.

81. Тургенев И.С. Отцы и дети // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. М.: Наука, 1981. Т. 7. С. 5–190.

82. Уолпол Х. Замок Отранто // Уолпол. Казот. Бекфорд. Фантастические повести. Изд. подгот. В.М. Жирмунский, Н. А. Сигал. Л.: Наука, 1967. С. 5–103.

83. Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений. СПб.: издание М.Н. Чернышевского, 1906. Т.8. 530 с.

84. Чернышевский Н.Г. Что делать? Из рассказов о новых людях // Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1939. Т. 11. С. 5–336.

85. Шеллер-Михайлов А.К. Гнилые болота. История без героя. Санкт-Петербург: тип. К. Вульфа, 1867. 367 с.

86. Шелли М. Франкенштейн, или Современный Прометей. М.: Терра, 1995. 316 с.

87. Шиллер Ф. Духовидец: Из воспоминаний графа фон О*** // Фридрих Шиллер. Карл Гроссе. Генрих Цшокке. Изд. подгот. Р.Ю. Данилевский, С.С. Шик. М.: Ладомир; Наука, 2009. С. 9–82.

88. Эко У. Пражское кладбище. М.: АСТ, 2013. 560 с.

89. Эсхил. Прометей прикованный. СПб: Издание А.С. Суворина, 1890. 42 с.

2. Научная литература

90. Аверинцев С.С. Бесы // Мифологический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 94-95.

91. Аверинцев С.С. Сатана // Мифологический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 476-477.

92. Агапкина Т.П. Арнольди Нина (Анна) Александровна // Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1989. Т. 1: А–Г. С. 105–106.

93. Алексеев М.П. К истории слова «нигилизм» // Сборник статей в честь академика Алексея Ивановича Соболевского, изданный ко дню 70-летия со дня его рождения Академией наук по почину его учеников под. ред. В. Н. Перетца. Л.: АН СССР, 1928. С. 413–417.

94. Алексеев М.П. Русско-английские литературные связи: XVIII в.- первая половина XIX в. М.: Наука, 1982. 863 с.

95. Алексеев М.П. Чарлз Роберт Метьюрин и русская литература // От романтизма к реализму. Л.: Наука, 1978. С. 3-55.

96. Алексеев М.П. Ч.Р. Метьюрин и его «Мельмот Скиталец» // Мельмот Скиталец. Чарлз Роберт Метьюрин. М.: Наука, 1983. С. 531-638.

97. Барский О.В. Пушкин и английский «готический» роман // Московский пушкинист VIII. Ежегодный сборник. М.: Наследие, 2000. С. 192-213.

98. Барский О.В. Творчество А. С. Пушкина 1813 - 1824 гг. и английский "готический" роман: дисс. ... канд. филол. наук : 10.01.01. Омск, 2002. 248с.

99. Батюто А.И. Антинигилистический роман 60-70-х годов // История русской литературы: в 4-х т. Л.: Наука, 1982. Т. 3. С. 279-314.

100. Белецкий А.И. В мастерской художника слова. М.: Высш. шк., 1989. 160 с.

101. Благой Д.Д. Исторический роман // Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов. М.; Л.: Изд-во Л. Д. Френкель, 1925. Т. 1. Стб. 335-342.

102. Будницкий О.В. Терроризм в российском освободительном движении: идеология, этика, психология (вторая половина XIX — начало XX в.). М.: РОССПЭН, 2000. 399 с.

103. Буркгардт Яков. Культура Италии в эпоху Возрождения [Текст] / Яков Буркгардт ; перевод С. Брилианта с 8-го изд., переработанного Людвигом Гейгером. - Санкт-Петербург : Книгоиздательство М. В. Пирожкова. Исторический отдел, 1904. Т. 1. 1904. 427 с.

104. Вацуро В.Э. А. Радклиф, ее первые русские читатели и переводчики / / Новое лит. обозрение. 1996. № 22. С. 202—225.

105. Вацуро В.Э. Готический роман в России. М.: НЛО, 2002. 542 с.

106. Вацуро В.Э. Два стихотворения Анны Радклиф в русских переводах / / Россия. Запад. Восток. Встречные течения. К 100-летию со дня рождения акад. М.П. Алексеева / РАН. Ин-т рус. лит. СПб.: Наука, 1996. С. 247—255.

107. Вацуро В.Э. Из истории «готического романа» в России (А.А. Бестужев-Марлинский) // Russian Literature. 1995. Vol. 38 № 2. P. 207—225.

108. Вацуро В.Э. Г.П. Каменев и готическая литература / / XVIII век. Сб. 10: Русская литература XVIII века и ее международные связи. Л.: Наука, 1975. С. 271-275.

109. Вацуро В.Э. Литературно-философская проблематика повести Карамзина «Остров Борнгольм» / / XVIII век. Сб. 8: Державин и Карамзин в лит. Движении XVIII – начала XIX века. Л.: Наука, 1969. С. 190-209.

110. Вацуро В.Э. Орест Сомов и Вашингтон Ирвинг // Res traductorica: Перевод и сравнительное изучение литератур: К 80-летию Ю.Д. Левина. СПб.: Наука, 2000. С. 138-145.

111. Вацуро В.Э. «Полночный колокол»: Из истории массового чтения в России в первой трети XIX века // Чтение в дореволюционной России: Сб. науч. трудов / Рос. Гос. биб-ка. М.: Новое лит. обозрение, 1995. С. 5-28.

112. Вацуро В.Э. Роман Клары Рив в русском переводе // Россия и Запад: Из истории лит. отношений. Л.: Наука, 1973. С. 164–183.

113. Вацуро В.Э. «Сиерра-Морена» Карамзина и литературная традиция // XVIII век. Сб. 21: Памяти П.Н. Беркова. СПб.: Наука, 1999. С. 327–336.

114. Вацуро В.Э. Уолпол и Пушкин // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. 1967-1968. Л.: Наука, 1970. С. 47–57.

115. Васильев С.Ф. Проза А.К. Толстого: направление эволюции: диссертация ... кандидата филологических наук : 10.01.01 / С.Ф. Васильев. Ленинград, 1987. 198 с.

116. Веселовский А.Н. Духовные сюжеты в литературе и народной поэзии румын // Веселовский А.Н. Народные представления славян. М.: АСТ, 2006. С. 242-299.

117. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М.: Высшая школа, 1989. 403 с.

118. Визгин В.П., Пустарнаков В.Ф., Э.Ю.Соловьев. Нигилизм // Новая философская энциклопедия: в 4 т. Институт философии РАН. 2-е изд., испр. и допол. М.: Мысль, 2010.

119. Викторович В.А. Крестовский Всеволод Владимирович // Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1994. Т. 3: К–М. С. 146-149.

120. Виницкий И.Ю. Русские духи: Спиритуалистический сюжет романа Н. С. Лескова «На ножах» в идеологическом контексте 1860-х годов // Новое литературное обозрение. 2007. № 87. С. 184-213.

121. Гапоненков А.А. Проблема жанрового синтеза в романах "Бесы" Ф. М. Достоевского и "Мастери Маргарита" М. А. Булгакова: диссертация ... кандидата филологических наук: 10.01.01. Саратов, 1995. 198 с.

122. Гейфман А. Революционный террор в России. 1894—1917. / Пер. с англ. Е. Дорман. М.: КРОН-ПРЕСС, 1997. 448 с.

123. Геташвили Н.В. Атлас мировой живописи. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. 368 с.

124. Гиривенко А. Н. Готический роман Анны Радклиф: из истории рецепции в России // Филология в системе современного университетского образования. 2002. Вып. 5. С. 58 – 62.

125. Гогина Л. П. Альтернатива нигилизму в романе "Бесы" Ф. М. Достоевского. Москва: МГОУ, 2015. 201 с.

126. Глюксман А. Достоевский на Манхэттене. Екатеринбург: У-Фактория, 2006. 223с.

127. Горелов А.А. Лесков Николай Семёнович // Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1994. Т. 3: К–М. С. 340–349.

128. Гронский А.Д. Кастусь Калиновский: конструирование героя // Беларуская думка. 2008. №2. С. 82-87.

129. Гроссман Л.П. Поэтика Достоевского. Москва: Гос. акад. наук, 1925. 191 с.

130. Гуковский Г.А. Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века. Ин-т лит. Акад. наук СССР. Л.: Художественная литература, 1938. 313 с.

131. Гуревич А.Я. Ведьмы // Мифологический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 119-120

132. Дзуффи С. Большой атлас живописи. М.: ОЛМА-Пресс, 2004. 431 с.

133. Доусон К.Г. «Боги революции». СПб.: Алетейя, 2002. 330 с.

134. Дронов И.Е. Князь Владимир Петрович Мещерский // Вопросы истории. 2001. №10. С. 57-84.

135. Дубеник Е. А. Литературные ассоциации в романе Ф.М. Достоевского "Бесы" : диссертация ... кандидата филологических наук: 10.01.01. Москва, 2010. 246с.

136. Евтушенко Э.А. Мистический сюжет в творчестве Ф. М. Достоевского: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01. Уфа, 2002. 236 с.

137. Ефимов А.С. Антинигилистический роман и роман готический: к постановке вопроса // Litera. 2019. № 2. С. 137–152.

138. Ефимов А.С. Дилогия В.В. Крестовского «Кровавый пуф» (Константин Калиновский как «проклятый скиталец») // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 2021. No 4. С. 99–107.

139. Ефимов А.С. Мотивы прозы Н.М. Карамзина в повести А.А. Дьякова “Из записок социал-демократа” // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2021. Т. 80. No 2. С. 47–52.

140. Ефимов А.С. Повесть “Фатальная жертва” А.А. Дьякова (А. Незлобина) и мотив “нечестивого собрания” // Litera. 2020. № 3. С. 34–40.

141. Ефимов А.С. Русский антинигилистический роман 1860-1870 гг. и “готический сюжет” // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. № 12. С. 18-25.

142. Ефимов А.С. “Тайны современного Петербурга” В.П. Мещерского и “Уединенный домик на Васильевском” В. П. Титова и А. С. Пушкина // Litera. 2020. № 1. С. 124-134.

143. Ефимов А.С. Экспрессионизм как средство выражения психоэмоциональных состояний героев в экранизациях готических произведений: «Носферату. Симфония ужаса» Ф. Мурнау (по роману «Дракула» Б. Стокера), «Пиковая дама» Я.А. Протазанова (по повести А.С. Пушкина) // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Литература и кино в поисках общего языка». Владимир: ВлГУ, 2013. С. 109-113.

144. Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб.: Тип. А.С. Суворина – «Новое время», 1914. 208 с.

145. Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л.: Наука, 1977. 402с.

146. Жирмунский В.М., Сигал Н.А. У истоков европейского романтизма // Уолпол. Казот. Бекфорд. Фантастические повести. Л.: Наука, 1967. С. 249-284.

147. Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. Работы по поэтике выразительности: Инварианты–Тема–Приемы. М.: Прогресс, 1996. 344 с.

148. Жорес Ж. Социалистическая история французской революции. М.: Прогресс, 1983. 597 с.

149. Заломкина Г.В. Готический миф как литературный феномен: диссертация ... доктора филологических наук: 10.01.08. Самара, 2011. 491 с.

150. Заломкина Г.В. Поэтика пространства и времени в готическом сюжете: диссертация ... кандидата филологических наук: 10.01.08. Самара, 2003. 224 с.

151. Зубков К.Ю. "Антинигилистический роман" как полемический проект радикальной критики // Вестник московского университета. Серия 9: филология. 2015. № 4. С. 122-140.

152. Ивинский Д.П. Роман Достоевского “Идиот” и альманах Карамзина “Аглая” // Филологический журнал. 2018. №3. С. 161 – 184.

153. Ильинская Н.Г. Мордовцев Даниил Лукич // Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1999. Т. 4: М-П. С. 126–130.

154. Карпов А.А. Примечания <библиографические и биографические сведения> // Белое приведение: Русская готика. Сост. А.А. Карпов. СПб.: Азбука-классика, 2007. С. 491-508.

155. Кибальник С.А. Гнедич Николай Иванович // Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1989. Т. 1: А–Г. С. 585–588.

156. Колпаков А.Ю. Поэтика романа Ф.М. Достоевского "Бесы": Система повествовательных уровней : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.01.01. Красноярск, 2000. 170 с.

157. Кондюрина А.А. Русский антинигилистический роман 60-70-х годов XIX в.: автореферат дис. ... кандидата филологических наук : 10.01.01. - Москва, 1991. 26 с.

158. Корнилов А.А. Курс истории России XIX века [текст печатается по изданию 1918 г.]. М.: Высшая школа, 1993. 446 с.

159. Косиков Г.К. Два пути французского постромантизма: символисты и Лотреамон // Поэзия французского символизма. Лотреамон. Песни Мальдорора. М.: Изд-во МГУ, 1993. С. 284–421.

160. Косыхин В.Г. Нигилизм и диалектика. Саратов: Научная книга, 2009. 256 с.

161. Косыхин В.Г. Нигилизм и современная онтология // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 31. С. 43–47.

162. Кошель П. А.. История российского терроризма. М., Голос, 1995. С. 376.

163. Кошечко А.Н. Поэтика художественного пространства романов Ф.М. Достоевского 1860-х годов: "Преступление и наказание", "Идиот": дис. ... канд. нилол. наук: 10.01.01. Томск, 2003. 250 с.

164. Криницын А. Б. Мотивы романа М. Шелли Франкенштейн в творчестве Достоевского // Материалы XVIII Международных Старорусских чтений 2011 года. Великий Новгород, 2012. С. 201–220.

165. Криницын А.Б., Шарапова Д.Д. Синтез готического и бульварного влияния на творчество Ф.М. Достоевского // Litera. 2016. № 3. С. 16-25.

166. Криницын А.Б. Сюжетология романов Достоевского: Монография. М.: МАКС Пресс, 2017. 456 с.

167. Лавкрафт Г.Ф. Сверхъестественный ужас в литературе // Азатот. Вступ. статья Р. Блоха. М.: Гудьял-пресс, 2001. С. 409–480.

168. Леонов М. М. Салон В. П. Мещерского: патронат и посредничество в России рубежа XIX-XX вв. Самара: Изд-во Самарского науч. центра РАН, 2009. 386 с.

169. Лифшиц Е.И. Английский контекст творчества Гоголя, Н. В. Гоголь и Ч. Р. Метьюрин: диссертация ... кандидата филологических наук: 10.01.01. Москва, 2001. 221 с.

170. Лифшиц М.А. Проблема Достоевского (Разговор с чёртом). М.: Академический Проект, 2013. 276 с.

171. Лосев А.Ф. Прометей // Мифологический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 442-444.

172. Лосев А.Ф. Демон // Мифологический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 182.

173. Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. М.: «КНИГА», 1987. 336 с.

174. Лукач Г. Исторический роман // Георг Лукач. М.: Commonplace, 2014. 178 с.

175. Лурье Ф.М. Созидатель разрушения: документальное повествование о Сергее Нечаеве : (историческая фабула романа "Бесы"). Санкт-Петербург: Вита Нова, 2011. 542 с.

176. Майорова О.Е. Дьяков Александр Александрович // Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. Т. 2: Г–К. М., 1992. С. 203–204.

177. Макаревич О.В. Репрезентация готической повести в художественном сознании Н. С. Лескова (на примере цикла «Святочные рассказы» 1886). Нижний Новгород: Вестник Нижегородского университета, 2011. № 6. С. 389-393.

178. Макаров Р.Л. Символический подтекст романа Ф. М. Достоевского "Бесы": диссертация ... кандидата филологических наук: 10.01.01. Москва, 1999. 264 с.

179. Малкина В.Я., Полякова А.А. «Канон» готического романа и его разновидности // Готическая традиция в русской литературе. Под ред. Н.Д. Тамарченко. М.: РГГУ, 2008. Введение. С. 15–32.

180. Малкина В.Я. Поэтика исторического романа: Проблема инварианта и типология жанра. Тверь: Твер. госуниверситет, 2002. 140 с.

181. Малкина В.Я. «Страшная месть» и «Замок Отранто» Г. Уолпола // Готическая традиция в русской литературе. М.: РГГУ, 2008. С. 106-111.

182. Мальшинский А. П. Обзор социально-революционного движения в России. Санкт-Петербург: тип. В. Демакова, 1880. 323 с.

183. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Москва: Издательство АСТ, 2019. 704 с.

184. Минаков А.Ю. У истоков левого терроризма: С. Г. Нечаев и нечаевское дело // Власть и общественное движение в России имперского периода. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2005. С. 174–352.

185. Милюков П.Н. Крестьяне в России // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах. СпБ.: Типо-литография А.И. Ефрона, 1895. Т. XVIa: Коялович – Кулон. С. 659-725.

186. Михайлов А.В. Из истории «нигилизма» // Обратный перевод: Рус. и зап.-европ. культура: проблемы взаимосвязей. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 537–626.

187. Михайлова Т.А., Одесский М.П. Граф Дракула Опыт описания; 2-е изд., испр. М.: РГГУ, 2019. 260 с.

188. Моисеев А.А. Феномен "скитальчества" в романе Ф.М. Достоевского "Бесы" и способы его художественного воплощения: диссертация ... кандидата филологических наук: 10.01.01. Нижний Новгород, 2013. 213 с.

189. Мутер Р. Всемирная история живописи. Средневековье и ранний Ренессанс. От Византии к Италии. Москва: Эксмо, 2006. 141 с.

190. Мысляков В.А. Писемский Алексей Феофилактович // Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1999. Т. 4: М–П. С. 622–630.

191. Мысляков В.А. Помяловский Николай Герасимович // Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. М.: Большая российская энциклопедия, 2007. Т. 5: П–С. С. 67–70.

192. Нигилизм // Энциклопедический Словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб.: Семёновская тип. литограф. (И.А. Ефрона), 1897. Т. 21. С.11.

193. Одесский М.П. Упыри и Дракула в славянском свете // Дракула. Брэм Стокер. Изд. подготовили Т.А. Михайлова, М.П. Одесский. М.: Ладомир: Наука, 2020. С. 652-696.

194. Орлова С.А. Мифо-фольклорный контекст романа Ф.М. Достоевского "Бесы": автореферат дис. ... кандидата филологических наук: 10.01.09. Челябинск, 2010. 23 с.

195. Паперно И.Б. Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма. М.: Новое литературное обозрение, 1996. 208 с.

196. Перпер М.И. Прокламация "Барским крестьянам от их доброжелателей поклон" (Результат изучения рукописи и архивных дел) // Русская литература. 1975. № 1. С. 138-154

197. Пинаев М.Т. Кущевский Иван Афанасьевич // Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1994. Т. 3: К–М. С. 252–253.

198. Полякова А.А. Готический канон и его трансформация в русской литературе второй половины XIX века: На материале произведений А.К. Толстого, И.С. Тургенева и А.П. Чехова: диссертация ... кандидата филологических наук : 10.01.08. Москва, 2006. 189 с.

199. Проскурина Ю.М. Жанровые разновидности антинигилистического романа 60-х годов // Проблемы стиля и жанра в русской литературе XIX века: Сб. научных трудов. Екатеринбург, 1994. С. 86–94.

200. Пропп В.Я. Морфология сказки // Вопросы поэтики; выпуск 12. Л.: «ACADEMIA», 1928. 152 с.

201. Рассел Д.Б. Князь тьмы. Добро и зло в истории человечества. СПб.: Издательская группа «Евразия», 2002. 448 с.

202. Рассел Д.Б. Люцифер. Дьявол в средние века. СПб.: Издательская группа «Евразия», 2001. С. 448.

203. Рассел Д.Б. Мефистофель Дьявол в современном мире. СПб.: Издательская группа «Евразия», 2002. С. 448.

204. Рассел Д.Б. Сатана. Восприятие зла в ранней христианской традиции. СПб.: Издательская группа «Евразия», 2001. 320 с.

205. Реморова Н.Б. В.А. Жуковский и немецкий "готический" роман: К истории одного перевода. Проблемы литературных жанров // Материалы четвертой межвузовской конференции. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1983. С.165-166.

206. Розенфельд Б. Синкретизм // Литературная энциклопедия: В 11 т. М.: Худ. лит., 1937. Т. 10. Стб. 734–737.

207. Рудницкая Е.Л. Будницкий О.В. Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. Документальная публикация. М., Археографический центр, 1997. 576 с.

208. Санкт-Петербургский университет // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах. СпБ.: Типография Акц. Общ «Издательское дело», 1900. Т. XXVIII а: Саварни – Сахарон, с. 287–290.

209. Савина Н.О. Роман Ф. М. Достоевского "Бесы": проблематика и особенности поэтики : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.01.01. - Москва, 2003. 219 с.

210. Сердюченко В. Чернышевский в романе В. Набокова «Дар». К предыстории вопроса // Вопросы литературы. 1998. №2. С. 333–343.

211. Склейнис Г. А. Жанровое своеобразие дилогии В. В. Крестовского "Кровавый пуф". Магадан: Кордис, 2004. 122 с.

212. Склейнис Г.А. Русский антинигилистический роман: генезис и жанровая специфика: дис. … док. филол. Наук: 10.01.01 / Г.А. Склейнис. Магадан, 2009. 404 с.

213. Склейнис А.Г. Русский антинигилистический роман: происхождение, эволюция, жанровая специфика. Магадан: ИП Жарикова, 2018. 414 с.

214. Скороденко В. Монах Льюис и его роман // Льюис М.Г. Монах. М.: Науч.-изд. центр "Ладомир", 1993. С. 5-14.

215. Скотт В. О «Замке Отранто» Уолопола. Казот. Бекфорд. Фантастические повести. Изд. подгот. В. М. Жирмунский, Н. А. Сигал. Л.: Наука, 1967. С. 231–243.

216. Смирнов А.Ф. Кастусь Калиновский. Минск, 1963. 200 с.

217. Сорокин Ю.С. Антинигилистический роман // История русского романа: в 2-х т. М.–Л., 1964. Т. 1. С. 97-120.

218. Спивак М.Л. Взаимодействие трагического и комического в поэтике Ф.М. Достоевского: "Бесы", "Братья Карамазовы": диссертация ... кандидата филологических наук : 10.01.01. Москва, 1987. 259 с.

219. Старыгина Н.Н. Демонические знаки в антинигилистическом романе как выражение авторской ценностно-мировоззренческой позиции // Проблемы исторической поэтики. 1998. № 5. С. 203-221.

220. Старыгина Н.Н. Контекстуальное содержание литературной ситуации в русской культуре 1850-1870 гг. // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2017. № 4. С. 225–233.

221. Старыгина Н.Н. Роман Н. С. Лескова "На ножах": человек и его ценностный мир. М.: Прометей, 1995. 114 с.

222. Старыгина Н.Н. Русский роман в ситуации философско-религиозной полемики 1860-1870-х годов. М.: Языки славянской культуры, 2003. 352 с.

223. Суходольский Ю. С. Роман Н.С. Лескова "На ножах" : Генезис, поэтика, место в творчестве писателя: диссертация ... кандидата филологических наук : 10.01.01. Москва, 2004. 244 с.

224. Тамарченко Н.Д., Малкина В.Я., Полякова А.А. Готическая традиция в русской литературе М.: РГГУ, 2008. 349 с.

225. Теплинский М.В. Гирс Дмитрий Константинович // Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1989. Т. 1: А–Г. С. 570–571.

226. Тойнби А. Дж. Предисловие к первому изданию «Боги революции» Кристофера Доусона // Доусон К.Г. «Боги революции». СПб. : Алетейя, 2002. С. 43-46.

227. Томашевский Б.В. Пушкин – читатель французских поэтов // Пушкинский сборник памяти проф. С. А. Венгерова. М.: Пг. ГИЗ, 1922. С. 210–228.

228. Томашевскнй Б.В. Теория литературы. Поэтика. М.: Аспект Пресс, 1996. 334 с.

229. Топоров В.Н., Иванов В.В. Змей Горыныч // Мифологический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С.220-221.

230. Троицкий Н. А. Безумство храбрых (Русские революционеры и карательная политика царизма 1866—1882 гг.). М.: Мысль, 1978. 323 с.

231. Троицкий Н.А. Россия в XIX веке. Курс лекций. М.: Высшая школа, 2003. 431 с.

232. Трубников К.В. Источники смуты и опоры крамолы. Санкт-Петербург: типо-лит. Дома призрения малолет. бедных, 1880. 26 с.

233. Фесенко Э.Я. «Литературный нигилизм» как явление русской общественной жизни XIX века // Вестник Поморского университета. Сер. Гуманитарных и социальных наук. 2009. Вып. 4. С. 90–95.

234. Цейтлин А.Г. Сюжетика антинигилистического романа // Литература и марксизм. 1929. Вып. 2. С. 33-74.

235. Цявловская Т. Г. «Влюбленный бес»: (Неосуществленный замысел Пушкина) // Пушкин: Исследования и материалы. 1960. Т. 3. С. 101—130.

236. Чередниченко Л. В. Проблема нигилизма в русской литературе начала 70-х годов XIX века: Н. С. Лесков "На ножах", Ф. М. Достоевский "Бесы": диссертация ... кандидата филологических наук : 10.01.01. Москва, 1996. 244с.

237. Чудаква М.О. Авенариус Василий (Вильгельм) Петрович // Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1989. Т. 1: А–Г. С. 16–17.

238. Шарапова Д.Д. Влияние жанра бульварного романа на творчество Ф.М. Достоевского: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01. Москва, 2017. 190 с.

239. Шарифуллина С.В. Проза В. В. Крестовского в контексте антинигилистической беллетристики 60-80-х годов XIX века: диссертация ... кандидата филологических наук: 10.01.01. Череповец, 2003. 195 с.

240. Шинков М. А. "Бесы" Ф. М. Достоевского и русский антинигилистический роман 1860-1870 годов: диссертация ... кандидата филологических наук : 10.01.01. Орел, 1998. - 188 с.

241. Ширинянц А.А. Русское общество и политика в XIX веке: революционный нигилизм // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2012. № 1. С. 38-49.

242. Юсим М.А. Вампир // Мифологический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 114.

243. Яусс Х.Р. История литературы как провокация литературоведения // Новое литературное обозрение. 1995. № 12. с.34-84.

244. Avrich P. Bakunin and Nechaev. London: Freedom Press, 1974. 32 c.

245. Dibelius W. Englische Romankunst. Bd. 1. Berlin; Leipzig, 1922. 406s.

246. Gregory S. Dostoevsky’s The Devils and the Antinihilist Novel // Slavic Review. 1979. Vol. 38. P. 447.

247. Proudhon P.J. Philosophie de la Misère / Pierre Joseph Proudhon. Paris, Union Gènèrale d’Editions, 1964. p.

248. Summers M. The Gothic quest: A history of the Gothic novel. London: Fortune Press, 1938. 443 p.

249. Thorstensson V. The Dialog with Nihilism in Russian Polemical Novels of the 1860s–1870s. Madison: The University of Wisconsin-Madison, 2013. C. 510.

250. Varma D. The gothic flame. London: Barker, 1957. – 264p.

251. Warning R., Iser W. Jauß H.R. Rezeptionsästhetik. Theorie und praxis. München: W. Fink, 1975. 504 s.

3. Политическая публицистика, литературная критика, философские трактаты, религиозные тексты, письма, воспоминания, официальные документы, черновики

252. Антонович М.А. Литературный кризис // Литературно-критические статьи. Вступ. ст., подгот. текста и коммент. Г.Е. Тамарченко. – М.: Художественная литература, 1961. 515 с.

253. Антонович М.А. «Новь», роман г. Тургенева // Тифлисский вестник. 1877. 4 мая.

254. Апокалипсис <Откровение Иоанна Богослова> // Библия, книги Священного Писания, Ветхого и Нового завета. М.: Синодальная тип. Т 5. 1778. С. 159–169; Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис) // Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета [канонические]. М.: Российское библейское общество, 2007. Книги Нового Завета. С. 275–292.

255. Апраксин А.С. Рапорт свитского генерал-майора А.С. Апраксина Александру II о волнениях крестьян в Спасском уезде Казанской губернии и о расстреле их в с. Бездне. 16 апреля 1861 г. // Конец крепостничества в России: документы, письма, мемуары, статьи. М.: Изд-во МГУ, 1994. С.320-324.

256. Базилевский Б. Революционная журналистика семидесятых годов / [сост.] и изд. под ред. Б. Базилевского. Paris, 1905. 514,

257. Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы рус. мысли XIX в. и начала XX в. Париж: YMCA-press, 1946. 259 с.

258. Белинский В.Г. Письмо В.П. Боткину от 1840 г. 10 декабря // Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1956. Т.11. С. 569–582.

259. Бурцев В.Л. За сто лет: (1800-1896): Сборник по истории политических и общественных движений в России: (В 2 ч.) / Сост. Вл. Бурцев при ред. участии С.М. Кравчинского (Степняка). Лондон: Russian free press fund, 1797. Ч 1-2. 267 с.; 164 с.

260. Бурцев В. Л. Календарь русской революции / Под общ. ред. В.Л. Бурцева. Петроград: Шиповник, 1917. 344 с.

261. Великорусс. Прокламация // Русско-польские революционные связи: документы и материалы. М.: Wroclaw, 1963. Т. 1. С. 75–84.

262. Высочайший манифест 29 апреля 1881 г. Государство российское: власть и общество. С древнейших времен до наших дней. Сборник документов. М., Изд-во Моск. университета, 1996. С. 233-235.

263. Герцен А.И. 12 апреля 1861 (Апраксинские убийства) // Герцен А. И. Собрание сочинений: В 30 томах. М.: Издат. АН СССР, 1958. Т. 15. С. 107–109.

264. Герцен А.И. Былое и думы // Герцен А. И. Собрание сочинений: В 30 томах. М.: Издат. АН СССР, 1957. Т. 11. 807 с.

265. Герцен А.И. Зарево // Герцен А. И. Собрание сочинений: В 30 томах. М., АН СССР. Институт мировой литературы им. А. М. Горького. Т. 16. 1959. С.122.

266. Герцен А. И. «Иркутск и Петербург» (5 марта и 4 апреля 1866). Собрание сочинений: В 30 томах. М.: Издат. АН СССР, 1960. Т.19. С. 58 – 65

267. Герцен А.И. Исполин просыпается! Собрание сочинений: В 30 томах. М., АН СССР. Институт мировой литературы им. А. М. Горького. 1958. Т 15. с. 173.

268. Герцен А.И. М.А. Бакунин // Герцен А. И. Собрание сочинений: В 30 томах. М., АН СССР. Институт мировой литературы им. А. М. Горького. Т. 16. 1959. С. 16–20.

269. Герцен А.И. Молодая и старая Россия // Герцен А. И. Собрание сочинений: В 30 томах. М., АН СССР. Институт мировой литературы им. А. М. Горького. Т. 16. 1959. С. 199-205.

270. Герцен А.И. «Письмо русских офицеров» // Герцен А. И. Собрание сочинений: В 30 томах. М., АН СССР. Институт мировой литературы им. А. М. Горького. Т. 16. 1959. С. 251 – 257.

271. Герцен А. И. <Польскому комитету> (Перевод) // Герцен А. И. Собрание сочинений: В 30 томах. М., АН СССР. Институт мировой литературы им. А. М. Горького. Т. 15. 1958. С. 203.

272. Герцен А. И. Русская кровь льётся // Герцен А. И. Собрание сочинений: В 30 томах. М., АН СССР. Институт мировой литературы им. А. М. Горького. Т. 15. 1958. С. 90-93.

273. Герцен А.И. Сербы и черногорцы. // Герцен А. И. Собрание сочинений: В 30 томах. М., АН СССР. Институт мировой литературы им. А. М. Горького. Т. 14. 1958. С. 330-334.

274. Герцен А.И. Третья кровь. Собрание сочинений: В 30 томах. М., АН СССР. Институт мировой литературы им. А. М. Горького. 1958. Т. 15. С. 185-187.

275. Герцен А.И. <Четвертый запрос от издателей "Колокола"> // Герцен А. И. Собрание сочинений: В 30 томах. М., АН СССР. Институт мировой литературы им. А. М. Горького. т. 16. С. 262.

276. Голубева М. П. Воспоминания о П. Г. Зайчневском // Пролетарская революция. 1923. № 6–7. С. 27-31.

277. Де-Пуле М.Ф. Нигилизм как патологическое явление русской жизни. М.: в Университетской тип. (М. Катков), 1881. 53 с.

278. Достоевский Ф.М. Письмо Н.Н. Страхову от 24 марта 1870 года // Достоевский Ф. М. Полное академическое собрание сочинений: в 30-ти томах. Л.: Наука, 1972-1990. Т. 29. С. 111–115.

279. Достоевский Ф.М. Подготовительные материалы к роману «Бесы» // Достоевский Ф. М. Полное академическое собрание сочинений: в 30-ти томах. Л.: Наука, 1972-1990. Т. 11. С. 58-332.

280. Достоевский Ф.М. <Упоминания о высказываниях писателя о судебном процессе Веры Засулич> // Достоевский Ф. М. Полное академическое собрание сочинений: в 30-ти томах. Л.: Наука, 1972-1990. Том 26-27. С. 410; С. 341.

281. Дельвиг А.И. Мои воспоминания: в 4-х т. М.: Издание Импер. и Румянцев. музея. 1912. Т 1. 374 с.

282. Долгушин А. В. Заживо погребенные (из воспоминаний о политической каторге 80-х годов). Петербург: Государственное издательство, 1920. 75 с.

283. Зайчневский П.Г. Молодая Россия. Прокламация // Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. Документальная публикация. М., 1997. С. 142–149.

284. Зайцев В.А. Стихотворения Н. Некрасова // Шестидесятники. М.: Советская Россия, 1984. С. 139-151.

285. Иов // Библия, книги Священного Писания, Ветхого и Нового завета. Москва : Синодальная тип. Т. 3. 1778. С. 15–32.

286. Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. Москва: Наука, 1991. 125 с.

287. Карамзин Н.М. Мнение русского гражданина // Неизданные сочинения и переписка Николая Михайловича Карамзина. Санкт-Петербург: в Тип. Н. Тиблена, 1862. С. 3-8.

288. Катков М.Н. Беспорядки в высших учебных заведениях // Собрание передовых статей Московских ведомостей: 1869 год. М., 1897. С. 303–310.

289. Катков М.Н. О нашем нигилизме по поводу романа Тургенева / М.Н. Катков // Русский вестник. 1862. Т. 40. № 7. С. 402-426.

290. Катков М.Н. Заметка для издателя «Колокола» Русский вестник. 1862. Т. 39. № 6. С. 834-852.

291. Катков М.Н. Кое-что о прогрессе // Русский вестник. 1861. Т. 35. № 9. С. 107-127.

292. Катков М.Н. По делу Александра Александровича Дьякова // Собрание передовых статей Московских ведомостей (в 25 томах). Москва: Издание С. П. Катковой, 1898. За 1880 год. С. 163-165.

293. Катков М.Н. Старые боги и новые боги // Русский вестник. 1861. Т.31. №1. С. 891-904.

294. Кравчинский С.М. Смерть за смерть (Убийство Мезенцева). Пг., 1920. С. 19-20.

295. Крестовский В.В. Письмо А.В. Жиркевичу от 25 февраля 1892 г. // Исторический вестник. Историко-литературный журнал. 1895. Т. 59. С. 878–882.

296. Куклин Г. А. Итоги революционного движения в России за сорок лет (1862—1902). Женева: Изд. Г. А. Куклина, 1903. 685 с.

297. Лагарп Ж.-Ф. Пророчество Казота // Уолпол. Казот. Бекфорд. Фантастические повести. Изд. подгот. В. М. Жирмунский, Н. А. Сигал. Л.: Наука, 1967. Приложение II. С. 244–248.

298. Лесков Н.С. <Нападём ли мы на студентов?> // Полное собрание сочинений в 30 томах. Москва: ТЕРРА, 1998. Т 2. С.593-599.

299. Лесков Н.С. <Волонтёры> // Полное собрание сочинений в 30 томах. Москва: ТЕРРА, 1998. Т 2. С.600.

300. Лесков Н.С. <По поводу заметки «Нашего времени» о волонтёрных пожарных командах> // Полное собрание сочинений в 30 томах. Москва: ТЕРРА, 1998. Т 2. С.601-602.

301. Лесков Н.С. <Петербургские пожары> // Полное собрание сочинений в 30 томах. Москва: ТЕРРА, 1998. Т 2. С.603-606.

302. Лесков Н.С. Н.Г. Чернышевский в его романе «Что делать?» // Лесков Н.С. Полное собрание сочинений: в 30-ти томах. М.: Терра-Кн. клуб, 1996. Т. 3. С.175–184.

303. Лесков Н.С. Русские женщины и эмансипация // Полное собрание сочинений в 30 томах. Москва: ТЕРРА, 1996. Т 1. С. 330-351.

304. Макиавелли Н. Князь <Государь> // Никколо Макиавелли. Сочинения. Москва; Ленинград: Academia, 1934. С. 211-352.

305. Манифест о всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей и об устройстве их быта 19 февраля 1861 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. Санкт-

Петербург: в Тип. 2 Отделения Собств. е. и. в. Канцелярии, 1863. Т. 36. Ч. 1. С. 141–169.

306. Мещерский В.П. Гражданин консерватор [вступ. ст., сост., коммент. И. Е. Дронов]. Москва: Ихтиос, "Новая книга России", 2005. 302 с.

307. Мещерский В.П. Нигилизм // В улику времени. Сочинения Кн. В. Мещерского. СПб : тип. Котомина, 1879. С. 56-70.

308. Михайловский Н.К. Утопия Ренана и теория автономии личности Дюринга // Михайловский Н.К. Сочинения. Изд-е Редакции журнала «Русское богатство». СПб., 1897. Т. 3. Стлб. 241.

309. Надеждин Н.И. Сонмище нигилистов (Сцена из литературного балагана) // Вестник Европы. 1829. Январь-февраль. С. 3–42.

310. Незлобин А. <Дьяков А.А.> Предисловие к повести «Фатальная жертва» [отзыв на критику повести «Из записок социал-демократа»] // Русский вестник. 1876. №5. С. 119-120.

311. Незлобин А. <Дьяков А.А.>. Нигилизм и литературное развитие // Кружковщина. “Наши лучшие люди – гордость нации”: Рассказы А. Незлобина. Одесса: Изд. П. Цитовича, 1879. Вып. 3 [приложение]. С. 1-98.

312. Нечаев С.Г. Катехизис революционера // Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. Документальная публикация. М., Археографический центр, 1997. С.244-247.

313. Нечаев С.Г. Народна расправа // Куклин Г.А. Итоги революционного движения в России за сорок лет (1862—1902). Женева: Изд. Г. А. Куклина, 1903. Ч. 1. С. 27-32.

314. Нечаев С.Г. Начала революции // Куклин Г.А. Итоги революционного движения в России за сорок лет (1862–1902). Женева: Изд. Г. А. Куклина, 1903. Ч. 1. С. 38-44.

315. Нечаев С.Г. Постановка революционного вопроса // Куклин Г.А. Итоги революционного движения в России за сорок лет (1862–1902). Женева: Изд. Г. А. Куклина, 1903. Ч. 1. С. 32-48.

316. Нечаев С.Г. Русским студентам // Куклин Г.А. Итоги революционного движения в России за сорок лет (1862–1902) [Новые добавления]. Женева: Изд. Г. А. Куклина, 1903. С. 172-174.

317. Писемский А.Ф. Мысли, чувства и воззрения статского советника Салатушки // Библиотека для чтения. СПб., 1861. №3. С. 35-40.

318. Доклад следственной комиссии по Каракозовскому делу. Бурцев. В.Л. За сто лет: (1800-1896): Сборник по истории политических и общественных движений в России: (В 2 ч.). Лондон: Russian free press fund, 1797. Ч 1. С.85-87

319. Письмо варшавского Центрального комитета к издателю «Колокола». Бурцев. Бурцев. В.Л. За сто лет: (1800-1896): Сборник по истории политических и общественных движений в России: (В 2 ч.). Лондон: Russian free press fund, 1797. Ч 1. С. 49-51.

320. Письмо исполнительного комитета к Александру III. Бурцев. В.Л. За сто лет: (1800-1896): Сборник по истории политических и общественных движений в России: (В 2 ч.). Лондон: Russian free press fund, 1797. Ч 1. С.173-179.

321. Прокламация от рабочих членов партии народной воли по поводу убийства Александра II. Бурцев. В.Л. За сто лет: (1800-1896): Сборник по истории политических и общественных движений в России: (В 2 ч.). Лондон: Russian free press fund, 1797. Ч 1. С. 179-180.

322. Показания, заявления и отзывы Н. Г. Чернышевского на следствии и на суде // Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: в 15-ти томах. М.: Гос. изд. Художественной литературы, 1949. Том XIV. С. 752

323. Приговор «петрашевцам» // Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции. 1849. №139. С. 1-2.

324. Пушкин А.С. Влюблённый бес [Планы ненаписанных произведений] // А.С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах. Л.: Наука, 1978. Т. 6. С. 423.

325. Сенатская записка о деле Н.Г. Чернышевского. Бурцев. В.Л. За сто лет: (1800-1896): Сборник по истории политических и общественных движений в России: (В 2 ч.). Лондон: Russian free press fund, 1797. Ч 1. С.70-83.

326. Сперанский М. М. План государственного преобразования графа М.М. Сперанского: (Введение к Уложению государственных законов 1809 г.). Москва: Русская мысль, 1905. 359 с.

327. Страхов Н.Н. Из истории литературного нигилизма, 1861-1865. СПб.: тип. брат. Пантелеевых, 1890. 596 с.

328. Толстой Л.Н. Заражённое семейство (варианты рукописных редакций комедии) // Л.Н. Толстой. Полное собрание сочинений: в 90 томах. М.: Худ. лит, 1949. Т. 7. С. 181-294.

329. Толстой Л.Н. Письмо Н.А. Некрасову от 1856 г. 2 июля // Л.Н. Толстой. Полное собрание сочинений: в 90 томах. М.: Худ. лит, 1949. Т. 60. С. 74–76.

330. Толстой Л.Н. Что такое искусство? [трактат] // Л.Н. Толстой. Полное собрание сочинений: в 90 томах. М.: Худ. лит, 1928-1964. Т. 30. С. 27–233.

331. Тургенев И.С. Из писем И.С. Тургенева к П.Л. Лаврову // Былое [журнал, посвященный истории русского революционного движения]. 1906. № 2. С. 213-219.

332. Тургенев И.С. Письмо А.А. Краевскому от 10 июля 1855 года // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. М.: Наука, 1987. Т. 18. С. 43–44.

333. Тургенев И.С. Письмо А. И. Герцену от 30 января (11 февраля) // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. М.: Наука, 1988. Т 18. С. 15 – 16.

334. Тургенев И.С. Письмо А.В. Дружинину и Д.В. Григоровичу от 10 июля 1855 года // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. М.: Наука, 1987. Т. 18 С. 41–43.

335. И.С. Тургенев. <Письмо к неизвестному лицу для передачи в «Лондон» (8 октября 1862)> // За сто лет: (1800-1896): Сборник по истории политических и общественных движений в России: (В 2 ч.) / Сост. Вл. Бурцев при ред. участии С.М. Кравчинского (Степняка). Лондон: Russian free press fund, 1797. Ч 1. С. 57-59.

336. Тургенев И.С. Письмо Н.А. Некрасову от 10 июля 1855 года // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. М.: Наука, 1987. Т. 18. С. 45–46.

337. Тургенев И.С. Письмо П.В. Анненкову от 1 июля 1855 года // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. М.: Наука, 1987. Т. 18. С. 37–38.

338. Тургенев И.С. По поводу «Отцов и детей» // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. М.: Наука, 1893. Т. 11. С. 86–97.

339. Тютчев Ф.И. Россия и революция. Полное собрание сочинений. СПб.: Т-во А. Ф. Маркс, 1911. С. 456–474.

340. Уваров С.С. Отчет по обозрению Московского университета // Сборник постановлений Министерства народного просвещения. СПб.: тип. Императорской Академии наук, 1875. Т. 2. Стб. 503-529.

341. Уваров С.С. О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством Народного Просвещения // Река Времен: Кн. истории и культуры. М.: Эллис Лак; «Река Времен», 1995. Кн. 1. С. 70-72.

342. Цион И. Ф. Нигилисты и нигилизм // Русский вестник. 1886. Том 183, № 6. С. 750-796.

343. Цитович П.П. От издателя // Кружковщина. Наши лучшие люди – гордость нации. Одесса.: Изд. Н. Цитовича, 1879. С. 3-4.

344. Чаадаев П.Я. Философские письма (Письмо первое) // Телескоп, 1836. Ч. XXXIV. С. 275-310.

345. Чернышевский Н.Г. Барским крестьянам от их доброжелателей поклон... // Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. Документальная публикация. Ред. Е.Л. Рудницкая. М., Археографический центр, 1997.С. 85-93.

346. Чернышевский Н.Г. Воспоминания об отношениях Тургенева к Добролюбову и о разрыве дружбы между Тургеневым и Некрасовым // Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: В 15 т. М. : Гослитиздат, 1939. Т. 1. С. 723–741.

347. Чернышевский Н.Г. Не начало ли перемены? // Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: в 15 т. М.: Гослитиздат, 1950. Т. 7. С. 855–889.

348. Чернышевский Н.Г. Эстетические отношения искусства к действительности // Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: в 15 т. М.: Гослитиздат, 1949. Т. 2. С. 5–92.

349. Шевырёв С.П. Лекции о русской литературе, читанные в Париже в 1862 году С.П. Шевыревым // Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. СПб. : тип. Имп. акад. наук, 1884. Т. 33. № 5. 280с.

350. Шевырёв С.П. Взгляд русского на современное состояние Европы

351. Шевырёв С.П. Взгляд на современное направление русской литературы [вступительная статья] // Москвитянин. 1842. № 1. С. 1-32.

352. Шелгунов Н.В. К молодому поколению. Лондон: Вольная рус. тип. [Герцена], 1861. 4 с.

Приложения

I. Краткая история русской антинигилистической прозы[106]

I. Нигилизм в России

Термин «нигилизм» – изначально теологический (с XII века обозначал церковную ересь – отрицание богочеловеческой сущности Иисуса Христа [118]). Социально-политическое значение закрепилось за «нигилизмом» в период Великой французской революции. И в первую очередь он ассоциировался с бешеным атеизмом якобинцев-эберистов[107], устраивавших в 1792-1793 гг. кощунственные обряды и карнавальные шествия, направленные на оскорбление религии. Один из этих якобинцев, немецкий барон Анахарсис Клоотс [160, с. 23], принимавший активное участие в «дехристианизации» Парижа и установлении выдуманного «Культа разума», даже называл республику «нигилистической», подчёркивая, что она не имеет ни позитивной (теистической), ни негативной (атеистической) связи с Богом [126, с. 88]. Он же заявил, что республика и права человека «придерживаются нигилизма». И уже в 1801 году (по итогам революционного десятилетия) во Франции вышел «Словарь новейших слов» Л.С. Мерсье, где «нигилист» конкретизируется с помощью понятия «riennist» (фр. риеннист) – «приверженец / верующий в ничто»: человек, который ни во что не верит. И распространителями нигилизма, по Мерсье, изначально были

[106]Выстраивая хронологию ключевых событий, приведших к идеологическому и поэтическому формированию русской антинигилистической прозы, её зарождению, расцвету и упадку, мы использовали труды отечественных и зарубежных литературоведов (Ю.С. Сорокин [217], А.И. Батюто [99], Н.Н. Старыгина [222], В. Торстенссон [249], Ю.М. Проскурина [199] Г.А. Склейнис [211; 212; 213] и др.), документальные источники (письма, мемуары, журнально-газетные публикации и т.п.), а также исторические и социологические работы XIX – начала XX в., появившиеся по горячим следам русского революционного нигилизма (А.П. Мальшинский [182], К.В. Трубников [232], А.А. Корнилов [158], Г.А. Куклин [296], А.А. Дьяков [311], В.Л. Бурцев [259; 260] и др.)

[107] По имени Жака-Рене Эбера (1757-1794)

создатели «Энциклопедии» – радикальные деятели французского Просвещения [186, с. 612], отрицавшие всё «старое», «традиционное» и требовавшие революции. Этот политический радикализм, яростный атеизм и жажду разрушения в итоге и унаследовали русские нигилисты-революционеры 1860-1880 гг.

От формулировки Мерсье принципиально не отличается и современное определение «нигилизма». Ср. «умонастроение, связанное с установкой на отрицание общепринятых ценностей, идеалов, моральных норм, культуры» [118].

Считается, что первым русским публицистом, употребившим термин «нигилизм» в его нынешнем смысле, был Н.И. Надеждин. В своём памфлете 1829 года «Сонмище нигилистов (Сцена из литературного балагана)», опубликованном в журнале «Русский вестник», Надеждин сблизил «нигилизм» с «варварством». Одна из критических линий памфлета направлена против романтического отрицания важности академического знания, научной школы, классических литературных трудов. «К чести моего приятеля должен я сказать, что он есть истинный сын Природы, не повреждённый школьную пылью учения. Его душа носит на себе печать оригинальной самобытности: это гений автодидактический! [самоучка]» [309, с. 18] – шуточно отрекомендовывает Флюгеровский своего приятеля Недоумко, приведя его в кружок нигилистов. И также шуточно (только кружок этого не понимает) добавляет: «… единственная воспитательница и наставница гения есть природа; что суровых холод наук убивает поэтическое вдохновение, и что невозможно иначе проложить себе путь в святилище литературного бессмертия, как отрешившись от тяжких уз школярного педантизма и предавшись безусловно самозаконному влиянию самобытной свободы» [309, с. 19].

Мы видим, что за иронией Надеждина и формулировками «сын природы», «природа наставница гения», «науки убивают вдохновение», «отрешение от школярского педантизма» скрывается намёк на невежество, которое может развиться в сторону настоящего варварства (или даже глубже – в «идеал

пещерного человека», как раз в итоге и воплощавшийся русскими нигилистами в их нарочитом антиэстетизме, антиаристократизме и небрежности внешнего облика: грязные нестриженные волосы, дубины вместо тростей, обноски, демонстративное отсутствие манер и т.д. и как следствие – проповедование «социального дарвинизма» – применение в общественной жизни принципов естественного отбора).

Во многом именно с отрицания академического образовательного процесса (учебной программы как таковой) начинается мировоззрение «русского нигилиста», появилось яростное нежелание знать то, что противоречит собственной картине мира, на чём бы она не базировалась, будь то социально-политические, эстетические или естественно-научные теории. В случае «нигилистов» Надеждина (в 1820-ые гг.) бунт против академического учения спровоцирован концепциями романтизма – «бурей и натиском» фантазии и чувств, восставших против «рационального», «классического» и т.д. А в период 1850-1860 гг. отрицание ценности философии (прежде всего идеалистической), искусства, религии привели часть российской общественности к вульгарному материализму, и грубому утилитаризму в искусстве. Именно молодёжь, а прежде всего – студенчество, больше других оказались подвержены идеям отрицания. В тургеневских «Отцах и детях» (1862) мы читаем: «Прежде молодым людям приходилось учиться; не хотелось им прослыть за невежд, так они поневоле трудились. А теперь им стоит сказать: все на свете вздор! – и дело в шляпе. Молодые люди обрадовались. И в самом деле, прежде они просто были болваны, а теперь они вдруг стали нигилисты» [81, с. 52].

В 1832 году граф С.С. Уваров, будучи ещё Товарищем Министра народного просвещения, сообщает Императору Николаю I в Отчете по обозрению Московского университета» (4 декабря 1832 года) следующее: «<…> расположение умов молодых людей ожидает только обдуманного направления, дабы образовать в большем числе оных полезных и усердных орудий правительства, <…> я не хочу безусловно утверждать, чтобы легко было удержать их в сем желаемом равновесии между понятиями, заманчивыми для

умов недозрелых и, к несчастью Европы, овладевшими ею» [340, с. 509-510]. Под «понятиями» заманчивыми для «умов недозрелых», но уже овладевшими Европой, Уваров подразумевает идеи революции, республиканства, конституционной монархии и т.п. Как раз в 1830-ом году во Франции вспыхнула Июльская революция, сместившая Карла X и приведшая к власти Луи-Филиппа I. К этому времени официальные круги России уже были настроены крайне антиреволюционно. Французские революции, начиная с Великой (1789-1799), служили «сигналом тревоги» для монарших домов Европы, а вместе с тем становились примером для «оппозиций» в разных странах, что провоцировало выступления против правительств.

Спасение от «грозящей бури» Уваров видел в образовании, и уже будучи Министром народного просвещения писал в своих рекомендациях «О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством Народного Просвещения» (1833 г.) следующее: «Дано ли нам посреди бури, волнующей Европу, посреди быстрого падения всех подпор Гражданского общества, посреди печальных явлений, окружающих нас со всех сторон, укрепить слабыми руками любезное Отечество на верном якоре, на твердых основаниях спасительного начала? <…> залог невредимой силы Государства, должно устоять против порывов бури ежеминутно нам грозящей, то образование настоящего и будущих поколений в соединенном духе Православия, Самодержавия и Народности составляет бессомненно одну из лучших надежд и главнейших потребностей времени…» [341 с. 72]. Таким образом, даже антиреволюционная теория официальной народности завязана именно на проблематике образования.

За 20 лет до выхода романа «Отцы и дети» С.П. Шевырёв (историк русской литературы, критик, политический публицист и, кстати, в 1830-1840-ых гг. – подопечный Уварова) обрисовал образ мыслей будущего нигилиста в статье «Взгляд на современное направление русской литературы. Сторона черная» (1842 г.): «Размашистым мечем он рубит направо и налево, и нет такого имени, которое бы остановило его мах немилосердный. Дант, Мильтон, Тасс, Манзони,

Ломоносов, Богданович, Державин, Карамзин – ему нипочем. Снаружи, оно ведь кажется бойко и отважно презирать все имена и славы мира, и не поклоняться ничему: ничто так не действует на массу читателей-невежд, как неуважение и дерзость перед всяким признанным прежде величием, как засученный на весь свет кулак: здесь расчет для действия на толпу еще хитрее придуман и прикрыт личиною, которая хотя скучна, но с виду поразительна» [351, с. 27]. Предполагается, что данный отрывок посвящён критику В.Г. Белинскому и его группе в журнале «Отечественные записки». «Всё это Белинский» – писал затем в 1856 году Л.Н. Толстой в письме Н.А. Некрасову, высказывая мнении о падении критики в «Современнике» из-за Чернышевского, «клоповоняющего господина», как отзывался о нём писатель в том же письме [329, с. 75] (о конфликте в «Современнике» – в следующем раздел»). Именно «презрение ко всем именам и славам мира», «неуважение и дерзость по отношению к признанному прежде величию» и составили впоследствии мироощущение «нигилиста» 1860-1880 гг.

Но отметим, что идея отрицания у Белинского – сугубо философская и находится с тесной связи с диалектикой Гегеля, с идеей необходимого и неудержимого развития, она далека от «отрицательства» нигилистов 1860-1870 гг. Ср. сказанное самим критиком в письме В.П. Боткину (1840): «идея, которую я силился развить в статье по случаю книги Глинки о Бородинском сражении, верна в своих основаниях, но должно было бы развить и идею *отрицания*, как исторического права, не менее первого священного; и без которого история человечества превратилась бы в стоячее и вонючее болото» [258, с. 576]. В прочем, некоторые исследователи отмечали, что, например, Герцен считал Белинского «до некоторой степени нигилистом» [182, с. 141], но отвергал его принадлежность к этой очень грубой, как считал издатель «Колокола», доктрине.

Но нигилизм в России в силу специфического мировоззрения русского человека как такового, склонного к «раскольническому» фанатизму и беззаветному служению идее, о чём писал ещё Николай Бердяев [257, с. 13], не мог ограничиться отрицанием одних лишь предметов культуры, академических

авторитетов и проч., он жаждал радикального «переустройства мира». Здесь и возникает проблематика «революционности». Эта черта становится спутником образа молодого человека (студента, офицера, литератора и т.п.) с 1820-ых гг., когда в России появились тайные общества, задавшиеся целью изменить политическое устройство страны – свергнуть самодержавие. Тогда же произошло восстание декабристов 1825 года. С них, по мнению В.Л. Бурцева, и началось русское революционное движение [260, с. 315; 296, с. 16].

«Дурным примером» для горячей русской молодёжи[108] служила Европа. Шевырёв даже называл её «умирающей» и причину видел в двух недугах (очень заразительных для других стран): «Эти болезни были – реформация в Германии, революция во Франции: болезнь одна и та же, только в двух разных видах» [350, с. 247]. А когда во Франции вспыхнула Февральская революция 1848-го года и свергли Луи-Филиппа I, провозгласив Вторую республику, понятие «революция» в русской публицистике стало ассоциироваться с «антихристианством», то есть действием «сатанинским» или «титаническим» (восстание против Бога). Ср. у Ф.И. Тютчева в статье «Россия и Революция» опубликованной во Франции как раз по мотивам свержения Луи-Филиппа I: «Человеческое “Я”, желающее зависеть лишь от самого себя, не признающее и не принимающее другого закона, кроме собственного волеизъявления, одним словом, человеческое я, заменяет собой Бога» [339, с. 458]. (И позже именно

[108] На русских нигилистов повлияли и такие мыслители-материалисты, как поэт Георг Бюхнер, физиолог Якоб Молешотт, зоолог Карл Фохт, философ Людвиг Фейербах. Социалисты-утописты и анархисты вроде Сен-Симона, Шарля Фурье и Пьера Жозефа Прудона. Известные революционеры-подпольщики Гракх Бабёф, Луи Бланки и многие другие. Русские нигилисты стали ассоциироваться с революционными пропагандистами, «агитаторами». В частности, Шевырёв, связывая само понятие «нигилизм» с «бесплодным немецким материализмом» и культом «отрицающего разума», возникшим в период французского просвещения и охватившим Францияю во время Великой революции, высказал в 1862 году мысль о «сильном, но бесплодном влиянии» нигилизма на «нашу эфемерную журнальную литературу», и о его неспособности произвести хоть что-то, «кроме ежедневных листков газет и журналов» [349, с. 170–172]. Надо понимать, имелись в виду «Современник», «Русское слово», «Колокол», революционные прокламации и др.

эсхатологическое восприятие революции стало доминирующим в русской антинигилистической прозе).

А представление же о «нигилизме» как прямой революционной угрозе, когда он стал синонимом разрушения, пожара, гибели, получило окончательное завершение в публицистике М.Н. Каткова в период студенческих волнений 1868-1869 гг. (и снова мы видим старую, актуальную ещё для Надеждина и Уварова, тему образования молодёжи). В статье «Беспорядки в высших учебных заведениях», передовице газеты «Московские Ведомости» за 24 мая 1869 год Катков пишет следующее: «Вред нигилизма заключается главным образом в миазмах его существования, а не в способности к самостоятельному организованному политическому действию. <...> Что такое нигилизм? Не создан ли он затем, чтобы служить средством для людей и партий не брезгливых в выборе средств? Нет такой мерзости, которая не могла бы взойти на его нивах; но нигилизм неспособен быть целию, в нем нет ничего положительного, ничего организующего» [288, с. 308-309]; «Вот факт, на который нам указывают: участниками и поджигателями всех смут являются у нас люди, зараженные грубейшими учениями социализма и коммунизма, проповедующие полное отрицание всех основ человеческого общежития, так называемые нигилисты» [288, с. 308]. Мы видим, что в восприятии образа нигилиста появляется мотив «ведомости», «использования». Катков говорит, что есть «нигилист» – носитель идеи отрицания, бунта, разрушения; а есть «люди и партии» – некто с определёнными целями, для кого «нигилист» – не более чем орудие, «полезный идиот».

Не удивительно, что великий анархист М.А. Бакунин воспринимал нигилизм как необходимы «таран» для свержения королей и церковных иерархов. Этот «огонь» он увидел в С.Г. Нечаеве, когда встретился с ним в 1869 году. Даже называл его своим «тигрёнком». Бакунин писал о нём: «Здесь со мной находится один из молодых фанатиков, которые не знают сомнений, которые не боятся ничего… верующие без Бога, герои без риторики» [244, с. 9-10]. В последствии из всех многочисленных отделений и групп интернационала

анархические «бакунинский союз» (1868) и «славянская секция в Цюрихе» (1872) оказались чуть ли не самыми радикальными и абсолютно нигилистическими. В их программах провозглашалось уничтожение государства, права собственности, семьи (забота о детях возлагалась на всё общество, они считались общими), атеизм объявлялся обязательным для революционера, заявлялось, что «славянская секция» будет бороться против всех форм религиозности и стремиться к уничтожению идеи божества [182, с. 72-73] и т.п.

И именно концепция «ведомого нигилизма» оказалась доминирующей в антинигилистической прозе периода её расцвета на рубеже 1860-1870-ых гг., когда появилась дилогия «Кровавый пуф» В.В. Крестовского, «На ножах» Н.С. Лескова, «Бесы» Ф.М. Достоевского. «Людьми и партиями» (о которых говорил Катков) в этих текстах стали польские антирусские заговорщики, революционеры-фанатики, революционеры-мошенники, уголовные преступники и т.п. В дальнейшем представление о «нигилисте» и «нигилизме» в антинигилистической публицистике и в антинигилистической прозе существенно не менялось. Об этом, в частности, свидетельствует статья кн. В.П. Мещерского «Нигилизм», опубликованная в книге «В улику времени» (1879). Мещерский высказался о планах нигилизма так: «Программа эта донельзя проста, и в этом, то есть в том, что она программа нигилизма, вся ее обаятельная и таинственная сила. Она под стать всякому возрасту, всякому сословию, всякой степени умственного неразвития и в особенности всякому положению, ибо она требует одного: уничтожения всего, что есть и что было – без заботы о том, что будет» [307, с. 58].

II. Конфликт в «Современнике»

Появление антинигилистического романа / повести / пьес (!) как особого направления в русской литературе было спровоцировано конфликтом в журнале

«Современник» между писателями-аристократами и критиками-разночинцами, исповедовавшими нигилистическое отрицание.

В 1854 году в редакцию журнала «Современник», принадлежавшего поэту Н.А. Некрасову, постепенно перешёл Н.Г. Чернышевский, покинув «Отечественные записки». В это время с «Современником» сотрудничали многие даровитые писатели, среди которых – И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Д.В. Григорович и др. С приходом идейного и очень энергичного Чернышевского в «Современнике» начался медленный процесс идеологического раскола на писателей-разночинцев (радикалов-демократов) и писателей-аристократов (преимущественно – либералов).

В мае 1855 года Н.Г. Чернышевский напечатал в университетской типографии, в Санкт-Петербурге, текст своей знаменитой магистерской диссертационной работы «Эстетические отношения искусства к действительности». Основную мыль этого текста позже выразил Н.А. Бердяев в своей книге «Русская идея» (1946): «Действительность выше искусства. Это тезис Чернышевского» [257, с. 136]. «Действительность не только живее, но и совершеннее фантазии. Образы фантазии – только бледная и почти всегда неудачная переделка действительности» [348. с. 91] – один из главнейших выводов диссертации Чернышевского. Именно эта работа провозгласила то, что позже выразилось в утилитарном подходе к искусству – отрицании «искусства чистого», не имеющего социально-политической направленности. Гонения на искусство приобрели и совершенно уродливые формы. До сожжения картин и книг в духе Савонаролы не дошло, но сравнивать стихи Пушкина с кулинарными рецептами и тем самым доказывать, что Пушкин бесполезен и не нужен – было для нигилистов нормой. Например, в 1864 году сотрудник журнала «Русское слово» В.А. Зайцев в критической работе «Стихотворения Н. Некрасова» потребовал от поэтов, историков, критиков, публицистов (которых он ставил в один ряд по общему признаку «производства» тестов) «честной, свежей мысли, верного взгляда на предмет, выбранный писателем, и ясного изложения своего мнения». И там же Зайцев «заметил», что стихотворение А.С. Пушкина «Ночной

зефир» (1824) «абсолютно плохо и негодно, тогда как про “Сорокалетние опыты” Авдеевой [поваренная книга] этого сказать нельзя, как бы мало кто ни интересовался сведениями об изготовлении блинчатого пирога с яйцом. Такую книгу только тогда можно признать негодною, если специалисты скажут, что все пироги с яйцом, изготовленные по методе г-жи Авдеевой, вышли неудобосъедобными» [284, с. 141]. Г.А. Склейнис (тоже приводившая в подтверждение своих взглядов на мировоззренческие процессы 1850-1860 гг. пример с «яичным пирогом» Зайцева) отметила, что публикацией «Эстетических отношений…» Чернышевский настроил против себя многих авторов журнала «Современник» [212, с. 85].

Среди самых раздражённых был И.С. Тургенев. Писатель отзывался о диссертации Чернышевского в следующих выражениях: «Чернышевского за его книгу – надо бы публично заклеймить позором. Это мерзость и наглость неслыханная» (из письма к П.В. Анненкову, 1 июля 1855) [337, с. 38]; «<…> примите моё раскаяние – и клятву – отныне преследовать, презирать и уничтожать его всеми дозволенными и в особенности недозволенными средствами!.. Я прочёл его отвратительную книгу, эту поганую мертвечину» (к Д.В. Григоровичу, А.В. Дружинину, 10 июля 1855) [334, с. 42]; «Эта худо скрытая ненависть к искусству – везде скверна, а у нас и подавно» (к Н.А. Некрасову, 10 июля 1855) [336, с. 46]. «Давно я не читал ничего, что бы так меня возмутило. Это – хуже, чем дурная книга. Это – дурной поступок» (к А.А. Краевскому 10 июля 1855) [332, с. 44]. Эти письма писались и рассылались в довольно узкий промежуток времени, что свидетельствует о степени возмущённости Тургенева.

Вражда в «Современнике» стала явной, открытой. В 1855 году в журнале «Библиотка для чтения», который редактировал О.И. Сенковский, Д.В. Григорович опубликовал повесть «Школа гостеприимства», где под именем Чернушкина сатирически изобразил Н.Г. Чернышевского. Как пишет В. Сердюченко, Чернышевский в «Школе…» был представлен «гнусной окололитературной рептилией», воровавшей носовые платки у хозяев

хлебосольного дворянского дома (судя по всему – тургеневское Спасское-Лутовиново) [210, с. 335]. Это было начало «противонигилистической» тенденции в литературе, но пока не имевшей ясной жанровой формы.

В 1856 году ненависть к Чернышевскому усилилась ещё больше, о чём свидетельствует письмо Л.Н. Толстого к Н.А. Некрасову: «Нет, вы сделали великую ошибку, что упустили Дружин[ина] из вашего союза. Тогда бы можно было надеяться на критику в «Совр[еменнике]», а теперь срам с этим клоповоняющим господином. Его так и слышишь тоненький, неприятный голосок, говорящий тупые неприятности и разгорающийся еще более от того, что говорить он не умеет и голос скверный. – Всё это Белинский. Он говорил во всеуслышание, и говорил возмущенным тоном, потому что бывал возмущен, а этот думает, что для того, чтобы говорить хорошо, надо говорить дерзко, а для этого надо возмутиться. И возмущается в своем уголке, покуда никто не сказал цыц и не посмотрел в глаза» [329, с. 75].

В 1857-ом Чернышевский привёл в «Современник» своего единомышленника и хорошего знакомого Н.А. Добролюбова (тоже разночинец, сын священника, как и Чернышевский). Энергичный 21-летний молодой человек встал у руля критико-библиографического отдела. Появление этой фигур только усугубило ситуацию в журнале. Влияние Тургенева на «Современник» стало несущественным, его художественный вкус и его талант стали не нужны. Чернышевский (не без довольства собой) вспоминал, что он публично отзывался о некоторых произведениях, предлагаемых в журнал Иваном Сергеевичем, как о «бездарных». Так было с драмой Л.А. Мея «Псковитянка»: «Иван Сергеевич, это скучная и совершенно бездарная вещь, печатать ее в "Современнике" не стоит» [346, с. 733]. И Чернышевский же рассказывал (не без смеха), что Тургенев отзывался о нём с Добролюбовым так: «"Я сказал ему [Чернышевскому], что он простая змея, а Добролюбов – очковая"». И там же Николай Гаврилович упоминал: «посмеявшись этой остроте, продолжали разговор только вдвоем, он шутливо развивал совершенно серьезную тему, что со мной он может уживаться

и даже имеет расположение ко мне, но что к Добролюбову у него не лежит сердце».

«Эстетический радикализм» Чернышевского усугублялся год от года. В ноябре 1859 года в Великобритании вышел в свет труд Чарльза Дарвина «Происхождение видов путём естественного отбора»[109]. Весть об этой книге довольно быстро разнеслась по Европе, о ней начали говорить в образованных кругах России (издание первых русских переводов книги Дарвина было осуществлено только в 1864 году в Петербурге и Москве). И в 1860 году в «Современнике» было опубликовано философское сочинение Н.Г. Чернышевского «Антропологический принцип в философии». Профессор Н.Н. Старыгина назвала данный текст «философско-теоретическим положением, сформулированным теоретиком нигилизма» [220, с. 228]. Если диссертацию «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855) – следует понимать, как провозглашение утилитаризма в искусстве, то труд «Антропологический принцип в философии» – провозглашение утилитаризма в философии (в поиске смыслов), а по сути – отрицание её ценности. И тут Чернышевский придерживается хорошо известной в то время позитивистской концепции.

Антропологический принцип по Чернышевскому – это рассмотрение такого предмета, как человек, в отрыве от социальной и культурной сфер бытия, и лишь в рамках сферы физического организма. Это, своего рода, подход к вопросам морали и нравственности с позиции естественных наук. Почти зоологический подход к человеку. Важно отметить, что уже современники (прежде всего, из числа «антинигилистов») заметили в работе Чернышевского плагиат (в данном случае – чужие мысли, выдаваемые за свои). А.А. Дьяков пишет: «Дошли до

[109] В скором времени, уже в начале 1860-ых, умами молодых людей, настроенных нигилистически, овладела мысль, которую можно выразить понятием «социальный дарвинизм» (применение законов естественного отбора в повседневной жизни). Осмысление этого явления происходило уже в русском антинигилистическом романе. В том числе, на материале политических убийств и многих других нравственных и уголовных преступлений, происходивших в кругах революционеров-нигилистов.

того, что физиологию и психологию человека надо изучать лишь в смысле частицы естественной истории. Впервые, если не ошибаюсь, мысль эта высказана Дреппером в динамике физиологии, и высказана совсем не в том смысле, какой выкрал из неё автор «Антропологического принципа в философии», разумеется, не упомянув даже имени Дреппера: слишком много чести!» [311, с. 21]. В своей работе Чернышевский назвал «хламом» труды Эмина, Елагина, Чулкова, Погодина, Шевырёва по русской истории и древнерусской литературе[110], так как в них осуществляется подход к человеку как к части культуры, части определённой ценностно-мировоззренческой системы. Чернышевский признал в этих работах ценным лишь самые конкретные и довольно очевидные факты. И сложно сказать, иронизировал Николай Гаврилович или был абсолютно серьёзен, когда писал следующие строки: «Кое-что, похожее на правду, попадается и в них [в трудах по древней истории России], – ведь г. Погодин совершенно справедливо говорит, что Ярослав был князь Киевский, а не Краковский, что Ольга приняла в Константинополе православие, а не лютеранство, что Алексей Петрович был сын Петра Великого»[111]. Утилитаризм в философии, отрицание нигилистами ценности мысли возвышенной, её унижение и высмеивание – в итоге тоже становятся одной из тем антинигилистического романа.

Уже к 1859 году сотрудничество И.С. Тургенева, Д.В. Григоровича и Л.Н. Толстого с «Современником» минимизировалось, а позже сошло на нет. Постепенно писатели переключились на «Русский вестник» М.Н. Каткова, и

[110] Чернышевский Н.Г. Антропологический принцип в философии // Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений: В 15 т. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1950. Т. 7: Статьи 1860—1861 годов. С. 227

[111] Там же

опубликовали там свои шедевры[112]. 1859-ый год[113] можно считать годом «демаркации» русской литературы и публицистики на два лагеря. При этом фигуры Тургенева, Толстого и Григоровича в итоге, к концу 1860-ых, выдержали середину между «нигилистами» и «антинигилистами», и, преимущественно, находились в стороне от жаркого литературно-критического противостояния. Отношение Чернышевского к Тургеневу навсегда осталось подчёркнуто пренебрежительным[114]: «нет никакой возможности сомневаться, что каждый раз, когда я говорил Некрасову о Тургеневе, все было говорено тоном пренебрежения к Тургеневу и насмешки над ним. Зная свою манеру, не могу сомневаться в том, что от насмешек над Тургеневым я переходил к сарказмам над Некрасовым за то, что он так долго был дружен с Тургеневым» [346, с. 741]. Потом, в 1862 году, Тургенев объяснял Герцену (с котором сохранял тёплые дружеские отношения, хоть и не принимал его «революционности»), почему ушёл в патриотический «Русский вестник» Каткова: «Ты, ты меня упрекаешь, что я отдаю свою работу в “Русский вестник”? Но из чего же я рассорился с «современником»,

[112] Если следовать «традициям» советской критики, Каткова принято считать «ретроградом», «реакционером», даже человеком «ограниченным» (что вряд ли можно считать справедливым) и т.д. Вина Каткова заключалась лишь в том, что он был ярым противником «нигилизма», «революции», о чём можно судить по его текстам в «Московских ведомостях». Он был талантливым публицистом, и, конечно, предпринимателем, имевшим обширные и полезные связи в правительстве, включая Министерство внутренних дел. Катков опубликовал в своём «Русском вестнике» главные русские романы второй половины XIX века (если не сказать – главные из всех когда-либо на русском языке написанных), среди которых – «Отцы и дети» (1862) Тургенева, «Преступление и наказание» Достоевского (1866), «Война и мир» (1865) Толстого и многие-многие др.

[113] В том же 1859-ом на столичном рынке периодики появился ещё один журнал – «Русское слово». Его основал граф Г.А. Кулешов-Безбородко, нигилист, ставший даже прототипом пародий, в частности – глупенький князь Сапово-Неплохово из антинигилистического романа «Панургово стадо» (1869) Крестовского. В 1860 году в «Русское слово» пришёл Д.И. Писарев, и журнал приобрёл «радикально-отрицательское» направление мысли.

[114] Себя же Чернышевский считал «гением», сравнивал себя с Аристотелем. И когда в 1862 году он оказался в Петропавловской крепости за революционную прокламацию «К барским крестьянам», которую пытался распространить через группу молодых нигилистов, своих же поклонников, то писал из тюремной камеры жене следующее: «Со времени Аристотеля не было сделано ещё никем того, что я хочу делать, и буду я добрым учителем людей в течение веков, как был Аристотель». И там же: «пройдут сотни лет, а наши имена всё ещё будут милы людям, и будут вспомнить о них с благодарностью» [259, с. 72-73]

воплощённым в образе Некрасова? В программах своих они утверждают, что они мне отказали, яко отсталому» [333, с. 15-16].

В 1860 году одна из ключевых фигур «Современника» разночинец Н.А. Добролюбов уехал в Европу в страны с тёплым климатом в надежде вылечить обострившийся туберкулёз. Вернулся он в ноябре 1861 года безнадёжно больным и вскоре умер. «Современник» понес существенную потерю. И именно Добролюбов послужил одним из прототипов, пожалуй, главного литературного нигилиста – Евгения Базарова из «Отцов и детей». (Ещё одним его прототипом считается некий уездный врач, которого Тургенев знал). Этот роман Чернышевский назвал «Открытым заявлением ненависти Тургенева к Добролюбову» [346, с. 737]. Но там же Николай Гаврилович, любивший Добролюбова как брата говорил: «Но если предположить, что публика была права, находя в "Отцах и детях" не только намерение чернить Добролюбова косвенными намеками, но и дать его портрет в лице Базарова, то я, должен сказать, что сходства нет никакого, хотя бы и карикатурного» [346, с. 741].

III. «Отцы и дети». Первый антинигилистический роман

Исследователи спорят, кто первым употребил понятие «нигилист» и «нигилизм» в новейшем – «базаровском» – значении («русский нигилизм») – И.С. Тургенев или М.Н. Катков. Считается, что хронологически первым был Катков, использовавший слово «нигилизм» в статье «Старые боги и новые боги» (1861) в «Русском вестнике» ещё до того, как Тургенев передал ему рукопись романа о Базарове [212, с. 23]. Во всяком случае, именно с «Отцов и детей» термин «нигилист» становится в России общеупотребляемым.

Накануне выхода романа, в 1861 году, противостояние в публицистике обострилось. Происходили взаимные обвинения между журналами «Современник» (Чернышевский) и «Русский вестник» (Катков). Как раз тогда и была выпущена статья «Старые боги и новые боги», в которой термин

«нигилизм» [293, с. 892] употреблялся уже в актуальном для 1860-ых смысле. В октябре же Катков выпустил статью «Кое-что о прогрессе», в которой снова фигурирует понятие «нигилизм» применительно к тем личностям (группа «Современника», «Русского слова», «Колокола» и т.п.), кто называл себя «людьми прогресса». Катков писал: «отрицание ради отрицания, – разрушение и разложение, – это дело смерти, а не жизни. Это также движение, но не движение вперед, а тот обратный ход, которому подвергается всё покинутое жизнью» [291, с. 127]. В том же году в «Современнике» появилась статья «Не начало ли перемены?», где Чернышевский обвинил аристократических писателей в самолюбовании и в самоутешении, когда они пишут о простом народе. В пример он привёл повести из народного быта Григоровича и Тургенева. Кроме этого, в статье проводится мысль о том, что для изменения своего положения простонародный класс «нуждается только в его собственном желании изменить свою судьбу» [347, с. 884]. Это тот же посыл, который был заложен Чернышевским и в революционную прокламацию «К барским крестьянам» (1861).

В августе 1861-го Тургенев передал Каткову рукопись романа «Отцы и дети».

Произведение вышло в феврале 1862-го. Понятие «нигилист» сразу вошло в социально-политический лексикон русского общества. Вслед за публикацией «отцов и детей» Катков поместил в «Русском вестнике» свою статью «О нашем нигилизме». В ней издатель дал высокую оценку художественным достоинствам романа Тургенева и подчеркнул общественную значимость этого произведения. Там же явление нигилизма было охарактеризовано как «общественная болезнь»: «Дух догматического отрицания не может быть общим признаком какой бы то ни было всемирной эпохи; но он возможен во всякое время в большей или меньшей степени как общественная болезнь, овладевающая некоторыми умами и некоторыми сферами мысли <…> Образование, наука, политическая и промышленная жизнь, развитие и состязание всевозможных интересов, свобода совести, воспитательное влияние среды, живая сила предания, – вот препятствия,

которые встречает это явление в образованных обществах нашего времени» [289, с. 414-415].

С подачи советских литературоведов, в частности Ю.С. Сорокина, первым этапом развития антинигилистического романа принято считать период 1863-1867 гг. [217]: с момента выхода, по мнению того же Сорокина, «первого» антинигилистического романа «Взбаламученное море» (1863) А.Ф. Писемского и до повести «Поветрие» (1867) В.П. Авенариуса. Но данная хронология вступает в противоречие с литературным процессом 1860-ых гг. как таковым. Ещё в 1929 году А.Г. Цейтлин в статье «Сюжетика антинигилистического романа» указал, что первым антинигилистическим романом были «Отцы и дети» (1862) И.С. Тургенева. Так же считали и современники противостояния «нигилистов» и «антинигилистов». М.А. Антонович писал в 1877 году о Тургеневе следующее: «он со своими "Отцами и детьми" был родоначальником антинигилистического романа» [253]. А кроме этого, общественный резонанс вокруг «Отцов и детей» был несопоставим со «Взбаламученным морем», не произведшим на читателей такого сильного впечатления и не прибавившим к полемике вокруг нигилизма ничего принципиально нового.

Тургеневского Базарова сразу стали ассоциировать с революционерами. Это был негативный тип. Совершенно в духе антинигилистического романа. Известно воспоминание И.С. Тургенева о том моменте, когда он понял, что с его романом распространилось не просто представление об образе нигилиста, а настоящий социально-политический термин, который подхватили и печать, и улица. Тургенев вспоминает: «я вернулся в Петербург, в самый день известных пожаров Апраксинского двора [май 1862 года], – слово «нигилист» уже было подхвачено тысячами голосов, и первое восклицание, вырвавшееся из уст первого знакомого, встреченного мной на Невском, было: Посмотрите, что ваши нигилисты делают! Жгут Петербург!» [338, с. 87].

Да, создавая литературного нигилиста Тургенев не придавал ему черт демонических, хоть Базарова и сопровождает готический мотив скитальчества. Ко времени написания романа ещё не прогремели события поджогов,

политические убийства, расправы внутри «кружков», кровавые восстания, покушения на жизнь царя и проч. сенсации из жизни русского революционного движения. Базаров на десять лет старше самых страшных литературных нигилистов – Верховенского и Ставрогина из «Бесов», Горданова, Висленева и Глафиры Бодростиной из романа «На ножах» Лескова, антагонистов «Кровавого пуфа» Крестовского и др. Но в «Отцах и детях» была заострена проблематика, от которой другие антинигилистические произведения уже не отходили никогда. Во-первых, это отношение к человеку как к материалу для революции («общего дела»). Ср. слова Базарова: «Ситниковы нам необходимы. Мне, пойми ты это, мне нужны подобные олухи. Не богам же, в самом деле, горшки обжигать!.. "Эге, ге!.. – подумал про себя Аркадий, и тут только открылась ему на миг вся бездонная пропасть базаровского самолюбия. – Мы, стало быть, с тобой боги? то есть – ты бог, а олух уж не я ли?"» [81, с. 102]. Во-вторых, социальный дарвинизм. Ср. «Вон молодец муравей тащит полумертвую муху. Тащи ее, брат, тащи! Не смотри на то, что она упирается, пользуйся тем, что ты в качестве животного имеешь право не признавать чувства сострадания, не то что наш брат, самоломанный!»[115] [81, с. 43]. А в-третьих всё остальное: «кружковщина» (сборища у Авдотьи Кукшиной), «антиэстетизм» внешности, демонстративный «антиаристократизм» поведения, презрение к искусству, философии и т.д.

Отсчёт начала жизни антинигилистического романа от 1862 года автоматически снимает возможность обвинить данный жанр в «реакционности» (популярный штамп советской критики), так как первый действительно «нигилистический» роман, или роман о «новых людях» – «Что делать?» Чернышевского – вышел в 1863 году и был ответом [220, с. 229] на «Отцов и детей» (1862) Тургенева, первый роман, с которым проблематика «нигилизма» стала широко обсуждаться в обществе. Таким образом, позицию «реакционности» занимает именно «нигилистический» роман как шаг ответный

[115] Этот эпизод на предмет связи с идеями Дарвина достаточно подробно рассмотрел А.И. Батюто [99].

в начавшейся обширной литературно-публицистической и философской дискуссии.

IV. Развитие, расцвет и упадок антинигилистической прозы

В начале 1861 года взаимные выпады между нигилистически настроенными писателями-публицистами и теми, кто в последствии составит антинигилистический лагерь – обострились.

В «Современнике» в феврале 1861 года появилась повесть Н.Г. Помяловского «Мещанское счастье» [66], в этом же году было опубликовано и её логическое продолжение – повесть «Молотов» [67]. Произведения демократической, «антимещанской» направленности. Д.И. Писарев высказался, что Помяловский изобразил новый литературный тип – разночинца; показал убогость жизни низшего чиновничества «с его неприглядной, серенькой жизнью, мелкими интересами, незатейливыми идеалами» [153, с. 67]. Можно сказать, Помяловский – один из литературных «предтеч» романа о «новых людях» («нигилистического»).

А.Ф. Писемский же разместил в журнале «Библиотека для чтения» в 1861 году фельетоны, где сатирически отозвался о проблемах школ для просвещения простого народа, об отмене телесных наказаний, и о женской эмансипации (стала темой русского антинигилистического романа, но авторы демонстрировали и «тёмную сторону» борьбы за права женщин – трудовую и половую эксплуатацию). Писемский полемизировал с деятелями журнала «Современник» и сатирического журнала «Искра» [317, с. 37]. В «Мыслях и чувствах статского советника Салатушки» Писемский высмеял «антиаристократизм» прогрессивной молодёжи. В 1862 году писатель даже получил вызов на дуэль от руководителей журнала «Искра» поэта В.С. Курочкина (один из участников революционной организации «Земля и воля») и карикатуриста Н.А. Степанова за свои «оскорбительные» публикации в журнале «Библиотека для чтения».

Писемский вызова не признал, но оставил пост редактора в «Библиотеке…» и уехал в Европу. В Лондоне он встретился с Герценом, но состоявшаяся беседа оказалась для него неприятной. В Россию Писемский вернулся убеждённым «антиреволюционером» и «антинигилистом».

И в 1863-ем году в «Русском вестнике» Каткова был напечатан антинигилистический роман Писемского «Взбаламученное море». В романе частично отражены события крестьянских бунтов и майские пожары в Петербурге. Также в образе Проскриптского изображён Н.Г. Чернышевский. Осмысление личности Чернышевского стало периодическим явлением в произведениях русской антинигилистической прозы. И в 1863-ем же М.А. Антонович, постоянный сотрудник журнала «Современник» и идейный приемник Чернышевского (уже помещённого в тюрьму за революционную пропаганду), использовал в статье «Литературный кризис» понятие «антинигилизм», сблизив его с понятием «оптимизм». Но пока что этот термин обозначал лишь направление мысли в среде «правой» интеллигенции, а не отдельный литературный жанр [252, с. 115].

В 1863-ем же усилилась полемика о сущности «нигилизма». Находившийся в заключении Чернышевский продолжал литературную работу. Буквально за три месяца он написал свой нигилистический роман «Что делать? Из рассказов о новых людях» (1863). Текст был реакцией на роман Тургенева «Отцы и дети» (1862). Чернышевский пытался заменить понятие «нигилисты» понятием «новые люди» [220, с. 229]. Роман напечатали в возобновившем работу[116] «Современнике» в 3, 4, 5 номерах за 1863 год. Художественный уровень «Что делать?» несопоставим с «Отцами и детьми». Произведение Чернышевского – композиционно рыхлое и жанрово бесформенное сочинение, где незатейливая бульварная сюжетика, в том числе детективная, соединена с формой социально-политического прозаического трактата, плюс типичная тематика социально-

[116] После временного закрытия, последовавшего за поджогами в Петербурге в 1862 году и антиреволюционной операции МВД

критического романа (межсословные и межличностные отношения), там же внимание к бытовым деталям в духе «натуральной школы» и активное эксплуатирование простенького романтического приёма вещего сна. Другими словами, произведение не имеет художественной ценности. Но, безусловно, имеет ценность публицистическую (агитационную) и социально-философскую.

Писатель и публицист А.П. Мальшинский говорил по этому поводу: «В нём [романе] положены главные основания своеобразной морали “новых людей”, отрицающей всякие обязанности по отношению к ближним, возвышающей собственное суждение на степень непогрешимости и возводящей инстинктивное стремление к наслаждению в правило высшей нравственности» [182, с. 202]. Роман Чернышевского, безусловно, утопичен, и, что свойственно этому жанру, наивен, но и аудитория его наивна, молода. «Что делать?» написан, чтобы сподвигать юных людей к изменению мира. В умы русских революционеров была заброшена идея «светлого будущего». В романе написано: «ты знаешь будущее. Оно светло, оно прекрасно. Говори же всем: вот что в будущем, будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести: настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы умеете перенести в нее из будущего. Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее все, что можете перенести» [84, с. 283-284].

В «Что делать?» эксплуатировались темы французских социалистов-утопистов, в частности, Шарля Фурье. По выражению Мальшинского, ссылавшегося на труд Фурье «Новый индустриальный мир» (1829) («Le nouveau monde industriel»), этот философ «завидовал бобрам, пчёлам, осам и муравьям, для которых труд, по его мнению, служит источником наслаждения» [182, с. 142]. Именно этот принцип – культ труда и наслаждения от труда – был воплощён Чернышевским в его романе [182, с. 141], персонажи которого послужили моделью поведения для многих революционеров-социалистов. Герцен вспоминал, что люди, приезжавшие в Лондон после выхода романа

Чернышевского, все были как из «Что делать?» с примесью Базарова [182, с. 137]. И среди нигилистически настроенной молодёжи стала распространяться пропаганда идеала «коммунальной жизни» (жизни в коммуне). Появились кружки и даже артели в духе романа «Что делать?», это произведение послужило руководством к действию [158, с. 262].

Начиная с 1862-1863 года, после «Отцов и детей» и «Что делать?» количество нигилистических и антинигилистических романов в русской печати резко возросло. В мае 1863-го года в «Северной пчеле» вышла статья Н.С. Лескова «Николай Гаврилович Чернышевский в его романе ”Что делать?”». Лесков объяснил, что характеров, представленных в романе Чернышевского, в жизни почти нет. В основном это всё те же гоголевские Ноздревы, но «обернувшиеся только другой стороной»: «Такова в большинстве грубая, ошалелая и грязная в душе толпа пустых ничтожных людишек, исказивших здоровый тип Базарова и опрофанировавших идеи нигилизма» [302. с. 180]. Зимой же 1863 года Л.Н. Толстой начал работу над антинигилистической пьесой «Заражённое семейство» [328].

В 1864-ом появился антинигилистический роман Н.С. Лескова «Некуда» [44], затрагивающий, в частности, проблематику студенческого движения и польского восстания. Печатался он в журнале «Библиотека для чтения». В то же время в «Русском вестнике» печатался антинигилистический роман «Марево» [38] В.П. Клюшникова, где тоже осмысляются события польского восстания. В журнале «Эпоха» братьев Достоевских вышло антинигилистическое произведение Н.Д. Ахшарумова[117] «Мудрёное дело. Очерк из летописи русской словесности». А в «Русском слове» появилась нигилистическая повесть «Степан Рулев» [14] Н.Ф. Бажина. В «Современнике» же публиковался нигилистический роман А.К. Шеллера-Михайлова «Гнилые болота» [85], где деятельные нигилисты противопоставляются людям с аристократическим воспитанием.

[117] Его же брат Д.Д. Ахшарумов был «петрашевцем»

Примечательно, что в 1865-ом году началась цензурная реформа: «О даровании некоторых облегчений и удобств отечественной печати» – указ, утверждённый Александром II. От предварительной цензуры освобождались периодические издания в столицах. Но в случае нарушения этими изданиями существующих законов и правил предполагалась административная ответственность. Некоторые исследователи называли это «карательной» цензурой. Но вместе с тем в 1865 году от предварительной цензуры были освобождены издания научные, издания на классических древних языках и книги объёмом не менее 10 печатных листов и переводы не менее 20 печатных листов. Это был существенный шаг к упрощению издательской деятельности в России и даже привёл к некоторой «демократизации» общества. Чиновники, которые теперь в любой момент могли стать предметом критики, изменили своё поведение, стали вежливее и внимательнее к интересам граждан и ускорили делопроизводство [232, с. 18].

В 1865-ом же году в «Современнике» вышла нигилистическая повесть «Трудное время» [75] В.А. Слепцова. Начал печататься в «Русском слове» нигилистический роман Н.А. Благовещенского «Перед рассветом» [17]. В «Отечественных записках» публиковалась антинигилистическая повесть «Современная идиллия» [9] В.П. Авенариуса, эта повесть – первая в будущей дилогии «Бродящие силы». Там же вышел роман «Обойдённые» [45] Н.С. Лескова; роман полемизирует с «Что делать?» Чернышевского и показывает простых, «маленьких», людей, обладающих сильным этическим идеалом [127, с. 342]. В «Обойдённых» развивалась тема «праведников» в творчестве Лескова.

4 апреля 1866-го было совершено первое покушение на Александра II. Стрелял Д.В. Каракозов. Императора спас крестьянин (!) Осип Комиссаров, ударивший террориста по руке. Пуля прошла над Александром II. Каракозов был одним из так называемых «ишутинцев» и даже приходился Н.А. Ишутину двоюродным братом. В планах «ишутинцев» было создание террористической организации «Ад», её задачей стало бы убийство царя, чиновников и других лиц. Как писал А.П. Мальшинский, появление «Ада» оказалось следствием

радикализации протеста: «последовал злодейский выстрел 4 апреля, мотивированный именно тем, что надежды известной части общества, принимаемые распалённым воображением агитаторов за надежды всего народа – обмануты» [182, с. 159]. Подпольная печать и либеральные преемники декабристов не могли противостоять самодержавию с помощью одного лишь слова. Стали появляться террористические группы, целью которых уже было не сожжение столицы империи или восстание в отдельных территориях, например, в Польше, а точечные удары по сторонникам и «функционерам» монархии.

Покушение на жизнь императора произвело ужасающее впечатление не только в среде патриотической интеллигенции, но и среди некоторых «старых» революционеров. Герцен писал в «Колоколе»: «Выстрел 4 апреля был нам не по душе. Мы ждали от него бедствий, нас возмущала ответственность, которую на себя брал какой-то фанатик <…> Только у диких и дряхлых народов история пробивается убийствами» [266, с. 58]. И многие революционеры Герцену этих слов не простили. Эмигрант А.А. Серно-Соловьевич[118] отозвался: «Нет, г. основатель русского социализма, молодое поколение не простит вам отзыва о Каракозове» [102, с. 34]. В последствии тема покушения на жизнь императора также нашла отражение в русском антинигилистическом романе.

После инцидента 4 апреля навсегда были закрыты журналы «Современник» и «Русское слово». Остановили их по «высочайшему повелению», можно сказать, как органы, смущавшие умы (то есть, занимавшиеся революционной пропагандой). Этот мрачный год не был отмечен выходом ни одного заметного художественного произведения из нигилистической и антинигилистической прозы. Но в «Русском вестнике» было опубликовано «Преступление и наказание» [27] Ф.М. Достоевского. Этот роман глубже и шире одной лишь антинигилистической тематики и к этому жанру отнести его нельзя, но он

[118] Брат А.Н. Серно-Соловьевича, организатора первой «Земли и воли», погибшего в сибирской ссылке во время подготовки Кругобайкальского бунта 1866 года, поднятого поляками, сосланными после участия в Польском восстании 1863-1664 гг.

затронул проблематику «убийства идейного», что, безусловно, соотносимо с темой революционерского террора.

1866 год можно считать и крайней точкой начального периода развития антинигилистической прозы.

В период 1867-1874 гг. появились тексты, ставшие вершиной жанра антинигилистического романа. В литературе и публицистике образ нигилиста получил окончательное завершение. Такие явления, как студенческие волнения 1869, «нечаевщина», «хождения в народ» и др. стали подтверждением и продолжением идейных линий, намеченных писателями-антинигилистами в 1862-1866 гг. Но вместе с тем жизнь уже не мгла обеспечить антинигилистическую прозу новым богатым материалом, и жанр постепенно входил в состояние тематического застоя.

В 1867 году в журнале «Русский вестник появился роман И.С. Тургенева «Дым» [79]. Это произведение нельзя отнести к антинигилистическому жанру, но антинигилистические и антикружковские мотивы там присутствуют. В журнале «Всемирный труд» вышла вторая повесть антинигилистической дилогии «Бродящие силы» В.П. Авенариуса «Поветрие» [9], в которой заметны выпады против Чернышевского, уже сосланного к тому времени на каторгу. В повести демонстрируется нравственная распущенность и развращённость последователей Чернышевского [237, с. 16]. В мае 1867-го было совершено второе покушение на Александра II, в Париже. Стрелял Антон Березовский, участник Польского восстания. Пуля попала в лошадь. В этом же году в Лондоне «на время» (а в действительности – навсегда) смолкла газета «Колокол». Из-за катастрофического падения общественного интереса и, как следствие – тиражей. Это связывали и с тем, что общественность была шокирована попыткой Каракозова убить Александра II, люди сталь относиться к словам Герцена с недоверием.

В июле 1868-го нигилистический лагерь лишился ещё одного «властителя дум». На купаниях в Рижском заливе утонул Д.И. Писарев.

В 1867-ом Д.К. Гирс опубликовал в «Отечественных записках» несколько частей нигилистического романа «Старя и юная Россия» [19] (в последствии неоконченного), продолжая полемику «Что делать?» и оппонируя роману «Отцы и Дети» [225, с. 570]. В журнале «Всемирный труд» вышел антинигилистический роман П.Д. Боборыкина «Жертва вечерняя» [18], где сюжет выстраивается вокруг проблематики женской эмансипации. В 1867-ом в журнале «Русский вестник» печатался «Идиот» [26] Достоевского, содержащий антинигилистические мотивы, но не относящийся к антинигилистическому жанру. В журнале «Всемирный труд» публиковался антинигилистический роман «Новые русские люди» [55] Д.Л. Мордовцева.

В 1868-ом Герцен и Огарёв предприняли попытку издавать «загнувшийся» «Колокол» на французском языке. Но в течение года издание окончательно умерло. В 1870 году умер и сам Герцен, от воспаления лёгких. После закрытия «Колокола», в 1868-ом, М.А. Бакунин организовал в Женеве журнал «Народное дело», анархической направленности. Главной задачей молодого поколения провозглашалось разрушение государства. По мнению Бакунина, именно в этом заключалось движение к социально-экономическому прогрессу [158, с. 346]. Весной 1869-го снова вспыхнули студенческие волнения. Недовольство студенчества накапливалось с 1867 года, когда вышли новые университетские правила, введённые министром народного просвещения Толстым. Фактически запрещалась общественная жизнь: чтения, объединения, собрания и т.п. Вместе с тем 1868-ой год был временем мрачных настроений, связанных с тяжёлым положением крестьянства, их неустроенностью, нуждой и голодом.

На события студенческих волнений М.Н. Катков отозвался статьёй «Беспорядки в высших учебных заведениях» (передовица газеты «Московские ведомости»), идеологический образ нигилиста получил окончательную формулировку (см. раздел I. Нигилизм в России). Некоторые исследователи отмечали, что исключения из университетов и высылка студентов на родину обеспечили разброс революционно настроенной молодёжи по стране [158, с. 345]. Другие учёные указывают, что исключено было всего 38 человек, а к 14

применили наказания другого рода [296, Примечания, с. 201]. В любом случае, в тот период стало усиливаться явление, названное в последствии «хождениями в народ». Именно в эти годы происходит действие посвящённого «хождениям» романа «Новь» (1877) И.С. Тургенева. Хождения носили цели просветительские, но просвещение было, преимущественно, политическим: критика действий правительства и попытки его дискредитации. Хождения в народ и «народничество» также отразились в антинигилистической прозе.

Но самой обсуждаемой темой 1869 года стала деятельность С.Г. Нечаева и его организации «Народная расправа». Будучи активным участником студенческого движения 1868-1869 гг., Нечаев создал сеть «революционных пятёрок», незнакомых, но верящих в существование некого общего центрального комитета. В действительности никакого «комитета» не было. Нечаев эффективно манипулировал своими единомышленниками. Написанный им «Катехизис революционера» демонстрирует взгляд на человека как на материал для революционной борьбы (важная тема антинигилистической полемики). Руководствуясь этим принципом, московская «пятёрка» убила одного из своих членов – студента И.И. Иванова, якобы за намерение совершить донос в полицию. Но как выяснилось, наказан Иванов был за публичную критику в адрес «вождя». В последствии «нечаевщина» стала одним из прототипических слоёв романа «Бесы» Ф.М. Достоевского и логическим продолжением темы кружковщины в русском антинигилистическом романе.

В 1869 году в журнале «Вестник Европы» вышел роман И.А. Гончарова «Обрыв» [25], произведение с сильными антинигилистическим мотивами. В журнале «Всемирный труд» появился роман Д.Л. Мордовцева «Знамения времени» [56]. Произведение неоднозначное, многие восприняли его как нигилистическое (о «новых людях»), но сам Мордовцев вложил в него антинигилистические смыслы [153, с. 126]; главная тема – хождения в народ. В славянофильском журнале «Заря» вышел роман А.Ф. Писемского «Люди сороковых годов» [63], в котором, по сравнению с «Взбаламученным морем»

(1863), отмечается снижение градуса антинигилистической дискуссии с идейными явлениями 1860-ых гг. [190, с. 627].

В 1869-ом же в «Русском вестнике» вышел роман В.В. Крестовского «Панургово стадо» – первый роман дилогии «Кровавый пуф» [3]. В центре внимания автора – крестьянские волнения, студенческие выступления, «кружковщина», «социальный дарвинизм», образ Чернышевского как фигуры переоценённой, полемика с «Колоколом» и уличение его в дезинформировании читателей. Роман Крестовского смог охватить большинство ключевых тем антинигилистической прозы, заданных в период 1862-1866 гг. О «Панурговом стаде» с одобрением отзывался Н.С. Лесков в статье «Русские общественные заметки» (1869), напечатанной в газете «Биржевые ведомости».

И в 1870-ом в «Русском вестнике» начал выходить роман Лескова «На ножах». Произведение охватывает и глубоко осмысляет «кружковщину», «социальный дарвинизм», религиозное сектантство, крестьянские бунты, трудовую и половую эксплуатацию женщины в коммунах и кружках и становится одним из главных художественных текстов антинигилистической прозы.

В 1871 году в «Русском вестнике», параллельно с «На ножах», печатался роман «Бесы» Ф.М. Достоевского. Как и в случае с «Панургово стадо» Крестовского и «На ножах» Лескова, одной из центральных антинигилистических тем оказалась «кружковщина». Достоевский объединил два прототипических слоя – кружок Михаила Буташевича-Петрашевского (к которому имел непосредственное отношение) и «пятёрки» Нечаева. Художественный уровень работы Достоевского поставил «Бесов» на вершину антинигилистической романистики. Тематический охват и глубина осмысления нигилизма вывели роман далеко за рамки одной лишь злободневной тенденциозности [278, с. 112] и, по сути – исчерпали возможности антинигилистического жанра, завязанного на социально-политических и культурных явлениях 1850-1860-ых гг. После «Бесов» русская

антинигилистическая проза стала медленно умирать, теряя тематическую актуальность и художественную оригинальность.

Что касается менее заметных произведений, то в 1870-ом в журнале «Дело» появился нигилистический роман «Шаг за шагом» [59] И.В. Омулевского. В 1871-ом в «Отечественных записках» был опубликован полемический, но близкий к нигилистическому, роман И.А. Кущевского «Николай Негорев, или Благополучный россиянин» [43]. Роман посвящён проблематике духовного самоопределения молодёжи, участвовавшей в событиях 1860-ых гг. [197, с. 252]. Ощущается и кризис нигилистического романа: подводились итоги «борьбы», участники которой оказались вынужденными адаптироваться к социальной действительности, противоречащей их убеждениям. В этом же году вышел ещё один роман А.Ф. Писемского – «В водовороте» [61], в журнале «Беседа». Роман антинигилистический, но в нём уже наблюдается уклон в частичное оправдание нигилизма, который изображается явлением, указывающим на пороки старого миропорядка [190, с. 628]. В 1873 году в «Русском вестнике» появился антинигилистический роман Б.М. Маркевича «Марина из Алого Рога» [48], где чётко разделены условно «тёмные» и «светлые» силы общества: нигилисты, космополиты и т.п. противостоят крестьянству, аристократии, людям науки и искусства, приверженцам традиционных русских ценностей. Роман во многом воспроизвёл проблематику, обозначенную ещё в начале 1860-ых гг.

В 1871-ом в Петербурге появился кружок «чайковцев» (по им. Н.В. Чайковского). Стратегия была избрана не террористическая, как у «нечаевцев», а пропагандистская. В первый год своего существования они занимались распространением социалистической литературы среди народа (рабочих и крестьян) и интеллигенции. Практиковали хождения в народ. В 1872-ом к «чайковцам» присоединился князь П.А. Кропоткин, теоретик анархизма, идейный сторонник Бакунина.

Параллельно с развитием «кружковщины» внутри России, стали формироваться кружки русских эмигрантов в Европе. Они появились после разгрома Польского восстания 1863-1864 и самороспуска «Земли и воли»,

варшавская ячейка которой в восстании участие принимала. Самые значительные потоки эмигрантов направились в Лондон и в швейцарские Женеву и Цюрих [182, с. 214]. В Швейцарию в основном уезжала молодёжь (как дворянская, так и разночинная), под благовидным предлогом слушать лекции в университетах. Кружковцы-эмигранты считали себя революционерами, проповедовали нигилистические и народнические идеи. Впоследствии «швейцарские кружки» подробно описал А.А. Дьяков (А. Незлобин) в цикле повестей «Кружковщина».

Атрибутом литературного нигилиста-эмигранта стала книжка «Вперёд!» (революционный социалистический журнал, печатавшийся с 1873 года в Париже под редакцией П.Л. Лаврова, бежавшего к тому времени из России, где он находился в ссылке в Вологодской губернии). Примечательно, что Лавров занимался пропагандой ещё будучи профессором Михайловского артиллерийского училища и даже считал это чем-то вроде личного достижения. Через «его скромную аудиторию», как он её называл, прошло несколько поколений, и в их памяти осели революционные идеи [182, с. 220]. Заметим, что одним из спонсоров журнала «Вперёд!» был И.С. Тургенев. Г.А. Лопатин вспоминает, что Тургенев не поддерживал программу журнала, но давал деньги (сначала 1 тыс. франков в первый год, потом 500), потому что это било по правительству [331]. Всего в период с 1873-1877 гг. было издано 5 выпусков «Вперёд!». В частности, с журналом сотрудничал Н.В. Чайковский. В 1874 году среди «чайковцев» начались аресты, взяли и князя П.А. Кропоткина.

Российское правительство с неодобрением смотрело на ситуацию в швейцарском Цюрихе и внимательно наблюдало за эмигрантскими кружками. В итоге власти потребовали, чтобы к 1 января 1874 года вся молодёжь вернулась на родину, иначе они лишатся возможности устроиться в России в дальнейшем: работать, занимать должности, практиковать и т.д. [158, с. 350-351]. В современной печати отмечалось, что для цюрихских студенток существовала угроза запрета им акушерской практики в России. Многие из вернувшихся в последствии стали активными пропагандистками. Например, Каминская и

сёстры Субботины, фигурировавшие в судебном процессе «50-ти» (Пятидесяти) [182, с. 239]. Молодёжь возвращалась из Швейцарии и потому, что поставила себе цель сблизиться с народными массами. На 1874-ый год было запланировано массовое движение в народ.

Тем временем в журнале «Русский вестник» вышла вторая часть антинигилистической дилогии «Кровавый пуф» В.В. Крестовского – роман «Две силы» (1874). Произведение было посвящено уже «подзабытому» к тому времени Польскому восстанию 1863-1864 гг. В основе романа изучение документального материала обстоятельств вооружённого мятежа. Крестовский вспоминал: «понадобилось не только теоретическое изучение польского вопроса по источникам, но и соприкосновение с ним в самой жизни, что и дала мне моя служба в Западном крае и в Польше» [295, с.880]. Завершение дилогии «Кровавый пуф» можно считать концом периода расцвета жанра русского антинигилистического романа.

1875-1884 гг. – это период упадка антинигилистического жанра. В это время понятие «нигилист» размылось, стало вытиснятся понятиями «народник», «социалист» и т.п. Явление нигилизма и полемика вокруг него «маргинализировались», стали неактуальными. Дефицит новых тем привёл к исчезновению как русского антинигилистического романа, так и романа «нигилистического».

В период 1875-1877 гг. в «Русском вестнике» печатались антинигилистические повести А.А. Дьякова (А. Незлобин): «Из записок социал-демократа» (1875), «Фатальная жертва» (1876), «В народ!» (1876) и «Weltschmerzer» [мировая боль (с нем.)] (1877). Позже в Одессе вышел сборник под общим названием «Кружковщина. Наши лучшие люди – гордость нации» (1879). Там же была опубликована статья «Нигилизм и литературное развитие». «Кружковщина» посвящена жизни русской «прогрессивной молодёжи» за границей, прежде всего – в Швейцарии. В сатирическом и трагическом ключе изображены нравы русских «кружковцев». В частности, обсуждается и ситуация

с выдачей русскому правительству уголовника Нечаева. Прототипами для образов зарубежных вождей русской революции послужили Бакунин, Лавров, Герцен и др. «Идолы» изображены мошенниками, тунеядцами и эксплуататорами наивной молодёжи.

В 1876-ом завершилась публикация антинигилистического романа «Тайны современного Петербурга» князя В.П. Мещерского, внука Н.М. Карамзина. Но у Мещерского нигилизм оказался не единственным предметом критики. В фокусе внимания – порочность денег, гибельность либеральной политики в России, атеизм, поразивший даже церковные круги. Таким образом, тема нигилизма уже была размыта. В 1877-ом году в журнале «Отечественные записки» появилась повесть А.О. Осиповича-Новодворского «Эпизод из жизни ни павы, ни вороны» [60]. Произведение по своему духу нигилистическое, но вместе с тем демонстрирующее хроническое несоответствие главного героя его идеалам. Произведение свидетельствует об изменении отношения к аспектам нигилистического мировоззрения в среде революционно настроенных кругов общественности. Нигилизм стал казаться чем-то нереальным, даже идеалистическим. Единственным реальным делом осталось «сближение с народом».

В 1877-ом вышел последний роман И.С. Тургенева – «Новь». Опубликован он был уже не в «Русском вестнике» Каткова, а в «Вестнике Европы». В этом произведении есть как антинигилистические мотивы (Нежданов разочаровывается в революционных идеях и кончает жизнь самоубийством), так и мотивы близкие нигилистическим (роман посвящён «революционерам-народникам», «деятельной молодёжи»). Тургенев (противник Чернышевского, Писарева и прочих, зачинатель общественной и литературно-критической дискуссии вокруг «нигилистов») приветствовал в «Нови» честные порывы молодёжи к изменению мира в лучшую сторону. И эти порывы не имеют ничего общего с грубым «отрицательством» рубежа 1850-1860 гг. Современники отмечали, что движение революционной молодёжи в народ было столь заметно, что привлекло внимание всего образованного общества. А.П. Мальшинский

отзывался об этом несколько иронично: «Даже наш маститый романист, И.С. Тургенев, откликнулся на небывалое прежде движение <…> романом “Новь”, в котором выведены типы агитаторов и либералов, с довольно видным положением в провинции, ищущих сближения с революционной молодёжью и ей покровительствующих, на сколько это покровительство остаётся домашним делом, скрытым от глаз высшего начальства» [182, с. 285]. Проблематика «Нови» во многом совпала с дискуссией вокруг дела Веры Засулич, которую судили за покушение на жизнь градоначальника Санкт-Петербурга Ф.Ф. Трепова в 1878 году (экстремистку оправдали по решению присяжных, что, по сути, стало и оправданием в общественном сознании терроризма как метода борьбы с государственной властью).

В том же 1877-ом году в газете «Тифлисский вестник» критик М.А. Антонович (старый сподвижник Чернышевского) в статье посвящённой роману «Новь» написал о Тургеневе следующее: «…нужно прямо сознаться, что он со своими "Отцами и детьми" был родоначальником антинигилистического романа, что он заронил в души всех ретроградных писак желание писать такие же романы и также позорить нигилистов» [253]. В 1877 году началась и серия судебных процессов над революционерами-народниками, обвиняемыми в революционной пропаганде («хождения в народ»). В октябре в Петербурге разбиралось знаменитое дело «Ста девяносто трёх». А в марте – дело «Пятидесяти»: суд над участниками подпольной «Всероссийской социально-революционной организации», развернувшей пропаганду среди рабочих.

Крупнейшим антинигилистическим произведением, завершившим 20-летний период полемики вокруг нигилизма, стала романная трилогия Б.М. Маркевича: «Четверть века назад», «Перелом», «Бездна». Художественной задачей трилогии стало изображение образа русского общества в разные периоды эпохи реформ Александра II. С 1878-го года она публиковалась в журнале «Русский вестник». И там же в 1878-ом выходил антинигилистический роман «Скрежет зубовный» В.Г. Авсеенко. В 1879-ом вышло одно из последних значительных нигилистический произведений. Роман «Василиса» Н.А.

Арнольди, богатой аристократки, сблизившейся в Швейцарии с революционно-народническими и социалистическими кругами. «Василиса» была опубликована в Женеве отдельной книгой. И понятие «нигилизм» там сведено на периферию. В центре романа – революционеры-аристократы, порвавшие со своей средой и эмигрировавшие в Европу [92, с. 105]. В 1880-ом появилась вторая часть антинигилистической трилогии Б.М. Маркевича – роман «Перелом». А в 1880-ом в «Русском вестнике» был печатан антинигилистический роман В.Г. Авсеенко «Злой дух».

В апреле 1879-го «землеволец» Александр Соловьёв совершил неудачное покушение на Александра II. Террорист пять раз выстрелил в императора из револьвера, но не попал. В этом же году организация «Земля и воля» (возродившаяся в 1876 году) распалась на террористическую «Народную волю» и более умеренную группу «Чёрный передел». «Народная воля» приговорила к смерти Александра II и стала исполнять приговор. 1 марта 1881 года террористам удалось убить императора. Это произошло на набережной Екатерининского канала. Первая бомба, брошенная Н.И. Рысковым, взорвалась у передней части кареты, убив лошадей. Вторую же бомбу метнул И.И. Гриневицкий, и она упала точно к ногам императора.

Последними заметными произведениями антинигилистического романа стали «Вне колеи» (1882) К.Ф. Головина, «Русский вестник». И последняя часть трилогии Б.М. Маркевича – роман «Бездна» (1883-1884), но не окончен, завершён эпизодом покушения на Александра II Соловьёвым в 1879 году. Отдельные элементы антинигилистической прозы нашли отражение и в более поздней литературе, в частности, в трилогии В.В. Крестовского «Жид идёт!» – «Тьма Египетская» (1888), «Тамара Бендавид» (1889-1890), «Торжество Ваала» (1891) – и в неоконченных романах Н.С. Лескова «Соколий перелёт», «Незаметный след» [220, с. 230].

Со смертью Александра II угас и русский антинигилистический роман, ставший (как и нигилистический) явлением бурлящего реформаторского периода второй половины XIX в.

II. Сводная таблица тем антинигилистической полемики, приёмов готической прозы и художественного текста, апеллирующего к страху

Таблица 1.

Темы спектра антинигилистической полемики в произведениях антинигилистической прозы 1860-1870 гг.	**Приёмы готической прозы XVIII – пер. пол. XIX вв.**	**Художественный текст, содержащий апелляцию к страху читателя**
Романная дилогия «Кровавый пуф» В.В. Крестовского: «Панургово стадо» (1869), «Две силы» (1874)		
Мировоззренческие аспекты нигилизма: «социальный дарвинизм»; вульгарный материализм; отрицание института семьи; **Социально-политические аспекты нигилизма:** «коммунизм» (коммунный образ жизни); «женский вопрос» (в значении трудовой и половой эксплуатации женщины в коммунах и «кружках») **Культурно-эстетические аспекты нигилизма:** «антиаристократизм»	**Характерология:** черты демона-искусителя, трагического злодея; персонажа жертвы; героя с сюжетной функцией ключа к тайне **Система мотивов:** преследование, заточение, уединённость места действия, страшная тайна, тайный сговор, мотив лжи (введения в заблуждение), мотив смерти (убийства) **Сюжетика:** схема «Ключ – Зам*о*к – Дверь – Сокрытое» **Контраст «смешного» и «страшного»** **«Демонизация»** (в данном случае – доминирование	Нигилист Ардальон Полояров и Нюта Лубянская: линия похищения младенца у матери с целью сдать его в воспитательный дом; мучительная гибель Лубянской. Стремление к мировоззренческому и социальному «освобождению» сменяется тоталитарной зависимостью от непорядочного человека

	небрежности, нечистоты (грязи) во внешнем виде)	
Социально-политические аспекты нигилизма: взгляд на человека как на материал для революционной борьбы; террористическая форма борьбы; «кружковщина»; агитационно-пропагандистская деятельность; преследование изменников внутри революционных кружков и организаций; **Историко-фактические аспекты деятельности нигилистически настроенной общественности:** эксплуатация «крестьянского вопроса»; сочувствие польскому восстанию 1863-1864; антироссийская пропаганда среди русской армии; шпионская деятельность в пользу польских повстанческих организаций; подстрекательство студенческих выступлений; «хождения в народ» **Персоналии и атрибутика «нигилистического движения»:** Кастусь Калиновский; газета «Колокол»; прокламация (как вид пропаганды); печатный станок; тайная типография	**Характерология:** доминирующие черты проклятого скитальца; черты трагического злодея; демон-помощник; демон-искуситель **Система мотивов:** скитальчество, ложь (введения в заблуждение), «оборотничество», тайный сговор, договор с «нечистой силой», нечестивое собрание, страшная тайна, уединённость места основного действия, сложность (запутанность) пространственной организации локаций места действия, преследование, убийство	Образ польско-литовского повстанца Василия Свитки (романы «Панургово стадо», «Две силы»). Носитель идеи «разрушения России». Практик «управляемого нигилизма». Разжигатель войны

Социально-политические аспекты нигилизма: отрицание империи; «кружковщина»; агитационно-пропагандистская деятельность; преследование «изменников» внутри революционных кружков и организаций; взгляд на человека как на материал для революционной борьбы **Историко-фактические аспекты деятельности нигилистически настроенной общественности:** сочувствие польскому восстанию 1863-1864; антироссийская пропаганда среди русской армии; шпионская деятельность в пользу польских повстанческих организаций **Персоналии и атрибутика «нигилистического движения»:** А.И. Герцен; Кастусь Калиновский; газета «Колокол»	**Характерология:** доминирующие черты ведомого грешника, черты персонажа-жертвы **Система мотивов:** предательство (клятвопреступление), тайный сговор, договор с нечистой силой, сложность (запутанность) пространственной организации локаций места действия, преследование, скитальчество	Образ изменника Константина Хвалынцева (роман «Две силы»). Демонстрация тоталитарной сущности «кружковщины». Невозможность безопасного выхода из неё. Несовместимость «чистых помыслов» и революционных «методов»
Социально-политические аспекты нигилизма: взгляд на человека как на материал для революционной борьбы террористическая форма борьбы; «кружковщина»; агитационно-пропагандистская деятельность; преследование «изменников» внутри	**Характерология:** демон-искуситель, демон-помощник **Система мотивов:** ложь (введение в заблуждение), «оборотничество», тайный сговор, нечестивое собрание, уединённость места основного действия, сложность (запутанность)	Образы польско-литовских заговорщиков второго плана: Пшецыньский, Подвиляньский (романы «Панургово стадо», «Две силы»)

революционных кружков и организаций; **Историко-фактические аспекты деятельности нигилистически настроенной общественности:** эксплуатация «крестьянского вопроса»; сочувствие польскому восстанию 1863-1864; антироссийская пропаганда среди русской армии; шпионская деятельность в пользу польских повстанческих организаций; подстрекательство студенческих выступлений, «хождения в народ»	пространственной организации локаций места действия	
Мировоззренческие аспекты нигилизма: «социальный дарвинизм», атеизм **Социально-политические аспекты нигилизма:** отрицание церкви как социального института; отрицание государства; террористическая форма борьбы; «кружковщина»; взгляд на человека как на материал для революционной борьбы	**Система мотивов:** предзнаменование грядущей катастрофы (страшные события), пожар, крушение дома, опустение места, убийство, уныние, упадок природы и поселений, предательство (клятвопреступление), богоотступничество, договор с нечистой силой **«Демонизация»** **«Эсхатологическая символизация»**	Образы грядущего «конца света» и повсеместное нарушение религиозно-нравственных «табу». «Извращение» христианского обряда причастия: монахи и ксендзы, благословляющие на совершение политических убийств. «Террорист и мясник» ксендз Робак. Служение «тёмной» идее отрицания и разрушения. Атмосфера медленной смерти: упадок природы и поселений. Убийство спящих солдат. Страшные предзнаменования и т.д. (романы «Панургово стадо», «Две силы»)

Социально-политические аспекты нигилизма: отрицание монархической формы правления; отрицание империи; отрицание государства; террористическая форма борьбы; «кружковщина»; агитационно-пропагандистская деятельность **Историко-фактические аспекты деятельности нигилистически настроенной общественности:** причастность к пожарам в Петербурге в мае 1862	**Система мотивов:** предзнаменование грядущей катастрофы (страшные события), пожар, крушение дома, опустение **«Эсхатологическая символизация»**	Сцены страшного петербургского пожара (роман «Панургово стадо»)
Роман «На ножах» (1870-1871) Н.С. Лескова		
Мировоззренческие аспекты нигилизма: вульгарный материализм, «социальный дарвинизм»; атеизм **Социально-политические аспекты нигилизма:** «кружковщина»	**Характерология:** доминирующие черты персонажа-жертвы **Система мотивов:** явление мертвеца, страшная тайна, тайный сговор, нечестивое собрание, предзнаменование грядущей катастрофы (страшных событий)	Появление мёртвого Бодростина. Предзнаменование «страшных событий». «Знак» неминуемого возмездия убийцам. Мистические страхи Глафиры. Навязчивые мысли и образы бродящих мертвецов
Мировоззренческие аспекты нигилизма вульгарный материализм; «социальный дарвинизм»; атеизм; отрицание института семьи **Культурно-эстетические аспекты нигилизма** «антиаристократизм» **Социально-политические аспекты нигилизма**: «кружковщина», взгляд на человека как на	**Характерология:** доминирующие черты трагического злодея, черты демона-искусителя и демона-помощника, персонаж-жертва, персонаж с сюжетной функцией ключа к тайне **Система мотивов:** тайный сговор, договор с нечистой силой, убийство ради наследства или власти, подделанное завещание, явление мертвеца, пожар,	Линия «расследования» убийства Бодростина. Несостоятельность нигилистических убеждений перед «высшей справедливостью»

«материал» для революционной борьбы **Историко-фактические аспекты деятельности нигилистически настроенной общественности:** эксплуатация «крестьянского вопроса»	приглашение в дом нечисти, страшная тайна, уединённость места действия, сложность (запутанность) пространственной организации, преследование, сумасшествие, ложь (введения в заблуждение), богоотступничества **Сюжетика:** схема «Ключ – Зам*о*к – Дверь – Сокрытое» **«Демонизация»**	
Мировоззренческие аспекты нигилизма: «социальный дарвинизм»; вульгарный материализм; отрицание института семьи **Социально-политические аспекты нигилизма:** «коммунизм» (коммунный образ жизни); «женский вопрос» (в значении трудовой и половой эксплуатации женщины в коммунах и «кружках») **Культурно-эстетические аспекты нигилизма:** «антиаристократизм»	**Характерология:** доминирующие черты персонажа-жертвы (период Глафиры Акатовой), доминирующие черты жертвы трагического злодея (период Глафиры Бодростиной), черты демона-искусителя **Система мотивов:** приглашение в дом нечисти, нечисть, испытывающая любовную страсть к человеку, страшная тайна, ложь (введение в заблуждение), богоотступничество, сумасшествие, заточение (лишение свободы) **Использование контраста «смешного» и «страшного»** **«Демонизация»**	«Демонический образ» жестокой и беспринципной Глафиры Бодростиной
Мировоззренческие аспекты нигилизма	**Система мотивов:** предзнаменование	Повсеместное ослабление и упадок

вульгарный материализм; «социальный дарвинизм»; атеизм; отрицание института семьи **Культурно-эстетические аспекты нигилизма:** «антиаристократизм» **Социально-политические аспекты нигилизма:** коммунизм; «женский вопрос» (в значении трудовой и половой эксплуатации женщины в коммунах и «кружках»); отрицание церкви как социального института; отрицание монархической формы правления; отрицание государства; «кружковщина»; агитационно-пропагандистская деятельность; взгляд на человека как на материал для революционной борьбы **Историко-фактические аспекты деятельности нигилистически настроенной общественности**: эксплуатация «крестьянского вопроса»	грядущей катастрофы (страшных событий); пожар, опустение, уныние, богоотступничество, договор с нечистой силой, убийство близкого родственника, нечестивое собрание **«Демонизация»** **«Эсхатологическая символизация»**	христианства. Сектантство среди крестьян, оккультизм среди дворян. Нарушение религиозно-нравственных «табу». Предзнаменования «конца света»
Роман «Бесы» (1871-1872) Ф.М. Достоевского		
Мировоззренческие аспекты нигилизма: Вульгарный материализм; «социальный дарвинизм»; отрицание сверхъестественного; атеизм; отрицание института семьи	**Характерология:** доминирующие черты проклятого скитальца (Пётр Верховенский и Николай Ставрогин), черты демона-помощника и демона-искусителя (Пётр Верховенский), черты	«Демоническое» в образах Петра Верховенского и Николая Ставрогина

Культурно-эстетические аспекты нигилизма: «антиаристократизм»; утилитарный подход к искусству; позитивистское отрицание философии **Социально-политические аспекты нигилизма:** «кружковщина»; агитационно-пропагандистская деятельность; преследование «изменников» внутри революционных кружков и организаций; взгляд на человека как на «материал» для революционной борьбы; отрицание церкви как социального института; отрицание монархической формы правления; отрицание империи; террористическая форма борьбы; «женский вопрос» (в значении трудовой и половой эксплуатации женщины в коммунах и «кружках») **Историко-фактические аспекты деятельности нигилистически настроенной общественности:** Эксплуатация «рабочего вопроса» (в данном случае) **Персоналии и атрибутика «нигилистического движения»:** С.Г. Нечаев;прокламация (как вид пропаганды);	трагического злодея (Ставрогин) **Система мотивов:** «оборотничество», приглашение в свой дом нечисти, страшная тайна, нечисть, испытывающая любовную страсть к человеку, ложь (введение в заблуждение), богоотступничество, сумасшествие **Использование контраста «смешного» и «страшного»** **«Демонизация»**	

печатный станок; тайная типография.		
Мировоззренческие аспекты нигилизма: Вульгарный материализм; «социальный дарвинизм»; отрицание сверхъестественного; атеизм **Социально-политические аспекты нигилизма:** преследование «изменников» внутри революционных кружков и организаций; «кружковщина»; взгляд на человека как на «материал» для революционной борьбы; террористическая форма борьбы; «свободные отношения между мужчиной и женщиной» **Персоналии и атрибутика «нигилистического движения»:** Нечаев, Бакунин, Буташевич-Петрашевский; печатный станок; тайная типография	**Характерология:** доминирующие черты демона-искусителя (относительно Петра Верховенского), персонаж-жертва (Шатов, Матрёша), персонаж с сюжетной функцией ключа к тайне (Тихон, хроникёр Антон Лаврентьевич Г-в), черты ведомого грешника (относительно «наших»); черты «трагического злодея» (относительно Ставрогина) **Система мотивов:** тайный сговор, договор с нечистой силой, страшная тайна, уединённость места действия, сложность (запутанность) пространственной организации, преследование, ложь (введения в заблуждение), убийство **Сюжетика:** схема «Ключ – Зам*о*к – Дверь – Сокрытое»	Линия убийства Шатова. История самоубийства Матрёши
Мировоззренческие аспекты нигилизма: вульгарный материализм; «социальный дарвинизм»; атеизм **Социально-политические аспекты нигилизма:** отрицание церкви как социального института; отрицание	**Система мотивов:** нечестивое собрание, предзнаменование грядущей катастрофы (страшных событий), пожар, крушение дома, опустение, убийство, сумасшествие, упадок природы и поселений, богоотступничество,	Повсеместное нарушение нравственных «табу». Предзнаменования «конца света». «Сатанистические мотивы»: испытание границ допустимого (в случае Ставрогина), осквернение христианских символов

государства; террористическая форма борьбы; «кружковщина»; взгляд на человека как на материал для революционной борьбы	договор с нечистой силой	(порнография, подсунутая в евангелие; мышь – один из символов грязи, заразы, чумы, «демонический знак» – в иконе) и т.д.
Роман «Тайны современного Петербурга» (1875) В.П. Мещерского		
Мировоззренческие аспекты нигилизма: вульгарный материализм; «социальный дарвинизм»; отрицание сверхъестественного; атеизм; отрицание института семьи **Культурно-эстетические аспекты нигилизма:** «антиаристократизм»; утилитарный подход к искусству; позитивистское отрицание философии **Социально-политические аспекты нигилизма:** коммунизм; «женский вопрос» (в значении трудовой и половой эксплуатации женщины в коммунах и «кружках»); отрицание церкви как социального института; отрицание монархической формы правления; отрицание империи; отрицание государства; отрицание буржуазно-демократической (капиталистической) формы правления	**Характерология:** доминирующие черты проклятого скитальца и демона-искусителя (Кедров), демон-помощник (Володя Емельянов) **Система мотивов:** приглашение в свой дом «нечисти»; «нечисть», испытывающая любовную страсть к человеку, мотив уныния, упадок, запустение	Линия «натуральных» отношений студента нигилиста Кедрова и 17-летней Паши Емельяновой. Уничтожение «старой» семь, создание «новой» (коммунной)
Мировоззренческие аспекты нигилизма: вульгарный материализм; «социальный дарвинизм»; отрицание сверхъестественного;	**Характерология:** черты трагического злодея (Володя Емельянов), черты проклятого скитальца и демона-искусителя (Кедров), персонаж-	Линия гибели («убийства») матери (главы семейства Емельяновых)

атеизм; отрицание института семьи **Социально-политические аспекты нигилизма:** отрицание церкви как социального института; коммунизм; «женский вопрос» (в значении трудовой и половой эксплуатации женщины в коммунах и «кружках»)	жертва (мать), персонаж-ключ (Боб) **Система мотивов:** убийство (гибель) матери, приглашение в дом «нечисти»; «нечисть», испытывающая любовную страсть к человеку, страшная тайна, мотив уныния, упадок, запустение **Сюжетика:** схема «Ключ – Зам*о*к – Дверь – Сокрытое» **«Демонизация»** **«Эсхатологическая символизация»**	
повести цикла «Кружковщина» (1875-1876) А.А. Дьякова (А. Незлобина)		
Мировоззренческие аспекты нигилизма: вульгарный материализм; «социальный дарвинизм»; отрицание сверхъестественного; атеизм; отрицание института семьи **Культурно-эстетические аспекты нигилизма** «антиаристократизм»; утилитарный подход к искусству; позитивистское отрицание философии **Социально-политические аспекты нигилизма:** «женский вопрос» (в значении трудовой и половой эксплуатации женщины в коммунах и «кружках»); отрицание	**Характерология:** доминирующие черты демона-искусителя и демона-помощника (Трутнев, «идол»), персонаж-жертва («жертвенные демократы», «полезные идиоты»), черты «ведомого грешника» (Ольга Бровская) **Система мотивов:** нечестивое собрание, ложь (введение в заблуждение), предательство, самоубийство, уединённость места действия, мотив явления мертвеца, страшная тайна **«Демонизация»** (демонические признаки в образах	Образ русской библиотеки, «кружка» революционеров-эмигрантов в Швейцарии, как шабаша. Сюжет гибели Ольги Бровской

церкви как социального института; отрицание монархической формы правления; отрицание империи; отрицание государства, отрицание буржуазно-демократической (капиталистической) формы правления; «кружковщина»; агитационно-пропагандистская деятельность; преследование «изменников» внутри революционных кружков и организаций; взгляд на человека как на материал для революционной борьбы **Историко-фактические аспекты деятельности нигилистически настроенной общественности:** эксплуатация «крестьянского вопроса»; подстрекательство студенческих выступлений; деятельность русских революционных кружков и коммун в Европе; «хождения в народ» **Персоналии и атрибутика «нигилистического движения»:** С.Г. Нечаев; журнал «Вперёд!»; прокламация (как вид пропаганды)	нигилистов – грязь, небрежность и т.д.)	
Мировоззренческие аспекты нигилизма: вульгарный материализм; «социальный дарвинизм»; отрицание сверхъестественного;	**Характерология:** доминирующие черты персонажа-жертвы и черты ведомого грешника (Чужаева), демон-искуситель	Выведенная за рамки повествования драматичная история «натуральных отношений» Веры Чужаевой с неким «нигилистом»,

атеизм; отрицание института семьи **Социально-политические аспекты нигилизма:** «женский вопрос» (в значении трудовой и половой эксплуатации женщины в коммунах и «кружках»); коммунизм **Историко-фактические аспекты деятельности нигилистически настроенной общественности:** деятельность русских революционных кружков и коммун в Европе; «хождения в народ»	(неизвестный «нигилист») **Система мотивов:** нерассказанная история, нечестивое собрание, самоубийство (намерение), уныние, уединённость места действия	закончившаяся «изгнанием», бегством на чужбину и «заточением»